

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
П. В. Басинский (Москва)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
В. М. Костин (Томск)  
А. К. Лаптев (Иркутск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)  
М. А. Тарковский (Красноярск)  
А. Н. Тимофеев (Москва)  
М. В. Хлебников (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Михаил Косарев  
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова  
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов  
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова  
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая  
Верстка: О. Н. Вялкова

**8/2021**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Анатолий ЗЯБРЕВ. Ворон на снегу. Роман. Продолжение.</b> .....	3
<b>Вера БОГДАНОВА. Дорога за яблоками. Рассказы.</b> .....	71
<b>Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ. Маска. Рассказ.</b> .....	95
<b>Нина ТУРИЦЫНА. Бюро героической смерти. Рассказ.</b> .....	110

### ПОЭЗИЯ

<b>Владимир СВЕТЛОСАНОВ. Сумрачный лес. Стихи.</b> .....	63
<b>Дмитрий ВЕДЕНЯПИН. Форма молчания. Стихи.</b> .....	93
<b>Александра МАЛЫГИНА. Заговор теней. Стихи.</b> .....	107
<b>Владимир ТИТОВ. Номо bulla. Стихи.</b> .....	123

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

<b>Кондратий УРМАНОВ. Мой дневник.</b> <i>Предисловие Натальи Левченко.</i> .....	127
--	-----

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Александр ШЕКШЕЕВ. «Да воздастся каждому по делам его»: мифы и реалии Гражданской войны.</b> .....	151
---	-----

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Станислав САВЧЕНКО. Николай Гумилев и «Сибирские огни».</b> ....	177
---	-----

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

<b>Владимир ЧИРКОВ. Алфавит цветов Елены Бобровой.</b> <i>Искусствоведческие письма.</i> .....	187
---	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Анатолий ЗЯБРЕВ

## БОРОН НА СНЕГУ

Р о м а н\*

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

#### И помутился свет божий

На излете августа по берегам Оешки дозревала рожь. Сел пришлый человек на край поля, разулся, засокал штанины, снова поднялся, оглядел пустой проселок и стал ходить туда-сюда по меже, прискакивать, припрыгивать, он спешил ощутить хлебную землю и напитать свое тело этим ощущением.

Межа была узкой, хомяку перескочить, и долгорослая рожь с одной полосы и с другой, клонясь, скручивалась, перевязывалась усатыми колосьями в тугие узлы. Человеку, чтобы шагать, надо было разводиться, распутывать эти желтые связки, однако колосья, едва он проходил, снова клонились и снова схлестывались под набегающим теплым вольным низовым ветром.

— Ан ведь... — говорил человек себе в нос и тихо смеялся от подошвенного зуда. Он, право, забыл и о своем возрасте, и о времени; сколько прожил на свете — забыл, не помнит. И, конечно же, казался сам себе мальцом, этак-то притопывающим босоного, этак-то подпрыгивающим...

На проселке из-за буренького прихломка выказалась телега, она, пыля, поднимая золотой просвеченный хвост, ехала вдоль светлого березового леска. В телеге был медведь с бабой, то есть не совсем медведь, а крестьянин, смахивающий ростом и грузностью на таежного великана, он сидел, сильно возвышаясь и над бабой, и над крупной лошади, сосредоточенный в самом себе. Вот он повернул голову, натянул вожжи, попридержал лошадь, рысившую под уклон, что-то бабе сказал, баба что-то ему отвечала. На толстом лице крестьянина выражение подозрительности перешло в явную озлобленность.

— Эй, старик, ты чё тут? — крикнул он и, передав вожжи бабе, ссунул-ся совсем на обочину, стал подходить к меже. Шаровары на нем мотней

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2021, № 7.



спускались к самым сапогам, и оттого он будто не шел, а плыл рожью, и оттого больше смахивал опять-таки на медведя. — Чево ты, эй, старик?

Человек, бывший на меже, а был это, конечно, Алешка, то есть Алексей Зыбрин, боковым зрением видел и телегу с бабой, и наплывающего в некрашенных, надуваемых на ветру холщовых шароварах великана, но как-то не осознал, что это к нему разговор, все притопывал да радовался, разгребал по меже колосья. Парнишка он ведь был сейчас, и в уме совсем был парнишкой, а не стариком.

И только когда тень от здорового мужичищи толкнулась ему в ноги, он перестал притопывать, однако все тихо смеялся и, не теряя ясной, ласкательной улыбки, сказал доверительно:

— Зудит, энто... понимаешь, пятку-то... Понимаешь, а-ах! Такое тут дело. О-ох, зудит. Землица-то...

Медведь почесал шею, кожа на которой, как и земля на дороге в зной, была вся в клетчатых трещинах, почесал, совсем не разделяя и не собираясь разделять Алешкиного умильного настроения.

— У чужого поля... ты чего? Бродяжничашь, чё ли? Из каких мест будешь? — спросил он, голос у него был тонкий, несоответственный телесной мощи.

— Зудит, а-ах! — Алешка пуще заприплясывал босыми ногами, поворачиваясь на месте, переступая через колосья.

— Чево? — Медведь вдруг сдал назад, шаг или два, заоглядывался на свою лошадь и на бабу, сидевшую в телеге.

— Этих я, браток, мест, этих! Сам-то ты сидоровский или колыванский будешь? — Алешка продолжал узнавающе всматриваться с той же ясной ласковостью.

— Чево?.. Чево тебе тут?

— Калистрата знаешь? Если сидоровский-то...

— Ну? Назар я, Бабушкины мы, Бабушкины, — ну? Какого эт Калистрата? У нас три их, Калистрата. Который на краю живет. Который пимокат. И еще который... Это уж по плотницкому делу.

— Вот-вот, Степанов который, он самый! — Алешка сморгнул резь в левом глазу, настеганном ветром и синим простором. — Так слушай, браток, Назарка, знаешь Калистрата? Который по плотницкому делу.

— Ну, это выходит... — Назар сделал попытку приподнять свое грузное плечо, выражая этим обидчивое удивление. — Выходит... Как же не знать, когда он мне кокоры на крыше ставил. И двери окосячивал он же опять.

— Значит, и Доротею знаешь, жену его. — Алешка сморгнул напряжение с другого глаза.

— Как же Доротею не знать, когда она моего среднего парнишку крестила. Да как же, — пуще удивился Назар, — как же, когда парнишка-то ей крестником доводится.

— Дак слушай, браток! — Алешка полез развязывать свою котомку. — Дак слушай, по такому делу... У меня вот тут есть... Давай-ка по махонькой. За встречу. За благодать... Ведь вон как!



Назар недоверчиво оглядел Алешку — ну, совсем чудной старик, — оглянулся на бабу, которая, сидя в телеге, проявляла нетерпение и вместе любопытство. «Ну, чудной старик», — снова подумал Назар. Кружку он принял под доньшко, в протянутую руку.

— Значит, сидоровский будешь? — уточнял Алешка, он и вправду тут, на вольном хлебном поле, забыл, что он старик, давно старик, и зваться бы ему давно Алексеем Алексеичем, а не Алешкой.

— Нет, я никольский. Это баба моя оттуда, сидоровская, — отвечал мужик. — Племянник я Нифонту Онисимычу-то. Который на станции пропал. Дядька он мне, значит... Столько лет, как пропал, а свечку народ все ему ставит в церкви. Шибко благостный человек был, хоть и староста. Нынче такого не сыскать.

— Благостный, а сын-то у него непутевый вышел, ярыга, — встряла баба, до того молчавшая. — Сгинул где-то. А ты сам-то каких мест будешь? В Сидоровку к нам на помоленье? К нам на помоленье издаля приходят. У нас икона обновляца вот-вот зачнет. Каждый год на престольное Преображение она обновляца. Сама себе делает обновление. Икона-то. Оттого и идет к нам народ, что обновляца. А оно, Преображение престольное-то, уж вот... у нас сегодня четверг как раз.

— Дак садись, поехали, — добродушно пригласил Назар, поглядев на оставшееся в зеленой бутылке.

— У Доротеи-то, у кумы, брательник тоже сгинул, — сказала баба с осуждением. — Что у Нифонта Онисимовича сынок, Афанасий-то, был, что у кумы брательник — одного поля ягода. Оба ярыги. Вместе они, говорят, там в шайке были, ярыжничали в городе.

— Много знаешь. Помолчала бы, — недовольно поерзал на телеге Назар.

— А чего не знать-то? Чего молчать? Непутевый так и непутевый... Сам сгинул и бабу свою не жалел. Ездил она все к нему, искала его, дурака, а он босомыжничал.

Раздраженная женщина отгоняла от себя пучком травы с зыком налетавшего позднего паута.

Острый соблазн подталкивал Алешку брякнуть, что он и есть Доротеин брательник, и не пропал он, а вот живой, живой как есть. Хотелось сказать так, вступившись за свое доброе имя в том смысле, что ни в какой он шайке не был, людей не убивал...

Была у него готовность открыться, и в то же время не мог он в себе перемочь желания ехать вот так, слушать и на себя со стороны взглядывать, как бы не про него, сидевшего в задке телеги, разговор шел, а про совсем другого человека, какого-то старого, давнишнего, ему неведомого, а если и ведомого, то самуё малость.

— В церковь нашу на престольное Преображение много народу идет, много. Монахи приходят, — рассказывала женщина, впадая в умиление. — Глядят, как икона сама себе обновление делает. И вы, значит, божий человек, за тем же... помолиться в нашу церковь?

— Угу, — кашлял в ладонь Алешка и разминал себе пальцами треснувшую от сухости губу.

— Божий не гожий, гожий — не божий, — каламбурил Назар, повеселевший от самогона. — Так ты откель идешь-то? Калистрата с кумой Доротеей как знаешь?

Алешка сделал вид, что не расслышал, в нем вдруг ожил испуг, потеснив в душе надежду.

— Это уж какой год пошел, как кума с кумом уехали-то? — вопро- сительно повернулась баба к Назару. — Как уж они, бедняги, там? То ли живы, то ли не живы. Господь бог ведает. И ни слуху, и ни духу. Кажись, шестое лето уж идет. Или уж чуть ли не восьмое? Тогда у нас корова двумя бычками рябенскими растелилась. Вот ведь сколь времени утекло.

— Кто?.. Куда уехали? — недобро встрепенулся Алешка, испуг в душе усилился.

— Про куму Доротеею я. Туда, где пароходы строят, уехали. Тут-то плотницких работ не стало Калистрату. Вот они и уехали. Ребятишек как раз две брички набралось. Свои и сиротские. Так всей кучей и поехали, — рассказывала баба.

— Калистрат плотник — о-о! — с чего-то заважничал Назар, будто сам себя хвалил. — Калистрат на всю округу — о-о! Кокоры он мне на крышу ставил, двери окосячивал... За ним потому пароходчик нарочного присылал. С Амура. Где он там есть, этот Амур, кто ведает? Нарочный говорил, что где-то под самым Китаем. Может, и не врет. Калистрат согласья не давал. А потом и дал. Снялись с места и уехали.

— Не то шестое лето, не то уж восьмое, — подсчитывала баба, тяжело задумавшись. — Сгинули, и нету. Живы, не живы? Может, и поубивались где по дороге. Помереть-то долго ли? Вон какие страсти бывают. В той стороне убить за все могут.

— Но-о. Много знаешь. Помолчала бы, — опять заругался Назар. — Убивают-то за что? За золото да за хлеб. А они что — воза хлебов повезли? Воза ртов да пустых брюх повезли. А такое добро силком навяливай — кому надо?

— А какие сироты при Доротее да при Калистрате были? — осторожно выпытывал Алешка, душа его колотилась и почти уж кричала. — Чьи они?..

— Да чьи же еще? — баба выразила удивление. — Я же говорю: брательник у кумы Доротей был, ярыжник, сгинул, непутевый. А баба его, Любаха-то, все по острогам ездила, искала его, надорвалась с горя. Да и самуё где-то в дорогах схоронили чужие люди. На чужом-то кладбище. Вот и остались сироты на шею кумы Доротей. Куда с ними? Оттого, когда на Амур поехали, то две брички их, всех ребятишек-то, набралось. Свои и сиротские...

Взвыл Алешка, взвыл. Всякий свет в его глазах пропал. Он соскользнул с телеги и, ничего не сознавая, мятый до последней косточки, пошел по выбитому, с редкими кустами боярышника, выгону, равнина перед ним выстилалась к речному берегу. Уходил он, спотыкался вихляющими ногами о травяные кочки. Обжимал виски и уши ладонями, как обручем. Он же все годы и вот до последнего момента жил тем, что в его надсаженной, потоптанной душе золотым колокольцем вызванивала



песенка сладкой надежды: «Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей». Теперь вот смолкла.

И зачем он, разом одряхлевший, шел равниной, куда — он не знал.

— Э-эй, божий человек! Куда ж ты? Мы ж еще не доехали. Вон еще где деревня-то! — окликал его сзади мужик, останавливая лошадь. А баба перекрестилась на обозначившуюся церквушку, золотисто засветившуюся на бугре под вечернеющим небом, щеки у бабы отвердели румяно.

Телега еще постояла, подождала, потом снова тяжело забила на пыльной дороге, мужик и баба все оглядывались, пока не растворился на лугу странный, должно быть, порченный старик-то.

На опушке березового околка несчастный Алешка просидел ночь до утра, до того часа, когда солнце, поднявшись за спиной, наладило длинные, сочные, голубоватые тени. Тени были от каждой травной будылинки и тянулись далеко через поле.

— Чего тебе сказать? Чего? — выпытывал Алешка у воображаемой Любки. — Оставила ты меня. Ушла. Отмаялась. Долог ли, короток ли путь до того часа, когда и я к тебе приду, — кто знает? Ладно ли тебе там? Про детей что тебе сказать? Не ведаю я сам того, где они теперь. Ох, не ведаю. Вытворил со мной господь бог беду бедовую. Мыкаюсь вот, то ли по божьей воле, то ли по дьявольской... А они где — дети, где? Измаял я тебя и свою душу выжег. Виноватый я, ох, виноватый...

Вспомнилось Алешке, как Любка, чтобы наладить печь, привела откуда-то старого чуваша, который глядел на мир узенькими мокрыми щелками глаз, веки у него были неподвижны, разрыхлены и кровянисты, однако старик был важен, должно, сознание своего мастерства давало ему гордость и независимость. Печь он кончил под вечер, наложил в нее аккуратной грудкой сухих поленьев, поджег и велел подбрасывать дрова без перерыва пять дней и пять ночей, чтобы жар в печном теле не угасал ни на короткое время. Тогда Алешка угостил мастера водкой, он выпил, тряхнул седым пучком волос на маленькой головке и пошел короткой тропкой, меж болотинами, путаясь ногами в загрубевшей от предосенней остуды жесткой осоке. Уже далеко, к самым кустам отойдя, чуваш поворотился и напомнил:

— Так уж... Так уж... до следующего вторника, пять ден и пять ночей держите в печи огонь. До следующего... Так уж!

«Ага, ага», — очень волнуясь, махала Любка ему рукой. Алешка тогда заметил, что с его женой что-то происходит: она всех, кого встречала, кто бывал у них, готова была вместить в своем сердце. И мужиков-артельщиков, и этого чуваша, и соседа Пыхова, и китайцев... Всех, всех. Не догадывался тогда Алешка, что молодое тело и душа Любки готовились к материнству, оттого в ней была потребность в широкой неосознанной любви. И у Алешки тогда тоже было на душе благостно. Как-никак, жизнь-то определялась надежно. Гнездо какое-никакое свили. Казалось, надежность эта уж навечно. А судьба между тем готовила свое. Ох, свое!

И вот теперь тоже не ведал Алешка, какие повороты ему еще подвернет она, судьба-судьбинушка, не ведал.

## В волков обратился народишко

А потом сел он в поезд и отъехал на Амур к сестре Доротее, чтобы ребятишек забрать.

Вернулся он оттуда только с младшими детьми, с тремя то есть, а старшие-то не поехали, потому как уже при деле были, сами себе на жизнь зарабатывали. Дашутка так у самого купца в лавке служила и рада была, глупая, такому месту. «Пускай, пускай», — думал Алешка.

В Новониколаевске он вселился в свой дом, в пятистенник. Сложностей с вселением не возникло. Новая власть уважала каторжан. Через какое-то время во дворе объявился Вербук. Медные казенные пуговицы на неказенном пиджаке. Алешка встретил гостя молча и угрюмо. Страстью его все последние годы было отыскать этого человека и близко, близко, чтобы нос к носу, заглянуть ему в глаза, так заглянуть, чтобы зрачки в этих глазах сошли со стержня и закрутились. Не могут они не закрутиться, внушал себе Алешка, не могут, потому как есть же какая-то сила у справедливости. И вот этот человек сам пришел, стоит у крыльца и, должно быть, ждет, когда хозяин позовет его в дом, а у Алешки нет охоты глядеть в его мигающие, в мокре, глаза. Глядит вот на медную пуговицу, обвисшую на суровой нитке.

— Не стариной живем-то, не-ет... Старина — святая. Оно так. А потому... Поворачиваться человечешко не поспеваает, крутит беднягу. Мужика и господина — одинаково. Крутит все, крутит, — говорил Вербук. — Так оно. Молодость не грех, а и старость не смех... А ты если насчет этого... деньжонок если одолжить тебе — можно. Нужда — она такая... Мы уж тут дом-то твой оберегали. Иначе б кто-то да поджег бы. Пожары были. Порядку никакого... А насчет того, чтобы одолжить тебе — можно. На обзаведение. Много дать неоткуда, а сколько-то уж можно... На первое, говорю, обзаведение. Стариной бы жить всем людям-то...

Алешка все глядел, вперившись взором в медную пуговицу с орлом о двух головах. Пуговица свисала на ослабнувшей нитке, и выходило так, что как бы одна голова что-то клевала, другая же над ней была запрокинута клювом вверх.

— Что молодо — старится, это уж так, а состарившись, валится. Та-ак. Старое время судить — что? В старине смысл особый. Многожильный мужик в чести был... А насчет одолжить, если нужда у тебя по первому времени... Много, говорю, неоткуда, а уж сколько можно — одолжим, чего же.

То, что Вербук помогал другим полицейским крутить его, Алешку, и его друзей в паровозе, было, по убеждениям Алешки, нормальным делом, не вызывало протеста. «Они... потому что... у каждого своя служба, каждый своей линией идет к порядку». Но с того чрезмерно горького часа, как узнал он, что подлючий Вербук отнял у его незащищенной, сиротской семьи дом, душа перевернулась, опрокинулась, как опрокидывается на реке сорванная непогодой с берега лодка, и разом вызрела в воспаленном мозгу цель: убить!.. Паскудник этакий! Убить!



Теперь же в душе у Алешки нет ничего, кроме смятения и подавленности. Да, сдал Вербук за эти годы, ох, сдал, хотя обмякшую спину держит все еще прямо, затылок и шея багровятся, но багровость эта уже нездоровая, с сальной желтизной, с водянистым отеком.

— Ты, Алексеич, если насчет денег — одолжить, чего ж, можно. На обзаведение, чего ж. Как не помочь, — повторял смиренно Вербук, потряхивая отвисшей кожей на подбородке. — Жизнь — такая она штука. Всякого может крутнуть. Ох, крутнуть... Не знаешь, с какой стороны она... У меня вот одни хвори остались. Давно не при деле. Молодость не в грех, старость не в смех.... Не стариной живем-то. Молодые справляют службу по-особому. Пожары тут по улицам были...

Жалкий старик вызвался показать Алешке те перемены, что в городе произведены глупой революцией. Алешка согласился. Вдвоем они поехали на вербуковских дрогах. Алешка сел так, чтобы быть спиной к своему бывшему компаньону. Побывали в кирпичных забоях, что у речки Каменки. Отсюда когда-то весь Новониколаевск обеспечивался кирпичом для выкладки в домах печей.

Забои отекли, обрушились с бортов, в них допревали останки лошадей, светясь белыми бедренными мослами. Из-под завалившегося навеса выбежали два волчища, должно, очень старых, шерсть на них пеплом притрушена. Они тяжело, с усилием, с подтаскиванием зада, проскакали между кучами хлама, остановились, завернули назад головы, выражая тоску.

— Вон в кого оборотился народишко, вон в кого! Видал, видал, вот оно как, — обрадовался возможности обличать, оживился Вербук, он даже задвигал грузными плечами. — Вон они, вон! Народишко...

Кругом обзоревались следы беспощадного пожара. На обугленной доске в соседстве с нахохленным неопрятным грачом сидела старая женщина. Грач с одного края доски, старуха с другого, сдавленное с висков и со щек лицо ее было тоже обугленное, как доска. Старуха, тут прошлой жизнью брошенная, тоже будто горела и не догорела.

Алешка с усилием, с тяжким напряжением памяти признал соседку... ну, ну, она, Стюрка Пыхова.

— Нету уж мово, нету. Убили, — кликала она сухим ртом, поднимая истлевшие глаза на подступившего Алешку; в голосе ее не было жалобы, а было уж вовсе нехоршее, неживое успокоение.

Кто убил Пыхова, неизвестно: то ли те, кто, толпой бродя по станции, надсажался в песенном крике: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...», то ли какие другие люди, возбужденные беспорядками от переворота власти. На железных путях зарубили топором.

Проехали Алешка с Вербуком от светлоструйной речки Каменки совсем в другой край города, где были кожевенные производства. Опять же в глаза ударила черная гарь, которую ветер, налетая с бугра, закручивал и поднимал в небо. Лишь плакат оставался целым: «Смерть мировому буржуизму!» Целыми были и столбы, на которых держался этот крупный, издалека видный плакат. Все остальные постройки погорели.

Над логом набухали лиловые тучи, сползая к Оби, горизонт занимался волокнистым туманцем, однако воздух над бугром еще оставался достаточно сухим, и черная гарь от бывших строений могла кружить, застилая собой пространство. У берега, где в прошлом стояла лесопильня (к ней в свое время Алешка в паре с Еськой Кочетовкиным подтаскивал из воды бревна), женщины с мешками раскапывали отвердевшую, улежалую гору опилок, выбирая старой жизни обрезки. Из разговора с ними Алешка узнал, что с самой весны никто из тайги в город лесу не возил, плоты не пригонял, и потому лесопильня теперь уж навсегда пропащая.

— Попили хозяева нашей кровушки, хватит, — говорила женщина, какая помоложе, на которой были мужские, с долгими голяшками, тяжелые сапоги, при каждом шаге норовившие с нее соскочить. — Скоро все у народа будет. Чего захочется...

— Ох, пока дождемся этого «скорого», так и скорючимся. Рак свистнет. Околеем, — отвечали другие женщины и поглядывали на густеющие в небе тучи. — Уж без дров вот сидим, и печь протопить нечем. Раньше-то... Раньше тут разного опиловочнику сколь было! А теперь колупаешь вот, колупаешь... При пустом-то брюхе в стýлой избе не больно порезвишься. Вон ведь уж холода подступают.

— А нам, которые на железной дороге... нам-то уголь обещаются в снабжение давать, — сказала молодая.

— Твой там. Тебе обещаются. А нам кто даст? Нашим мужикам кукиш с маслом обещаются...

Трудоустроиться в городе было очень сложно. В разрушенном депо, где из десятка локомотивов оставались на ходу только два или три, машинисты томились, готовые взяться за любое дело на станции. Работу Алешка себе нашел на бражном заводе. Работа оказалась ночная, состояла она из того, чтобы мыть и на пар ставить бочки, а заодно и шпаклевать их. Брал он с собой и младшего сынка Устина, ставшего крепким подростком.

### Светлячок во тьме

В один из дней с Амура от сестры Доротеи пришло письмо, слала она поклоны низкие от Калистрата, от детей и писала, что жить стало нечем, работы на верфи теперь никому нету, и если так будет, то они вернуться в Сидоровку на свою землю. Были в письме еще листки, про которые сестра писала, что она получила их от Афанасия давным-давно, еще когда жили дома, и что она позабыла ему, Алешке, отдать их, когда он гостил у нее.

Читал Алешка те листки, и его душу окатывало горячее воспоминание. Будто глядел он в затянутую сырým мороком оконную шибку, умянный, разбитый человек. Когда-то было у него свое утро, и еще все было ясно, и думы были легкие, и тело легкое, а вот уж глубокий вечер, за окном сгустившаяся чернота. Благословенна та дивная пора, и блажен тот, у кого все-таки было, было свое утро.

«Здравствуй, Алексей, Алеха, купец ты несчастный. Как там у тебя? Я не знаю, где ты, дома ли, какие у тебя дела с властями, а потому посылаю письмо не тебе, а твоей сестре Доруне и зятю твоему Калистрату. Я думаю, что ты уже дома, властям выгодно таких, как ты, дураков, поугатать, а потом милость явить. Бываешь ли ты у нас в депо? Напиши мне два слова. Чтобы знать, что ты жив и здоров. Про тебя я тут много думал. Помнишь ли, как ходили в Заельцовский бор на маевку? Две гармонии было. Всем казалось, что победа если еще не добыта, то она рядом, совсем рядом. Стоит только повыше чуть подтянуться, поднять голову. И я вот думаю, интерес в тебе все-таки был здоровый, не всегда же ты в купцы метил. Ну, ну, не сердчай. Наскучился я по тебе, позлить тебя охота и обнять. На той маевке, я помню, ты был в красной рубахе и красивым же таким бесом гляделся, что одна наша пролетарка даже интерес чисто женский свой проявила. Так вот, я тебе про то хочу сказать, что победа всем тогда казалась рядом, она как солнце майское светила, такое было у всех настроение. Но желание и действительность далеки друг от друга. И потребуются годы, чтобы навсегда утвердить на земле железный закон правды. Ты, Алеха, не понимаешь одного — разницы между двумя радостями. Теперь, и от веку было так, что у всех одна радость. Купец ли, генерал или мужик, богатый или бедный — радость у всех одна. Кошель толще — радость толще, в кошеле пусто — столько и радости. Понимаешь ты это? Ребятишки вот у тебя сыты, одежда какая на них есть — ты улыбочивый, ребятишек накормить нечем, надеть им нечего — ты уже хмурый. Вот так все жили от веку. И не хочешь понять ты, что борьба принесет миру другую радость, она не от кошеля. Хлеб и одежда — забота низшего порядка, народ ее решит, как только свободным станет, а потом будет высшее, уже не от брюха. И полной радости не быть, пока пролетарский социализм не возьмет на всей земле верх. Тогда на маевке, в Заельцовском бору, мы видели в глазах людей особый свет. И в тебе он был, тот свет, это я помню хорошо. И суди теперь. Психология в тебе развилась лавочника не от характера, а от нужды. И придет время, борьба в тебе проявит совсем другой дух. Ждать не так долго, потому что злости у народа накопилось много, чем тяжелее гнут, тем сильнее обратный размах будет. Игра у парнишек такая, знаешь, сами мы играли: пригнут вершинку березы до земли, потом отпускают — береза вон какой мах дает назад. А человека когда гнут, это, брат, не игра. Мах назад будет — все наверху слетят. Наскучился я, говорю, по тебе. А в депо побывай у наших, если, конечно, тебя отпустили и ты если на воле. Не бойся, когда гнут, бойся, когда согнутого в теплое местечко ставят. Дугу, чтобы не разогнулась, как раз к печке прислоняют. Бойся, значит, тепленького. Всяких там подачек от вербуков и прочих. Новая жизнь ждет нас, и мы к ней придем... Остаюсь твой друг Афанасий. Октябрь 1907 г.»

Да, да, Алешка помнит, ох как помнит! Та маевка в Заельцовском бору — светлячок в пасмури. Верно, красота в глазах у всех маевщиков была, азарт, ощущение праздника и чего-то еще такого, что горячило и без того бурную кровь! Хотя он и не понимал многого из того, что там, на

лужайке, под теми красными соснами, говорилось рабочими, но на сердце было легко и в голове просветленно. Ах, молодость! Гармони рвали свои меха друг перед дружкой, а плясуны — тоже один перед другим. Уж чего-чего, а поплясать-то этот шальный народ мастак. И впрысядку, и «яблочко» по кругу с пылью прогнать и с присвистом, ух! Да тот же Афанасий: держи его — не удержишь, под гармонь-то и подметку сапога ладошкой на ходу смажет, и чертиком себя изогнет. Ловок! А вот пропал где-то, ни слуху ни духу. Это ж сколько воды Обь перегнала с той поры! Сколько народу в землю закопано и сколько взамен бабы нарожали новых!

Ни с кем так остро не хотел встречи Алешка, как с Афанасием и Еськой. Он все эти годы, когда приходили в зону новые этапы, приглядывался к командам: не увидит ли их. И спрашивал у вновь поступавших по этапам, не встречал ли кто. Нет, тысячи несчастных прошли, а их не было.

Алешка то корил Афанасия, ставя ему в вину скомканную свою жизнь — ну да, ведь не будь того проклятого случая, той поездки в паровозе, не поддайся он, Алешка, соблазну, как бы накатанно и прямо все в его судьбе пошло бы, — то уж не корил, забывал обиды и жалел его. У него, у Алешки, вообще сердце дурацкое — не мог без того, чтобы кого-то не жалеть, может, оттого и крутит его по жизни, как зайца на косогоре.

Толкнуло же тогда влезть с Афанасием и с Еськой в паровоз. Кто понудил? Сам, дуралей, вызвался. Сам-то сам, но, не будь такого обстоятельства, не было бы и соблазна...

Где же он сгинул, Афанасий-то? Удастся ли свидеться?

Алешка положил письмо в туесок, где сберегались документы, потом чуть ли не каждый день доставал его оттуда, снова прочитывал, и снова память его возвращала далеко назад.

## Комната № 28

Вениамин Маркович Тупальский был из тех молодых людей, которые, оказавшись в жерновах социальной мельницы, не перемальваются, не обращаются, подобно злаковому зерну, в мучицу, из коей затем ловкие руки всякого пекаря при желании могут слепить булку или крендель, а то и пташку с коноплянками вместо глаз на весенний праздник прилета певучих жаворонков (праздник этот именуется днем Сорока мучеников). Такие молодые люди, выпав из жерновов и отлежавшись в какой-нибудь тесной неприметной щелке, выходят на прежний простор, одни, правда, со следами некоторой помятости, побитости, другие же совсем целехонькими, лишь с репутацией тертых. Словом, подобно опять же зерну, вольно прорастают под божьим солнцем, которое, будем надеяться, никогда не устанет всходить на наше небо и не перестанет питать человеческую надежду новым рассветом.

Нельзя, конечно, утверждать, вот так прямо утверждать, что Вениамин Маркович Тупальский вышел из тех самых жерновов, о которых мы говорим, совсем уж нематым, нет. Оголившаяся середка на его черепе тому свидетельство. Как бы пташка какая села гнездо вить, выскребла



коготками изрядный кружок растительности до голого основания, ей что-то не поглянулось, она передумала и улетела, — такая вот проплетшина. Но репутация тертого человека может компенсировать с достаточной степенью и не такой изъян, и даже уверенности прибавит.

Судите сами. В начале осени, когда непрохожая и непроезжая слякоть заняла еще не все улицы, объявился он в Новониколаевске, поселился не в доме у дядюшки, а в комнате при почтовом дворе, а поселяясь, еще совсем не решил, на какое занятие ему определиться, не отоспался, не отлежался, — не успел он, значит, ничего этого сделать, как был приглашен к властям. Там его немного оглядели, может, на тот случай, чтобы определить, достаточно ли он потерт, и поинтересовались, принадлежит ли он к какой партии, ну, к кадетам, эсерам, анархистам, интернационалистам или еще к чему, он, слава богу, не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к пятым, так и отвечал, что «слава богу», ему сказали, что это не совсем хорошо в его возрасте и в его положении, однако тут же сказали обратное, то есть что, дескать, ничего, что дело это, дескать, времени и обстоятельств. И предложено было ему сформировать отряд по охране железнодорожных мостов и государственной почты на речных переправах.

Какое-то время Тупальский набирал себе команду и набрал-таки, хотя мог набрать не одну команду, а десять — при наличии-то в городе безработного народа мужского пола. Построил он ее на площади для переключки, а потом повел к реке, на пристань, получать в складах положенное довольствие. С этим личным составом он отбыл на отведенные объекты, какие располагались по линии от Юрги и дальше, в сторону Томска.

Через какое-то время к Тупальскому пришел совсем парнишка, прапорщик, сказал, что он из «Союза спасения Отечества, Свободы и Порядка», и передал распоряжение идти в Томск. Тупальский, конечно, не слышал ни о каком «Союзе спасения», вернее, слышал и даже читал, но тот «Союз» был ровно сто лет назад и объединял он декабристов, а о каком-то совсем новом, ныне существующем — не знал. И не знал, что ему делать, то ли подчиниться этому с ветра прибывшему парнишке, то ли воспротивиться, был в большом сомнении.

Поразмыслив, Тупальский, однако, не стал строить виражи возражений, не стал интересоваться, что там да как. По дороге на ближнем разъезде в поезд села еще команда, состоявшая наполовину из солдат, наполовину из казаков, а дальше, на одной из станций, к ним присоединились еще военные.

Но в Томск доехать не удалось, потому как таежный разъезд на пути оказался занят красногвардейцами, которые, обнаглев, предложили всем разоружаться — ни более ни менее, и поезд завели в тупик. До ночи вели переговоры, молоденький прапорщик и казаки выражали требование дать бой, но боя не дали, а потемну зарубили двух или трех призагнувших часовых и разбежались тайгой. Тем, значит, история и кончилась.

Когда в Новониколаевск Тупальский вернулся, уже зима держалась. На этот раз он решил — никуда, а прямо к дядюшке. Так и спланировал себе: неделю, самое малое, из дома не выходить, отлежаться, отоспаться,

потом оглядеться трезво (непременно трезво) и уж тогда в соответствии... ну... новый курс житейский прокладывать.

Оглядеться теперь-то ох как следовало. В Петрограде — Советы. Тут тоже буйства. Никто не знает, куда повернет стихия. И уж не опрометчиво ли он поступил, остановившись у дядюшки, бывшего околоточного?

С таким настроением он задвинул занавески на окнах, положил на табуретку табак, а табуретку придвинул к кровати и растянулся в постели. Комфорт был бы, наверно, не полный, если бы дядюшка не догадался пригласить к любимому племяннику соседскую барышню семнадцати лет по имени Аглая, которая не была назойливой и пробыла в доме столько времени, сколь требовалось.

— А теперь не буди и не тревожь, — попросил он доброго своего дядюшку, который, должно, устав от выражения родственных чувств, сидел в соседней комнате и дремал, отекая вниз нездоровыми щеками и всем тяжелым телом.

— Как хочешь. Как хочешь, — неуклюже вскинулся старик, пробуя отодвинуться, не вставая, вместе со стулом.

Но уже на второй день, близко к вечеру, когда Тупальский, спустив с кровати ноги, набил туго табаком в очередной раз трубку и вышел в прихожую поднять, в приотворенной двери возникла юркая физиономия человека с проваленными щеками. Вошедший от порога спросил, здесь ли будет Тупальский Вениамин Маркович, после этого глянул бегучим ускользящим взглядом на Тупальского и на Мирона Мироновича, который сидел тут же, в прихожей, у раскрытой голландки. Извлеченную из рукава меховой тужурки свернутую трубочкой бумажку человек протянул Тупальскому. Тупальский разворачивал ее с настороженностью, а прочитав, что там было написано химическим карандашом, почувствовал, как промеж лопатками пошла сырая остуда. «Явиться в 28-ю комнату...»

Тупальский глянул на Мирона Мироновича:

— С чего бы это?

Мирон Миронович и вовсе отворотился к раскрытой дверце голландки, стал подбирать выпавшие на жестянку курящиеся уголья.

— Не разберу, — еще сказал Тупальский, обращаясь к грузной спине дядюшки.

Дядюшка же опять отмолчался. Тупальский еще поглядел в бумажный листок, потом зажег трубку и, наглотавшись табачного дыма, стал нервно, торопливо собираться, все чувствуя лопатками противную сырошь.

Надел он валенки и уж на порог шагнул, но опять взгляделся в бумажку. Да ведь не прописано, когда явиться. Не указано.

За все время, пробытое в этом доме, он не выходил никуда со двора, да и во дворе был лишь по острой нужде, дабы не мельтешить перед соседями. Барышня была, к счастью, скромной, соблюдала деликатность, сама не являлась. Как же могли узнать в той, 28-й, что он здесь? И вообще. Какая он такая птица, к существованию которой на белом свете все



должны проявлять непреременный интерес? Обыкновенный племянничек какого-то бывшего, стародавнего околоточного — и только.

Ну, допустим, о существовании могут и знать, хотя у власти-то выются новые люди. Задача не из хитрых. А вот то, что он залез в эту берлогу, упрятался в доме у дядюшки...

Да, да, не следовало ему поступать так опрометчиво, не оглядевшись, являться к дядюшке, надо было остановиться где-то, снять комнату.

А впрочем, почему не следовало-то? За ним что, хвост какой? Никакого хвоста. Ну, нес какую-никакую караульную службу, ну, прочее там... Так что из того? Однако... зачем было уходить в глушь тайги и пережидать там? В том-то и дело. В лесных тех землянках кто-то просто опухал ото сна да от самогона, а кто-то ведь и выбирался глухими, плотными ночами порезвиться, потешить застоявшуюся кровь. Куда-то ходили. Да и не куда-то, а ясно куда. И не просто так, для проминки, для молодой потешки с бабами, а еще ведь для чего-то... Для чего-то... Ну, они, ухари, сами выбалтывались — для чего. Хвалились: там подожгли... там перестрелку устроили... Слава богу, он, Тупальский, не ввязывался в те глупости. Пусть болтают, что характера у него не хватило. Ему все равно. Так и говорили те, которые, вернувшись утром, похохатывая, хвалились, расседывали затемневших от мокроты лошадей. У лошадей, загнанных, пена в пахах засыхала кружевными сгустками. Ухари ополаскивали и себя и лошадей в ручье и подшучивали: «Что, Тупальский, жила слаба?» Он ушел оттуда, выбрался так же ночью, а там те еще остались...

Неужто про то станут спрашивать? Но как узнали? Нет, про то вряд ли. Тогда для чего в эту самую 28-ю? Конечно, не следовало бы являться к дядюшке, да, это уж так, не следовало бы...

Тупальский еще поглядел на старого дядюшку. «Пожалуй, не пойду, — подумал. — Коль не указано, когда явиться, — не пойду. Тем более что день-то уже кончился».

Да, окно было уже подсинено сумерками, и если в комнате было еще светло без лампы, то это оттого, что раскрыта дверца голландки. Красноватый свет выбивался упругим расширяющимся пучком, захватывал половину стены, где висела на гвозде старая истертая полицейская шинель дядюшки.

Тупальский сходил на воздух, справил нужду, вернулся и лег опять в кровать, не разуваясь и продолжая думать. Сцепленные в пальцах ладони он держал под затылком.

Но почти тотчас вскочил, накинул на плечи полушубок, а шапку надевал уж в воротах. При переходе оврага встретились две подводы с дровами да тетка с коромыслом, идущая от колодца.

Исходила тревожная знобкая пустота от всего города. Сумерки давили. В контраст всему, то есть всему этому всеобщему запустению и уплотняющемуся мраку, — в контраст горели два ряда окон по ту сторону пустого пространства. Укорачиваемый снегопадом свет был кровавист. «Ох, какая там путаная работа! Каков чертов ад!» — думал Тупальский.



Двадцать восьмая оказалась на втором этаже, крайней вправо по коридору. Под дверью на полу сидело человек десять угрюмого мужского народа. Кисло пахло отходами. Народ был, однако, и у других дверей. «Рев. уч. кадр.» — Тупальский прочел то, что было написано суриком на дощечке, приколоченной гнутым гвоздем к боковому косяку. Прошел он туда и сюда, прочитал и другие дощечки: «Рев. стат.», «Рев. земуст.», «Сов. юст.», «Жен. ком.» и так далее.

Прежде в этом казенном здании не было этих «рев» и «сов». И самих дощечек тоже не было на залощенных, облупившихся косяках.

— А что — сюда? — на всякий случай спросил Тупальский соседа, сидящего у стены на кукорках.

— Дак чего ж? — вопросом же отвечал тот с раздражением на истомленном лице, нацеливаясь белыми глазами на дверь. — Работу пускай дают. Мы ж не контрики какие, чтобы без работы быть.

«Ага», — подумал Тупальский, начиная догадываться, что значит «Рев. уч. кадр.». И, несколько успокоившись, прошел еще по коридору, вникая в смысл других дощечек. «Рев. земуст.» — революционное землеустройство, значит... А дверь с дощечкой «Сов. юст.», куда падало прямое пятно от лампы, была окована железом, ее отгораживал крашенный барьер, за ним, у косяка, опершись грудью на винтовочный ствол, дремал часовой.

— А ты чего? — спросил белоглазый, крутя нервно в руках шапку, которая у него была наполовину баранья, наполовину из сукна.

— Да тоже, — сказал Тупальский.

— Курвы, — сообщил белоглазый и стал доверительно придвигаться, шоркаясь спиной по стене, а задом по грязному полу. — Все курвы, — уточнил он и, махнув перед носом Тупальского скомканной шапкой, на долго задумался.

Тупальский не знал, то ли ждать ему очереди сегодня, то ли уж не ждать, а прийти завтра, он вытащил из кармана повестку и принялся тереть ее с угла пальцами.

— Пригласили, а... вот, стоять надо, — зачем-то молвил он, вышло это у него с обидой.

— Дак ты, браток, по уведомлению! — оживился и заморгал сосед. — Да чего ж ты?.. По уведомлению вне всякого... вне всякого... — Белоглазый принялся подталкивать Тупальского в бок, раздвигал стоявших впереди людей и всем объяснял с энергией и живостью в лице, будто он сам был «по уведомлению» и только вот теперь будто обнаружил это: — Пустите же человека, вишь, бумажка... по уведомлению...

Торцом к торцу стояли в той комнате одинаковые черные широкие тумбовые столы, а за каждым сидело по два служащих, и все, навалясь, писали с прилежностью, не примечая вымученности в позах сидевших перед ними посетителей, а может, и вовсе про них забыв. Вызывную бумажку у Тупальского приняла женщина (единственная тут), голубенький воротничок на платье которой невыгодно оттенял сухую ее кожу, ее скуластое изжитое лицо. Она, не разворачиваясь, сняла со стеллажа толстый, с железной дужкой, скоросшиватель, что-то нашла в нем, после





чего взгляд ее за очками разжижился, смягчился, она кивнула направо, сказав: «К Евсею Ивановичу». Листок переметнулся на соседний стол, оттуда на следующий и так до широкогрудого служащего в темной косоворотке, занимавшего место у окна. Тупальский решил, что это и есть Евсей Иванович, но тот после короткого прочтения переданной ему бумаги не стал вести разговора с Тупальским, встал и вышел в растворенную дверь смежной комнаты, велел Тупальскому идти за ним.

Тут было свободнее, было всего два стола, но оттого, что ламповый свет истекал не сверху, а сбоку и тени густо лежали на полу и на стенах, ощущения просторности не было. Когда Тупальский присел, то увидел перед собой совершенно гладкую, как куриное яйцо, голову, она едва возвышалась над столом, который был укрыт черным стеклом и был почти свободен от бумаг и от всего канцелярского. Голова как бы вырастала прямо из стола, отражаясь в стекле, так, собственно, Тупальский, склонный иногда впадать в мистику, и подумал — что из стола вырастает эта голова.

Заговорил этот человек басом, он справился о здоровье, о настроении и, не переставая все так же остро всматриваться спрятанными в глубине черепа глазами, заговорил о зиме, которая, по приметам, должна быть крутой, люто-морозной, потом, после короткой паузы, бывшей не столь выражением внутреннего напряжения и душевной работы, сколь тактическим приемом, сказал:

— Мы, Вениамин Маркович, обдумали тут ваше трудоустройство. Полагаем, что вы не откажетесь послужить... В сообразительных, грамотных, честных людях наша рабоче-крестьянская власть испытывает на данном этапе острую нужду, потребность, понимаете. И поэтому... Вам предлагается работа в отделе недвижимых имуществ. Пока еще отдела как такового нет, идет переформировка, но... вам предлагаем. Предупреждаю, место хлопотное, в бегах всё будете, ну, да вам это и как раз. Не то что сидеть с нами, стариками. Повторяю, хлопотное место и... и... — тут под лампой на гладком черепе произошло легкое, едва приметное движение теней, — и веселое для вас будет. Вот... Не принуждаем торопиться. Обдумайте. А этак через день-два покажетесь. А пока... с местом жительства. Для холостяков из советского аппарата у нас есть комната. Если вам подойдет, то что ж, и совсем славно. Квартировать у кого-то, входить в зависимость — не совсем хорошо в глазах народа. За нами теперь со всем пристрастием глядят, ничего не упускают из виду. Вот я и говорю... А теперь вот вам записочка, предъявите коменданту... Вас устроят в комнатах...

Тупальский ожидал, что будет задан вопрос о принадлежности к партиям, но начальник вежливо поднялся, и оттого, что поднялся, он не стал выше, протянул руку через стол. Ладонь у него оказалась крупной, жесткой и хватистой. Рыжие пучки сочной растительности на фалангах пальцев были будто приклеенными.

Тупальский через коридор проходил сдержанно, его в плечо торкал тот, белоглазый, мотал в воздухе шапкой и спрашивал сообщнически:

— Ну что там, браток? Кто? Чего они там тебе?.. Я же говорю, курвы они там все. Курвы!

— Дак нет, люди там, — отвечал Тупальский в явном смятении.

Сдержанным шагом Тупальский сошел с этажа по ступеням крутой лестницы, выравнивая спину, освобождаясь от смятения и набирая в себе достоинства. Так же сдержанно прошел он через пространство площади, на краю которой у коновязи мерзла одинокая, запорошенная снегом лошадь. Оглянулся на другой стороне, уже за площадью, в глубине улицы; окна на этаже слали ему матово-рябой свет.

По темноте, мимо заглохших обывательских дворов летел Тупальский уже не сдерживая себя, а в дом вбежал с жаром в груди.

— Дорогой дядюшка, слышишь! Тысячу лет не догадаешься, зачем твоего племянника вызвала советская власть. Тысячу лет! — зашумел он на пороге.

— Ну-ну. — Мирон Мироныч все так же согнуто грелся у раскрытой дверцы голландки, не зажигая лампы. Пучок света с примесью дыма упирался в стену, рядок медных пуговиц на шинели, висевшей там, отблескивал горящими угольями. Остальные части комнаты — потолок, окна, голбец и прочее — хоронились в устоявшемся слоеном мраке, и комната оттого зауживалась до щели, и сам дядюшка как бы застрял в этой щели.

— Да ты слушай! — шумел Тупальский, сбрасывая на пол шапку и полушубок. — Тысячу лет!.. Ни за какие коврижки не угадать.

— Ну-ну, — отвечал Мирон Мироныч. Он снял с лампы пузатое стекло, подsunул туда горящую спичку, дохнуло керосином, фитилек надростился рубиновым треуголком, а когда стекло опять было поставлено на свое место, то этот огонек на фитильке разом широко раздвинулся, обратился в живой упругий букетик.

Комната тоже разом обновилась, стены с полками отбежали назад, а шкаф, стол и прочее, наоборот, придвинулись вперед.

— Как там... свиделся с Евсей Ивановичем? — будто сам себя спрашивал Мирон Миронович.

— Ну как же! Как же! — восклицал Тупальский.

— Теперь будь ровнее, так вот козлом не прыгай, — укорил Мирон Мироныч, недовольный дураковатой восторженностью племянника. — Завтра по раннему утру и съедешь на свое жительство, куда тебя определил Евсей-то Иванович, он знает порядки. Нечего тебе тут у меня быть, глаза соседям мозолить.

— А ты, дядюшка, откуда знаешь, что...

— Вижу, что доволен. Так вот, говорю, завтра ранним утром, до света, и отправляйся, чтобы пока соседи... Чего перед ними-то... Им лишь бы глазеть, на это они горазды. А Евсей Иванович-то, он же свойник твоего покойного отца. Он разве тебе не сказал про это? Ну да не место, видно, говорить. И знать тебе не все надо... Надежный человек он. Когда моя сестра, твоя мать, выходила замуж за твоего отца, шафером как раз был он, Евсей Иванович.

— Что же ты прежде мне не сказал? Я что же, случайно к нему попал?

— Ну, случайно, неслучайно, а вот надо, значит, и попал. Свиделись на доброе дело. Свойник твоему покойному отцу-то... Теперь бы тебе и у

матери побывать. Когда был-то у нее? В году четырнадцатом иль в пятнадцатом? То-то она пишет, что в окошко все глядит, глаза проглядела.

Тупальский понял, что вызов и встречу с Евсеем Ивановичем устроил хитроумный дядюшка.

О матери Тупальский, конечно, помнил, он любил старушку да и сестру младшую любил, они в пристанском поселочке, на Иртыше, под Тобольском, но ехать к ним в тот поселочек, сейчас завьюженный сугробами, у него никак не было желания.

— Остерегись провокаторов, — наказывал Вербук племяннику. — По Новониколаевску их много. Я их нюхом чую. Вывеживают настроение... Тут в слободке Зыбрин живет, дом у него... тот самый, на бугрище, пятистенник. Он с каторги вернулся.

— Ну?

— Знаешь ты его.

— Эт хромой-то? Твой лавочник неудачливый? Ну, припоминаю. Он у нас из зоны все убегал, пока не заковали. Ну и что?

— Припугнуть бы его надо, чтобы попокладистее... Да держать при себе...

— Не думаешь ли опять из него лавочника себе делать? — посмеялся Тупальский.

— Эт уж как бог. Как бог, — не принял племянникова тона Мирон Мироныч. — Мужик он дурной, но не вор. Дружки у него были, втянули дурака в историю, жизнь ему попортили, жену потерял...

— Жену я его помню, красавица, — сказал Тупальский.

— Это уж так, редкая красавица. Набожная была.

— Они, красивые, все набожные, пока муж дома. — Тупальский разобрал постель, разделся и в белье, босой, прошел по комнате в угол, где был кувшин с водой.

— Не оговаривай русскую бабу, не богохульствуй, грешно. Русская баба, какая из деревни вышла, против любой нации устоит целомудренностью. Это уж в городах они портятся. А про Зыбрину я говорю к тому, что приветить надо. Всяко повернуть жизнь может. А мужик он, говорю, не вор, в политические не лезет, сам по себе. При случае опора будет. Зла не помнит. Да какое у него, дурака, на меня зло может быть? Я его благодетельствовал, а он сам себя подкосил. Отчего же ему зло на благодетеля держать?

— На благодетелях-то, дядюшка, только и вымещают зло, — Тупальский говорил уж из постели, обдумывая завтрашний день, и плохо слушал разохотившегося на разговор дядюшку. Конечно, дядюшка молодец, складывается все будто бы ладно, как бы не изурочить...

Вербук продолжал:

— Про Зыбрину я к тому, что другой тут каторжный объявился, из дружков его. Бойченков Афанасий. Этот вражина. Этот сам по себе не будет. Непременно станет везде лезти да подминать под себя. Кружить всех будет. Его-то ты как раз остерегись, везде он будет лезти. А через Зыбрину при случае можно и на него подействовать...

Тупальский, однако, уже не слышал, он засыпал, дыхание его было выровненным.

## Саботажников ищите, выявляйте саботажников!

Реальную картину Западной Сибири, Приобья, Афанасий, конечно, знал. Ни один город Сибири не смог сразу отозваться — ни один! — не смог отозваться в тот же день, ну хотя бы в ту же неделю, на весть из Петрограда, со Второго съезда Советов, твердо и неотступно сказавшего: полная в стране власть — Советам. Не был сибирский рабочий готов к такому — спал. В Новониколаевске и Судженске смогли рабочие раскачаться только ко второй половине декабря, а в Бийске, Кольчугине, Анжерске и того позднее. В многолюдном Томске в протест решению Второго съезда Советов областники даже созвали свой «чрезвычайный общесибирский» съезд. Ну, кто такие областники, Афанасий ведал, приходилось с ними встречаться и на каторге, и позднее. Они за автономию Сибири. Очень заманчиво. С одной-то стороны будто бы... Сибирь сама себе хозяйка, и уж никто не вправе ей давать указы. А с другой стороны... Ну да. Паровоз, направленный в одну сторону, где светофор, вдруг двинется в другую, где никаких светофоров. Рабочие Сибири не так сплотены, да и много ли их, чтобы без помощи отсюда, из-за Урала, управиться, удержаться в свободной жизни? Казачество енисейское, забайкальское, прочее офицерство... Сколько их всех! Да плюс купечество, гражданские чины, поповщина... Десяток на одного оголенного рабочего.

«Чрезвычайный» съезд в Томске бурлил целую неделю. Областники избрали свой «Временный Сибирский областной совет» во главе с Г. Н. Потаниным. И послали уполномоченных для установления связей с националистами Украины, Туркестана, Киргизии и еще куда-то. Просят поддержки от членов Учредительного собрания. Свои министерства, свои министры. Военным советом руководить областники позвали казачьего атамана из Енисейска Сотникова.

В Тюмени власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была отдана лишь при активной помощи отряда красногвардейцев, прибывшего из Петрограда. С той же задачей поехали петроградские красногвардейцы в Тобольск, и еще нет оттуда никаких известий. Как там сложатся обстоятельства? К тому же что-то совсем недоброе задумывается в штабе чехословацких легионеров, куда, как пишут газеты, зачастил с визитами тот же Сотников, представляющий томских областников.

В Новониколаевске остановлена, бездействует вся промышленность. И не просто остановлена, а разорена наголо, начисто.

Такой вот образовался круг, такие тучи.

После отбытия каторги, а это было в четырнадцатом году, Афанасий не вернулся в Новониколаевск, остался на реке Витим, работал на рудниках, ему очень уж по складу подходили рисковые, вольные, самолюбивые натуры золотодобытчиков и вся их рисковая, далекая от здравого смысла жизнь; это был нестойкий, текучий материал, попав в их среду, или сам обращаешься в нечто подобное, или, если хватит характера устоять, вдруг осознаешь себя так, как никогда прежде не осознавал, и начнешь лепить, формировать из этого сырого материала, что тебе заблагорассудится: по-

дозрительных ли, угрюмых социалистов или террористов-романтиков. Да, да. Смешно?

Возможно, до скончания отмеренных ему судьбой дней — а до той поры, считал он, не так уж и далеко при его-то побитых печенках-селезенках, — возможно, и быть бы ему там до своего срока, когда зароят в каменистый пригорок среди кустов таволги, пенно расцветающих по весне, да вот позвали его на разговор в Иркутск, в Центросибирь. Так он и получил это вот назначение: ехать в свой Новониколаевск и наладить все производства, какие тут когда-то действовали. А он уж и давно забыл какие.

В ту невообразимо давнюю пору, до девятьсот пятого года, когда Афанасий в городе жил, действовали тут крупные лесопильни, мучные и крупяные мельницы, бражный и кожевенный заводы, мыловарня...

Ходил Афанасий по домам и баракам, собирал членов заводских и фабричных комитетов, те охотно устраивали митинги, вводили людей в энтузиазм, но решительно никто не знал, чем заменить испорченное, разбитое, разрушенное оборудование, ну, вон ту вагранку в кирпичных забоях или прессовочную машину. Из края в край Афанасий пробегал пешком весь город, с Ельцовки до Каменки, и обратно из края в край. Была ему выделена лошадь и кошева с коробком, но лошадь у него украли цыгане, как он говорил, конфисковали в пользу беднейшего сословия, а кошеву вместе с коробком он за ненадобностью променял у телеграфистов на аккумулятор да на несколько мотков толстой проволоки, необходимой для насечки в кузнице шпонок к маслобечным машинам.

На национализированном маслозаводе очень старательным оказался технорук Стрижелов, немолодой уже, грузный, медлительный, из молчунов. Разбитое оборудование наладил за две недели. Афанасий, глядя на него, упругого толстяка, радовался. На все, что говорил он ему, тот глухо отвечал единственным словом: «Ага».

Но завод и с отлаженной технологической линией оставался по-прежнему в бездействии, что удручало еще больше. Не было подвоза молока ни из слободки, ни из деревень. Слободские бабы морозили молоко в мисках, в котелках и в таком виде, с желтыми масляными шишками, продавали на базаре. Специально назначенные сборщики (а подбирал их сам Афанасий) с бочками в санях, посланные по деревням, возвращались пустыми.

— А вы объясняли крестьянам, что масло нужно рабочему классу? — спрашивал возмущенный Афанасий.

— Говорили.

— А они что вам?

— Молчат.

— А вы говорили, что масло нужно советской власти? Для посылки в Петроград...

— Говорили.

— А они что?

— Молчат.

— А говорили, что масло нужно детям рабочих?

— Молчат.

— И долго это безобразие нам терпеть? — спрашивал Афанасий уже не сборщиков, а технорука Стрижелова.

— Ага, — отвечал тот, вытирая платком замокревшую алую шею.

— Чего «ага», чего «ага»? — шумел нервный Афанасий.

Потом он сам съездил в Устьевку, деревню, стоявшую на реке Тулке. Собирал мужиков.

— Почему молоко сборщикам не реализуете и сами тоже не везете? — спрашивал.

— Дак, это, того... — мужики надвигали шапки на глаза.

— Сознательный вы народ иль не сознательный?! — напускался криком Афанасий.

— Дак, это... — мужики пятились, оглядываясь назад.

— Чего?.. Вы понимаете, рабочий класс голодает!.. Ленин просит и требует.

— Дак, опять же, это...

Крестьяне, сомневаясь во всем, соглашались отдавать молоко только в обмен на одежду или на предметы хозяйственного обихода. Ни один из них не слышал о вожде революции Ленине, защитнике народа, не слышал, что жить крестьянской жизнью без союза с рабочими будет дальше тяжелее.

— Да как же вы о Ленине не знаете? — возмущался Афанасий. — Какую ерунду вы мелете? Жить в союзе с рабочими вы все станете лучше, потому что... Свобода у нас теперь. Потому что вопрос будем решать в пользу народа.

— Дак, еслив, оно бы, так-то...

Из трибунала, недавно учрежденного, всякий день Афанасию напоминали: «Ты саботажников нам выявляй. Не либеральничай».

Афанасий, имея свое пролетарское чутье, и без того присматривался, очень присматривался. Каков он есть, саботажник-то, в чем его отличие от других мужиков?

На национализированном кожевенном заводе все чаны разбиты. Кто разбил? Пробовал выявить. Складывается мнение, что хозяина это дело, больше ничье, — в отместку. Но ведь он, бывший владелец, купец из Томска, не появлялся тут уже больше года. Или его управляющий? Но этот тоже из Новониколаевска выехал еще до объявления о национализации предприятий. А дом управляющего, в два этажа, сгорел начисто, даже крыша жестяная расплавилась.

Как ни вникал Афанасий, не обнаружил пока ни одного следа, где бы хозяин или его люди, конторщики, перед тем, как скрыться от расходившейся в буйстве толпы, нарушили что-то на своем предприятии или подожгли свою усадьбу.

«Бей, изничтожай, теперь власть наша!» — этот-то азарт Афанасий слышал и видел не раз. Не осуждал он тогда такую эйфорию, такой буйный разгул. Накипело. Но теперь-то, теперь! Приходится неделями искать, чем заменить в прессовочной машине расколотую, выщербленную шестеренку или что-то еще. Приходится шарнирчик, болт или пустяковый вентилек выпрашивать у запасливых деповских рабочих.



Теперь он бы сам на площади показным судом судил тех буйных погромщиков. И в то же время совсем не было у Афанасия охоты поименно их отыскивать, тем более доносить в трибунал.

В трибунале интересовались, однако, совсем не этим. Нет, не этим. Спрашивали Афанасия: «А технорук твой, что же, так уж и ни при чем — чистенький? Масло рабочему классу там не производите — и спокойные. При той власти хозяину-то он служил, а нам что?.. Саботируете?»

«Так ведь... — возражал Афанасий. — Молоко-то не он не везет, а крестьяне не везут, они коров доят, а не мы. Они не верят нам и нашим посулам».

«Ну, кто кому не верит, это мы еще разберемся, — говорили рев-трибуналовцы, очень усталые от своей тяжкой неблагодарной службы. — И до тех доберемся, до крестьян-то твоих. Узнаем и про них. А пока тебе советуем: за техноруком глаз держи, чтобы самому потом не рас-каиваться. Либеральничает! Вон в Анжерске семьдесят саботажников уже выявили, в Кольчугине тоже к тому счету подошло. Там глядят ответственно, не слюнявствуют. А у нас что же?..»

«Знаете что? Я свою школу прошел, — напрягался Афанасий. — Свою! И нечего мне!..»

«Не один ты прошел, не один. Мы — ничего, ничего. Мы только товарищеский совет даем, помогаем обострить бдительность. Не сердись. В таком классовом деле неплохо бы опираться и на тех товарищей, которые прошли ту же самую школу, что и ты. Есть же в городе люди, страдавшие тоже от царской жандармерии, побывавшие на царских каторгах».

Конечно, конечно, так оно: опираться на тех, кто перенес царскую каторгу, непременно надо. Афанасий казнил себя, что все еще не выбрал свободного на то часа, чтобы забежать к Алешке Зыбрину, посидеть с ним вечерком. Да, да, ведь он, Афанасий, давно, почти сразу же, как из Забайкалья и Иркутска вернулся в Новониколаевск, узнал, что тот дома и что в здравии. Узнал и очень порадовался тому. И даже в один вечер уже спланировал быть у него. Однако беда: планы только планируются — ни минуты свободной.

Даже когда был на разоренном кирпичном, мимо его дома по слободке пробежал, оглянулся, ворота были растворены, человек с ослабнувшей спиной, в зипунке, насутуленно стоял у крыльца, обвислое ухо шапки спадало на мятую заросшую щеку. Ужель то был сам Алешка? Ох, не хотелось видеть таким его, когда-то удачливого, задиристого и самоуверенного красавца-мужика.

Понимал Афанасий, что с Алешкой, с куркулем этим, вышла горькая шутка. Не окажись он тогда с ними в паровозе, не угадай в полицию, в какие-нибудь богатые мещанские углы затянуло бы его, подпрягшегося в пристяжные к царскому охраннику, мордобойщику и эксплуататору Вербуку.

Нет, Афанасий не испытывал угрызений совести ни тогда, ни сейчас, не винил себя за Алешкины напрасные страдания, нет, он считал, что

каждый должен принести свою жертву во имя революционного обновления жизни, во имя пролетарской власти. Каждый. И никому не дано знать, каких тяжестей эта самая жертва должна быть. Одному каторга, другому расстрел, третьему — тоже свое, по заслугам. Хотя вот он, Алешка Зыбрин, может, и чересчур пострадал, вовсе не по заслугам, его жертвы хватило бы на десятерых таких, как он, простаков. Но в таком-то историческом деле кому уж что, разве распределишь всем по щепотке горчичного порошка, всем по маленькому крестику... Что выпало на судьбу, то уж выпало. Свой, положенный судьбой крест.

К исходу зимы удалось пустить в городе несколько производств. При всей сложности задачи это, однако, оказалось не главным в цепи общих дел. Выявилось, что куда сложнее наладить снабжение производств материалами, из которых надлежало делать продукт.

Вот ведь в чем вопрос! Кожевенному нужны шкуры, нужны они на каждый день, на каждый час. Всякие: свиные, коровьи, лошадиные, козы, собачьи... А где их взять? Их нет. Хоть закричись — нет.

Мельницам подавай зерно. Пшеничное, просяное, ржаное, гречишное... Ничего этого нет.

Мыловарке — вези обозы с тушами дохлого скота. И этого добра ищи-свищи! И так далее.

Вопрос казался вовсе неразрешимым, никакого просвета впереди. Приходилось только поражаться, как это прежде все ладилось, как бы само собой делалось. Ну то есть и кожи подвозились, и пшеничка подвозилась, и всякий мыловаренный материал...

Где, в каком месте вышиблен тот штырек в жизненно важной связке городского производства с крестьянским? Где искать этот штырек, чтобы снова эта связка заработала?

Афанасий зашел в земельный отдел, чтобы взять статистику прошлых лет. Но эта литература почему-то оказалась на хранении в отделе учета кадров, и Афанасий зашел туда.

— А-а! Афанасий Нифонтович! — приветствовал его Евсей Иванович, выходя из-за стола навстречу и светясь умной лысой головой. — Что от нас, бюрократов, потребовалось занятым людям?

Афанасий уважал этого строгого опрятного горбуна, присланного из соседнего уезда, питал к нему доверие. Он не мог бы пояснить почему, но вот при первой встрече с ним, в этом же кабинете, месяц назад, проникся товарищеским чувством. Может быть, оттого, что этот аппаратчик, в отличие от других, умел слушать, мог мгновенно дать любую запрашиваемую относительно кадров ранешних и настоящих информацию, а это в сегодняшней аппаратной чехарде было ох какой редкостью.

Было бы неверно говорить о какой-либо усталости Афанасия в эти месяцы. Было впечатление, что он летел куда-то, поглощенный этим чувством полета, сменялось утро вечером, точнее, день ночью, а ночь сменялась днем, он как бы и не примечал этих переходов, мозг оставался одинаково горячо возбужденным. В правом боку, там, в привычном месте, иногда что-то сдавливало, жгло (впрочем, не что-то, а конкретно — он





знал что), но до того ли теперь, когда такие дела, такая жизнь, такая надежда! Мозг воспалился упоением.

Да, все верно, хозяйство страны разрушено, но ведь это начало! И нельзя осуждать тех, кто переусердствовал, бросая булыжины во вчерашний проклятый царский, буржуйский мир, хотя, может быть, уж и с опозданием бросал, когда бросать, может быть, уже и совсем не следовало бы. Нет, нельзя осуждать. Понимать людей надо, задавленных нуждой, прозябающих в пролетарских каморках, не умеющих сообразить, в какой стороне отдушина, то ли там, то ли не там.

Ну, эти самые кирпичные заводы, кожевенные, пимокатные и прочие... Да ведь все отладим, переладим. Заново построим. Да еще такие ли! На Петроград будем равняться, на самую Европу! Всякие там Швейцарии да Франции к нам в хвост встанут, дайте только срок.

Один из путиловцев, присланных в Новониколаевск для технологической помощи, говорил на рабочем собрании: «Братцы, заводы поставить для нас с вами — не задача, догнать Европу — тоже не задача, потому как у нас освобожденный энтузиазм, чего нет у капиталистического рабочего класса. Задача — научиться жить при социализме и подготовить своих детей к вступлению в коммунизм».

Очень правильно говорил он, этот молодой человек (путиловец был совсем молодой, лицо — яблочко круглое, с румянцем, а ресницы соломенные): «Освобожденному рабочему классу всякие заводы поставить под силу, не ходить на поклон к технарям американским да голландским...»

Собрание ревело неистово в знак одобрения таких слов. Еще бы! Вот тебе и молодой. Молодой, да ранний.

В комнате у Афанасия над столом на стене прикреплена выписка из газеты «Правда» — главная установка текущего политического момента: «Обеспечить повсеместную диктатуру городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти».

Заметив эту выписку на стене, тот путиловец очень обрадовался, почти по-детски: «Во, во, как раз! Таким построим наше государство. Марксистская теория».

Афанасий достал из стола брошюрку, нашел то место, где была напечатана другая, не менее четкая и не менее жесткая, а может, и более жесткая (да, да, может, и более), установка: «Наша прямая задача: водворение социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти».

Явная неувязка между установками. Это-то как раз и смущало Афанасия. Строить государственную власть, чтобы потом ее самим же и разрушить?

Оказалось, путиловец при всей своей молодости знает корень данного вопроса.

«Все верно, — отвечал он. — Сначала построим. А потом и разрушим сами же. В интересах справедливой жизни».

«И через сколько времени это наступит, такая необходимость-то, чтобы снова ломать?» — спросил присутствовавший при разговоре технорук Стрижелов.

Путиловец поднял соломенные ресницы к свету лампы, подумал и, посчитав в уме, отвечал: «Пожалуй, лет семь-восемь, не меньше. Ну, если с натяжкой, то десять».

Афанасий тоже подумал, согласился. Да, пожалуй, никак не меньше. Лет семь-восемь. Стрижелов еще посидел, покряхтел и вышел из комнаты. Видно было: он чего-то не разделял. Ну, он же чистый технарь, политика ему как зайцу пятая нога.

Афанасий все чаще вспоминал покойного отца. Вот так получается. При жизни пренебрегал стариком, а теперь впору к нему за советами. Да, старик, избираемый много лет сельским старостой, ничего не хотевший принимать ни в новой городской промышленной жизни вообще, ни в жизни пролетариев в частности, как выясилось, нужен был сейчас, ох как нужен. Смуцался Афанасий. Представлял он, а вернее, не мог никак представить степени стариковского раздражения от того вопроса, что касается диктатуры беднейшего крестьянства.

«Да это же черт знает что! — зашумел бы отец в крайнем гневе. — Кошунствуете! Чтобы крестьянин, хозяин на земле, пошел в работники, в прислужки к ленивому, у которого на земле, в загоне шиш да кукиш из бурьяна растут!»

«Диктатура — это еще не равнозначно тому, чтобы в работниках быть, — отвечал Афанасий отцу. — Диктатура — это значит...»

Говоря откровенно, Афанасий и сам тут много недопонимал, ой недопонимал. Не только что беднейшего крестьянства, а и пролетариата диктатуру не совсем понимал.

Диктатура значит что? Диктат. Диктат значит что? Нажим. Нажим значит: дави. Ударяй. Молот и наковальня. Так, ясно. Кого давить? Кого молотом? Ну, тоже ясно, недобитых буржуев, кровососов эксплуататоров. А кого еще? Дальше-то и неясно. Кого-то ведь и еще! В ленинской уставовке недоговаривается.

И потом опять же такая штука: в пролетариях-то на одного совестливого пять, а то и десять ловкачей, хитрецов или же вовсе пропойц и прохиндеев. Как с ними быть-то? Они тоже стучат себя в грудь — пролетарии! Диктатуру им подавай. Над кем? Над деклассированными элементами и еще... Да, над кем же еще? Еще, пожалуй, над тем совестливым мастеровым. По принципу большинства. Кого больше, на той стороне и сила. На той стороне и диктат. Опять же молот получается...

Вот ведь куда думы заводят! Вот в какой тупик.

Но — большая политика не всякому, знать, дается, встряхивал головой Афанасий.

Отец, слабы мы с тобой умишком в таком деле. Нам с тобой мыслишки какие попроще, пониже, пожиже... Афанасий пробовал на этом успокоиться, однако воспаленный мозг все тревожно гудел. Что? Построить справедливое государство, наладить власть, а потом самим же все это разломать для высшего порядка? Для высшей честности, для самых лучших отношений между людьми? Кто же, когда и в каких странах, в какие века это делал? Никто.



А мы, значит, на это наметились. Мы взяли как раз эту линию в качестве главной установки человеческого порядка на земле.

Прежде было в истории, от истока человеческой разумной жизни до нынешних дней — всегда: налаживали власть и диктатуру одни, а ломали ее уж другие, те, над кем эта самая диктатура была. А мы: сами — это, сами же — и то... Мы — молот, мы же и отбросим этот тяжелый инструмент за ненадобностью.

А ведь, пожалуй, разумно. Какая же может быть еще большая разумность, отец?! Какое еще большее благородство и благомыслие?! Обстановка требовала — пользовались, обстановка переменилась — не стали пользоваться, отбросили.

Только вот по малым шестеренкам, винтикам не сходитесь, по ним ударишь молотом-диктатом, что уж потом соберешь? И тем не менее каждый рабочий должен думать: моя пролетарская диктатура... И опять же каждый мужик: моя мужицкая диктатура. С деревней у Афанасия было наибольшее несовпадение. В морозные долгие ночи, расшуровав печку смолевыми дровами, завезенными красногвардейцами из Заельцовского леса, Афанасий погружался в сибирскую крестьянскую статистику. Так, так. «Столыпинский поворот в России», «Столыпинское землеустройство». Что это такое для Сибири? Это, оказывается, вот что...

Куча, куча неизвестных ранее Афанасию цифр. Прежде, еще на каторге, он пробовал заинтересоваться личностью Столыпина Петра Аркадьевича, его реформами, но тогда неоткуда было взять эту статистику, вот эти цифры. Он знал только то, что доходило с листовками. Эти листовки периода 1907 года, сохранив, он и теперь время от времени перебирает в столе. «Свист нагаек, бряцание солдатских ружей не умолкают, все еще одна за другой воздвигаются виселицы, и, кажется, нет и не видно конца рекам крови, смерти, ужаса. Мрачное отчаяние ярким пламенем вспыхивает в измученных сердцах, толкая на верный путь борьбы с оружием в руках» — так кричат листовки.

Знал Афанасий, что в те же столыпинские годы было «разогнано около полутысячи (сведения из тех же листовок, приходивших на каторгу из Томска и Иркутска) профессиональных союзов рабочих, закрыто сто газет, по политическим мотивам было приговорено к смертной казни пять тысяч человек и, кроме того, тридцать тысяч умерло в тюрьмах от пыток и голода. И четыре пятых из этого страшного числа были рабочие и крестьяне».

И разве не обоснована теперь бдительность товарищей из трибунала, требующих отыскать как можно больше разных вредителей, саботажников? В Анжерске вон выявили, в Кольчугине... Когда-то они нас к стенке ставили, теперь мы их. Линия, что ж, бесспорная, справедливая. Так, так. Только если...

Вопросик щепетильный. Если только в Анжерске сколько-то десятков саботажников, да в Кольчугине столько, да в Томске (там, в губернском, могут быть сотни), да в Омске — опять сотни, и опять же в Тобольске... Это уж перекроет то, что было при столыпинских тюрьмах! Только за три месяца нашей власти — перекроет. А трибуналы ведь и дальше будут, товарищи разохотятся, войдут во вкус...

Нет, Афанасий, не шибко-то образованная голова, не мог про это правильно думать. Он понимал, что думает не так, но не мог иначе, не умел, что уж там; его заносило, понимал, куда-то не туда, не на ту линию. Сын сельского старосты, ясно, чего ж, иронизировал он над собой. Впрочем, приходилось ему это слышать и от других, что сын он сельского старосты, только уж без иронии...

Ага, статистика. Земельный вопрос. Ликвидация общины. Переселение крестьян на российские окраины, и прежде всего в Сибирь. Рост производительных сил. Вот это как раз и рассмотрим, думал Афанасий, это как раз нам в данный момент и надо. Три миллиона крестьян переселилось в Сибирь за восемь лет. Славно, славно. В Томской губернии количество сел удвоилось, а в Амурской даже утроилось. Переселенцы ввели в оборот тридцать миллионов десятин незанятой, пустовавшей земли. Вывоз хлеба из Западной Сибири на продажу в центральные российские губернии вырос вчетверо. Этого, как ни удивительно, вдруг испугался не американский фермер, теряющий хлебный рынок в России, а нижегородский губернатор Хвостов.

«Выход сибирского хлеба будет иметь своим последствием неминуемое разорение сельского хозяйства средних и южных губерний и всего Поволжья», — говорил губернатор.

Это почему же? — сейчас спрашивал Афанасий сам себя. Да, оказывается, потому, что сибирский хлеб получался дешевым — конкуренция, значит, тамошним помещикам. Опасный конкурент.

Эге, интересно, а советская власть будет допускать эту самую конкуренцию или нет?

Ну, сейчас-то рассуждать про это рано, а вот после-то, после... Скажем, два кирпичных завода друг перед дружкой. Или две кожевенные фабрики... Понятно, собственность государственная и никаких конкуренций. Здоровое социалистическое соревнование: кто лучше? А кто хуже? Ну, кто хуже, тот и хуже. Однако... Хуже при здоровом социализме, при рабочем самосознании... — того не должно быть. Не должно, и все тут.

Все «лучшее» — и ничего «худшего». А все-таки? Что «все-таки»? Ясно же — ничего «худшего»...

При изживании государства изживает себя и государственная собственность, естественно, а на смену приходит... Что? Опять же частное лицо, частный предприниматель. То есть накопитель капитала, капиталист... От чего уехали, к тому и приехали. Бр-р!

Вот тут как раз про «развитие товарного маслоделия». Как раз наш сегодняшний вопрос. В тринадцатом году Сибирь давала девять десятых всего масла, вывозимого Россией за границу! Сибирь по этому продукту на мировом рынке занимала первый рубеж, вытеснив с ведущего места Данию. И сама Дания стала покупать сибирское масло. Кроме того, оно шло напрямик в Англию, Францию, Голландию. А вот хитрецы... Дания и Голландия сдабривали свое масло сибирским маслом и в таком виде вывозили продавать на рынок в Германию, в Грецию, будто исключительно

собственное. Ох, хитрецы, плуты. Сибирское масло такой, значит, духовитости, такого вкуса... Отчего? Травы, значит, такие, луга просторные, реки, водопои светлые. А вот и признание самого Петра Аркадьевича Столыпина: «Сибирское маслоделение дает золота вдвое больше, чем вся сибирская золотопромышленность».

Но не об этом, не об этом главная мысль Афанасия. И опять же об этом. Производительные силы и прочее. Без существования так называемого «Союза сибирских маслодельных артелей» оказалось ли бы сибирское масло так далеко за пределами российскими? А без объединения двух типов кооперации — производственной и потребительской? Потребительские лавки, продавая товары под сданное молоко, имели гарантированный кредит, чего не мог иметь частный торговец.

Эге, начинать, значит, надо не с крестьянского двора, не с понукания мужика, а с этой самой потребительской лавки, с того, чтобы дать этой лавке товары. А товары эти где? А сама лавка в селе сохранилась ли? Разбили ее или сожгли.

Вот куда вопрос выходит. При ненавистном царе по Сибири было почти семьсот потребительских обществ и плюс к тому же тысяча с лишним кредитных коопераций. И все они, все были завязаны в один взаимопроницающий, взаимовыгодный узел. И, забирая себе власть, Советы пообрывали нити из этого узла. Пооборвали второпях и теперь вот находят этому свое объяснение: дескать, в этих обществах состоял лишь один кулачский класс.

Не жалея керосина в лампе, Афанасий просиживал над такой статистикой не одну ночь до света, разбирал и думал, что тут и к чему. Что-то радовало его, а что-то и на горючую грусть наводило. Радовало, что до 1913 года по лошадям, то есть по их числу, Сибирь обошла все, буквально все хваленые страны, в том составе и Канаду, и Австралию, где, как известно, коневодство в особой чести.

Чего бы, казалось, ему, Афанасию, еще в юности сменившему отцовского пегашку на железного воронка, на паровоз, радоваться росту лошадиного поголовья в Сибири, а вот поди ж, в крови, значит, осталась крестьянская закваска. Он знал всех мужиков в своей деревне, которые держали на своих подворьях по пять и более лошадей, и таких мужиков было немало. Статистика за десятый — тринадцатый годы, которую он сейчас просматривал, так и свидетельствовала: половина крестьян волостей, прилегающих к Сибирской железной дороге, имела по пять и более лошадей.

Афанасий опять же не мог предвидеть — может, опять в силу того, что был сыном старосты, — предвидеть, что скоро поступит из Москвы циркуляр: ехать по деревням и оказать революционную помощь беднейшему крестьянству в низвержении кулаков. А кулаком будет принято считать каждого, у кого во дворе три лошади. Таким образом, под разорение будут подпадать шесть-семь мужиков из каждого десятка. В разряде кулаком окажутся многие тысячи лучших пахарей... Бесправные, обиженные, оскорбленные, лишенные имущества, они в лучшем случае окажутся



в городе и придут к нему, Афанасию, в надежде на выживание. Готов ли он будет принять их и понять?

Накатывались вполне понятные мятежи тех, кто утерял свою платформу, кто оказался в положении потесненном, а то и вовсе вытесненном, накатывались мятежи с разных мест, охватно, как ответ на жестокости крепнущей диктатуры.

### Пролетарии, страдальцы — соединяйтесь!

Алешка на сына глядел. Парень вытянулся, станом в мать, гибкий, и лицо тоже больше материно, но беда — оспой исковыряно, оттого-то, должно, стеснительность в нем, робость какая-то. Понимал Алешка, что парень не девчонка, лицо ему ни к чему, были бы руки да голова, и робость с годами изойдет, как пушок желтый на утенке исходит. Но душа отцовская все поджималась от горькой жалости, когда он глядел на изрыхленные, будто обрызганные свекольным соком щеки сына. Все хотел спросить, когда это его так изъела проклятая оспенная болезнь, при матери или уж без нее, но как-то не решался, чтобы не разбередить, не поломать чего в неокрепшем сердчишке парня. «Вырос-то сиротой... — думал Алешка, перемогая сухость в горле. — Однако чего ж, уж как вышло, так и вышло...»

Шпатель держал парень в руке цепко, расчетливо, как бы давно был обучен такому делу, и перебегал от бочки к бочке не суетно, не вьюнком, а сосредоточенно. При этом бровь гнул вверх, и даже обозленный азарт в выражении лица появлялся. Этому-то Алешка как раз очень рад был, то есть тому, что обозленность к работе у парня видел; помнил поговорку: «Работа, как и баба, злость в мужике любит».

Но кончал парень дело, робким опять становился, стесненным, девчонка какая рядом проходила, он и вовсе терялся, краской вспыхивал. Какая жизнь ждет его?

Глядя так на сына, Алешка не мог предположить, что новое время вынесет парня на большую высоту, несвойственную их родове, важным инженером он станет, но совсем на малый срок, как бы только для того, чтобы блеснуть в высоте, подобно солнечному лучику на зимней, в иней одетой пихтовой макушке; блеснуть, показать городу, на что они, Зыбрины, способны среди людей. Устинка круто шагнет вверх, но шаг его будет очень короток.

Не мог предположить отец, что где-то на западном краю земли в свой коричневый день созреет страшная война и завлечет сына туда, в пучину, затаянет, унесет, лишь в памяти у людей Устин останется жить долго — как лучший в городе инженер, бесстрашный фронтовой солдат и как добрый человек.

Время, время... Оно куда-то стронулось, народ перепутался сам в себе, бабы и девки языкастыми стали, всякие стыдные слова мелют; отчего это, что тут и к чему, Алешка не очень понимал, не научен был понимать, а может, голова его была так устроена, что не давалось понима-

ние. Заводские бабы, дуры, стоявшие тоже на пропарке и мытье бочек, ждали, когда им позволят вовсе не рожать и когда их во всем приравняют к мужикам, чтобы беспрепятственно злоязычить и уж ходить без юбки. Ну-у, времечко! Пока он был на каторге, люди глупели. Что-то дальше станет с народом?..

Алешка сидел дома и при чадящем шатком свете жировика перекраивал суконный чапан, подаренный шуряком Калистратом на Амуре. Как раз в такую пору явилась комиссия: парень в тужурке на овчинном подкладе и с ним девица в кубаночке — чистая синица-пухлячок, вертучая и подпрыгивающая. Про нее Алешка подумал, что она тоже, должно, ждет приравнения к мужикам, чтобы юбку скинуть. К этому в городе идет. Пришедшие назвали комиссией по учету недвижимости. Парень спросил фамилию, синица раскрыла книгу и записала. Но, перевернув ту же книгу назад, она что-то сказала парню, тот уличающее всмотрелся в Алешку, а девица объявила, что в книге значится какая-то там другая запись, и стали они наперебой говорить в том смысле, что он, Алешка, живет не в своем доме, а в чужом.

— Вот записано, — клевала носиком-шильцем синица. — Совсем другая фамилия. Совсем другой у дома хозяин.

Алешка стал нервничать.

— Какая такая фамилия? Какой такой еще хозяин? — спрашивал он, щелкая ножницами. — В чьем же доме могу я еще жить-то? Вы что! Да разве я, это самое...

Девица, должно, не слышала его, занятая собой, все прыгала перед столом и поправляла кубаночку, поглядывала на свою густую тень на стене, служившей ей зеркалом, а парень, сидя на табурете и расстегнувши тужурку, глядел на Алешку с явной хамоватостью.

— Недвижимость в таком следствии... — пояснял он натянутым чужим голосом. — В таком следствии недвижимость поступает на баланс городского Совета. Если по революционным причинам нет права вернуть ее истинному владельцу, то есть недвижимости самому...

Потом комиссия ушла, пообещав на завтра вернуться для выяснений. Всю ночь Алешке в голову всверливался вопрос: «Как так — не его дом? Как так?..» И от такой обиды, от чудовищной этой несправедливости не было сна. Всю ночь ему чудилось, что кто-то ходит с улицы под стенами, даже шоркает ногами по завалинке, он поднимался с кровати, подходил тихо к окну, вглядывался, касаясь лбом холодного стекла, и видел в мутной серой темени лишь шаткие голые кусты в овраге. Дети за спиной спали, у девочек дыхание едва уловимое, а у Устинки почему-то перебивчатое, как бы он во сне за кем гнался, что-то преодолевал, перемогал.

Комиссия на другой день не наведальась, не пришла она и на третий день, и на четвертый. И Алешка мало-помалу стал успокаиваться, однако не думать про эту душающую несправедливость уже не мог. Как это: дом не его? Как это? Еще по осени раздобыл он у китайца Фай-Зу, торгующего теперь уж не в лавке, а дома — лавку у него на базарной площади деповские разбили, — добыл краски и выкрасил торцы бревен, чтобы

мокрота не разъедала, и тогда же под карнизами навесил новые корытца, тоже покрасив их, и еще над крыльцом наладил крышу с тремя коньками. И вышло как ни у кого. Соседи завидовали.

Алешка разговаривал в воротах с Вербуком. Бывший полицейский жаловался на хвори свои, один его глаз был вовсе наглухо зятанут оплывшим пунцовым веком, другой глаз слезился, середка зрачка как бы раскололась.

В глубине улицы появились сани с плетеным коробком, они свернули на мосток. Алешка сильно заволновался, когда увидел в санях парня в кожаной тужурке и пигалицу в кубанке.

— Будем производить выселение согласно революционному положению, — сказал парень, глянув мимо Алешки.

— Чего? — спросил Алешка.

— В соответствии... недвижимость поступает на баланс городского Совета. Вас предупреждали... — пояснил парень, шагнув во двор. — Требуется сделать полную опись. Пойдемте, будем делать опись. Позовите соседей.

— Чего? — еще спросил Алешка и побежал в сени, откуда вылетел с топором в правой руке, а левую руку он держал поднятой над плечом, тряс кулаком, словно гирей.

Парень из комиссии, так негостеприимно встреченный, метнулся назад, к саням, где оставалась сидеть пигалица в кубанке.

— Алексеич, не дури, оставь, — Вербук заслонил широким торсом ворота. — Оставь, ну, не дури, Алексеич, ну. Засудят. Под расстрел набиваешься...

Бежавший Алешка смог остановиться, лишь когда сани с коробом, взвихрив коваными полозьями снег на повороте, пропали за усадьбами. Вербук кивал рассеянно чему-то тайному своему и, вытирая мокроту с глаза, сипел:

— Напрасно так, Алексеич. Напрасно. Утрясем, уладим. Чего ты кипяток из себя делаешь? Зашел бы как-нибудь.

Наступил Агеев день, когда мужики на рассвете определяют качество предстоящего лета: снег к изгородям на Агея привалит вплотную — голодной поры жди, коль промежек останется — к урожаю. Алешка не пошел глядеть, с недомоганием в животе пролежал в кровати. А под вечер отправился к Вербуку. И тут увидел неожиданное. Проходя широким двором, Алешка огляделся. Валялись чурки дров, перевернутые разбитые сани, дорожка к колодцу не расчищена, колодезный сруб тонул в затвердевшем сугробе, на проволоке, протянутой через двор, висел обрывок закуржавелой цепи, а собаки уже не было и в помине. «Э-э...» — подумал Алешка, обнаружив такое запустение.

Во флигеле Вербук предложил Алешке раздеться, сесть к столу, сам же прошел к шкафу, достал синеватую с коротким горлышком бутылку.

— Хочу вот, понимаешь, угостить тебя. Редкая вот штука. По случаю дня ангела племянника... — хозяин поворотил лицо к человеку с короткой трубкой в зубах, полулежавшему в низком кресле. На человеке



были подтяжки, он не поглядел на вошедших, а глядел перед собой в пустую стену.

Алешка узнал Тупальского, служившего когда-то в чине унтер-офицера вахтовым караульным при остроге. Прозвище у него было Ноздрюк.

Вот ведь встреча! Здесь же был и тот паршивец, за которым Алешка гнался и которого зарубил бы, если б тогда догнал. Этот улыбался миролюбиво. Однако Алешка почему-то не шибко удивился, он был в том приглушенном настроении, когда ни голова, ни сердце не способны на обостренное восприятие, а принимают все в том виде, в каком оно есть. Это как степная речушка: щепку в нее кинешь с берега, травинку ли, окурочек, она все тихо, без взбурываний, уносит по верху.

Он выпил налитые ему полстакана, удержал во рту последний глоток. Похоже, как бы осиновою кору перемешали с каким-то фруктом.

— Утощайся. — Хозяин налил еще. — Серчать нам чего? Жизнь, она у всех с одним клином... А дружок твой, этот Афанасий, у тебя бывает ли? Ох, беды он тебе наделал тогда. Остерегись, как бы снова не наделал...

Алешка молчал. И Вербук, видя его нерасположенность, заговорил о другом:

— Одни победили, другие не победили... Однако время всех мирит и всякий камень в муку мелет. Перед богом все мы в один грешный рядок встаем. Всякая суета — от лешего. Те, говорю, кто победил, и те, кого победили, — к одному ведь концу, перед богом... А насчет дома твоего... уладится. Недоразумение получилось. Вот и молодой человек говорит: ошибка вышла. Не серчай на него.

Кудрявый в подтверждение качнул головой, губы его дружески, примиряюще улыбнулись.

Алешка понимал, что надо бы оттаять, обрадоваться, но душа оставалась замороженной, оскорбленной, он попросил налить ему в стакан еще.

— Друг за друга нам надо... Держаться бы нам друг за друга. Всякий раздор — для глупцов. Они пусть бесятся, — говорил Вербук с искренней стариковской заботой и добротой. — Перед богом встанем, перед судом его...

Да, Алешка чутьем улавливал, что старик говорит искренне, с заботой, и потому надо бы оттаять.

— А послушай, Зыбрин, — заговорил Тупальский, повернув глаза на Алешку. — Победители мы с тобой иль побежденные... Моего сентиментального дядюшку можешь на этот счет не принимать во внимание. Перед богом ли мы встанем, перед чертом ли — это не мужской разговор. Мы друг друга знаем. Оба мы с тобой горькие страдальцы. Оба нуждаемся в социальном порядке, чтобы наладить себе наконец-то человеческую, а не скотскую жизнь. Верно я говорю?

Алешка на этот раз задержал во рту не последний глоток вина, а первый, и, должно, оттого на языке ощущение осиновою коры проявилось

острее, такой вкус бывает, подумал он, даже не у коры, а у подкорной желтоватой заболони, когда она разжижается весной.

— Победители иль побежденные — об этом ли разговор? Важно другое. То, что... теперь нам с тобой и вот этому молодому человеку, товарищу Колюжному, надлежит послужить Советам — вот что важно. — Тупальский, привстав, чокнулся с кудрявым, и оба они выпили. — Старым порядкам крест. Моему милому дядюшке и твоему старому другу, компаньону по лавочной торговле, тоже крест. Святая старина прошла, с этим будем считаться. А дядюшка мой не хочет видеть ход истории. Надо принимать то, что есть. Как считаешь? Пролетарии, страдальцы всех стран... Как там? Соединяйся!

— Соединяйся! — согласно крикнул Колюжный. Во флигеле стало шумно и весело. И Алешке сделалось весело.

### Земля исцеляет

Слободки в прежнем виде давно не было, а был сплошной теперь уж город с его неудержимым разбегом и с его непонятными законами. И улица, что когда-то началась с Алешкиной пластовушки, с его двора, охватившего часть лога с черемухами и пихтовым лесом, теперь тянулась до самых березняков, что за третьим оврагом.

А пихты... пихтовая рощица — где она? От пихтовой рощи, которая была радостью для утомленного глаза и в которой когда-то зимовали снегири-огневки, остались лишь два крайних дерева с нездорово искривленными, надсеченными, обмятыми вершинками да пеньки.

«Кому же ты, родимая, помешала?» — вопрошал Алешка, обходя пустую гривку. Приглядевшись к кольцевым разводам на пнях, определил он, что свалена рощица была не живой, а уж иссохшей — середка у пней прелая и выбиралась щепотью, словно куделя.

«Отчего же ты, родимая, посохла? Что тебя тут без меня не устроило?» — спрашивал Алешка.

И хотелось ему поверить, что это от тоски по хозяину, по нему то есть. Бывало, утро начинал он с того, что стоял в пихтачах, мягко, приглушенно гудевших, процеживающих через свой вершинный лапник верхние потоки воздуха, и вечером, уж во мраке, опять стоял в них же, набирая себе в душу сладкого умиротворения и любви.

Из прежних соседей остались только Тихоновские. Сам старик Тихоновский сделался вовсе робким, глядит не на людей, а все вскользь и при этом выщипывает пальцами левую бровь, которая у него торчком, похожая на лоскуток серой жесткой холстинки.

— Зятя-то мой уж вон где... вон, — махал он рукой куда-то в непостижимую даль.

Да, Цу-Синь и Фу-Синь, то есть оба Сени, были с женами где-то за Байкалом, уехали они туда еще в четырнадцатом году. Их двор занимали цыгане, которые табором гомонились там буйно и бессонно и которых улица терпела так, как здоровое тело принуждено терпеть, когда приключится чирей или какая чесотка.



— От китайцев-то, от Сеней, добро люди видели. Трудяги были они, Сени-то. А от этих толку, что от шмеля меду. Один страх, — говорили слобожане.

В доме покойного Пыхова жил теперь башкир по имени Гайса, переселенец с Урала, он купил дом у вдовы, которая уехала доживать свой несчастный век в Томск, к сестре.

— С базаром стало худо, — жаловались соседи. — Народ на базаре кишит кишмя, а купить ничего не купишь. Ранешнее-то вспомнешь: и мука тебе, и сало, и рыба всякая. И масло, бывало, в кадушках да в тучесах... Зазывали через всю площадь: кому того, кому этого! А теперь и ни того, и ни этого.

Алешка ходил встречать деревенских мужиков аж к обскому взвозу, выкарауливал, и удавалось ему на дороге сторговать то куль просяной муки, то гороху сколько-то.

По городу шли слухи про то, что Советы весной будут делить землю казачьего войска, а также и земли паровой компании, что по Камышанке и Чику, и еще по левому обскому берегу.

Об этом пробовал Алешка заговорить с соседями, одни испуганно пятились, другие говорили:

— Ну-к, сызнова власть переменяется... Ну-к, тогда что?..

К башкиру Гайсе Алешка испытывал расположение.

— Нам с тобой могут выделить ту землю, если попросим, — беседовал с ним Алешка.

— Такая... дела... — трудно выдавливал Гайса.

— Ты-то сам как на эт счет? Земля ведь. Казачьи да паровозничковы наделы. При земле — хозяин, не всякий ветер сдует. Была земля казачья да паровозничкова, а теперь может быть наша с тобой. Сам-то как смотришь, говорю? — Алешке льстила преданность башкира.

Столько лет Алешка не видел к себе доверия и людской доброты! А Гайса как раз доверял ему.

Недостатком Гайсы было то, что был ленив, любил поспать и выпить. Кормил он свою семью тем, что развозил по городу в бочке барду с завода. Умная лошадь шла улицами, мимо дворов, неуправляемая, а сам Гайса рядом с бочкой лежал на сенной подстилке, разбросив ноги, при этом он пускал такие угрожающе-упругие храпы, что собачонки, выметнувшиеся из подворотен, чтобы облаять проезжего, в нерешительности останавливались, топорща шерсть.

Гайса, бедняга, совсем был не способен к тому, чтобы вычислить, какой черпак, при каком состоянии духа и тела ему следует принять у своего дружка, винодельного мастера, а черпаки там, в сырой полутьме, висели разных объемов — от рюмочного до чуть ли не полуведерного.

Не было бы, может, у Алешки такой заботы о земле, если бы не следующее событие на бражном заводе.

Явился Афанасий проводить эту самую национализацию (раньше и слова-то такого не было), явился, чтобы в соответствии с установкой дело обстрипывать, а заводской-то комитет уж свое успел обдумать, рас-

плановать. И, по мнению Алешки, комитет очень даже здраво рассудил. Ну, чтобы сами себе хозяева рабочие были. Что наработали — продали, денежки в кучу, потом по выработке, по тому, кто как старался, и поделить каждому. Хороший порядок. Справедливее уж и некуда.

Но Афанасий свое: нет, говорит, этак не пойдет, это, говорит, мелкобуржуазные штучки. Рабочие — в шум, митинг уж пошел. Никакой национализации, давай социализацию. Ну, одинаково — одна ли «зация», другая ли «зация». Все хотят твердого порядка: чтобы по справедливости работа и по справедливости получка.

Афанасий не таков, чтобы в спорах уступать. Он еще настырнее стал, чем в молодости, хотя и иссох, в чем душа держится. На другой день объявили новый митинг, Афанасий продолжал гнуть свою сторону:

— Национализация — это когда от всех предприятий, со всех городов наработанные деньги будут идти в одну кассу на всю страну. А вы чего хотите? Понятно, вы хотите, чтобы свое в общую кассу не отдавать, а самим промеж себя делить. Этого хотите?

— Ну да, этого! — кричали вокруг. — Этого хотим!

— А это знаете, как называется? Это есть эгоизм мелкобуржуазный. А еще точнее — анархо-синдикализм. Поднимите руку, кто за анархо-синдикализм?

Активность митинга упала, рабочие заоглядывались.

Несколько сбавили напор и комитетчики, видно было, что и для них это двойное слово, сказанное Афанасием, было в диковинку, рты пораскрывали.

Тут-то Афанасий, бестия, и прихлопнул козырной картой. Рассказал он, что такое дело на Черемховских копиях рабочие уж пробовали, самоуправление вводили, хотели сами уголь добывать, сами им торговать и сами же выручку делить, себя всем обеспечивать, а кончилось тем, что выехал туда трибунал во всем составе и выявил сто саботажников, сразу сто, а с саботажниками разговор краток — к стенке...

«Хотите, чтобы и у вас выявили?» — поинтересовался Афанасий, победно сощурившись.

Бабы, у которых мужья при заводе были, конечно, сразу же в рев ударились, заголосили, почували беду.

Словом, эта самая национализация свершилась.

И у Алешки сразу стало такое чувство, будто перед ним окошко закрыли, будто он в той же неволе, где был, только теперь уж без срока, без конца быть. Это же настроение овладело и другими. С этого момента возрос у рабочих интерес к земле, чаще они стали про землю говорить и собирались на отход в деревню.

После масленицы Алешка наготовил котомку и по ослабленной метели, с утра, еще соборная колокольня не звонила, вышел на дорогу за городом. Пешком он шел до Камышанки, а там случилась попутная подвода, возвращались мужики со станции, с ними Алешка и доехал. Заодно выспрашивал про землю, верны ли те слухи, что до города доходят. Мужики сказали, что слышать они про такое слышали, но кто знает, то ли правда,

то ли вранье, слух-то — он все равно что весенняя гагара: прокричала — и нет ее, на какое болото села гнездо вить — ищи.

Был Алешка в том отходе долго. Дети оставались в доме одни. К слову сказать, они, привыкшие к беспризорности, были с отцом не дружны и, получив вовсе полную свободу, конечно, могли скорее желать, чтобы эта свобода как можно дольше продлилась. И если бы не старуха Тихоновского, которой Алешка наказал приглядывать за домом, вернее, если бы не ее каждодневные напоминания: «А что отец-то ваш, все еще гуляет?» — они бы и не заметили, что он отсутствовал так долго, две или три недели.

И вернулся не пешком, как уходил, а в санях. С ним, возле его боку, сидела женщина в шерстяной, длинного ворсу шали с кручеными кистями, она была обложена мягким сеном, белые катанки торчали наружу.

Алешка подпятил сани к самому крыльцу, кинул варежки на снег, по-молодому стал насвистывать мотивчик, распрягая лошадь.

— Дети, это вам мать, — объявил Алешка голоколенным дочерям Евгении и Ксюте, выставившимся в двери. Девочки толкали друг друга — не могли поделить тулупчика, которым обе укрывались внаброс.

Потом Алешка ухватил женщину сзади за бока, приподнял и перенес так от саней к крыльцу. А в доме она, размотав шаль, потеряла щеки и стеснительно отступила в куть; голяшки белых катанок на ней были надрезаны сверху и завернуты, иначе бы не налезли на ее толстые икры. Женщина очень напоминала одну из тех сереньких, с мохнатыми лапками, куропаток, какие в морозные вечера перед сумерками стайкой прилетают с заснеженных полей на свалку в овраге за хлевом.

Тут же, почти следом, тенью вшмыгнула в дверь Тихоновская, поняв происшедшее, сказала язвительно:

— Чего же? Отбыл, значит, пеша, а возвратился и с лошадей, и с невестой. — Старуха ткнула костистым пальцем Алешку в бороду.

— А эт уж как кто сумеет, — зареготал Алешка, разинув широко рот, сдернул с себя шапку и потряс кудлатой головой.

Тихоновская, глядя на него, могла убедиться, что сосед еще не был стар, не был, и не зря она метила пристроить за него, работающего вдовца, одну из своих последних дочерей-вековушек.

— Сосватал вот... — хвалился и куражился Алешка перед озадаченной старухой. — А чего ж? Домну Семеновну вот, ягодку, сосватал. И никто не указ.

А на этой же неделе он в легком кармазиновом зипунке, с расчесанной на две стороны бородой, распускал пар от себя в морозный воздух, ходил по двору, по стайкам, стаскивал в одну кучу, к дому, доски, а потом, влезши на заледенелую завалинку, примерял их к окнам крест-накрест.

— Ты что это такое надумал? — прибежал запыханно Гайса.

— А то и надумал, — отвечал Алешка, явно радуясь своей сбереженной силушке. Подземная каторга прошла, а силушка в жилах, знать, при нем осталась. Осталась! Как река в запруде: измельчает, осокой болотной порастет, а потом, когда запруды уберут, она и взыграет, загудит!

Тут же побито топтался по снегу Гайса. Поняв намерение своего друга, он потерянно вздыхал и охал.

Волновало и возносило Алешку то, что задуманное получалось: да, земли по Камышанке и Чикю весной делить будут, это уж точно, факт выверенный. Да, ему, Алешке, там сельский Совет обещал нарезать клин в сколько-то десятин, это тоже точно.

Пришел и Вербук.

— Может, подумал бы. Может, тут лучше уладишься, — пробовал отговорить он.

— Я вот... Я, брат, нет — хватит! — крутил бородой Алешка. — Душа по свободной земле изныла. Хозяином хочу быть. Чтобы никто в затылок не смел тыкать. Сам по себе чтобы. Хозяин чтобы...

В полдень Гайса объезжал улицы, и был он совсем взрослым: полужелез в передке саней, рядом с бражкой своей бочкой, однако, когда лошадь вставала, он тут же встряхивался, поднимался, шарил рукой в ветошной куче. Так он подъехал ко двору соседа, извлек из ветоши пивной лагушок и, держа его перед животом, будто сытого поросенка, вошел в ворота. Шажки он делал короткие, с вывертом, а на угольно-черных его скулах была скорбь.

— Такая дела. Кунак Илешка ехать хочет. Гайса ехать не хочет. Гайса маленькая угощения кунаку Илешке делать хочет... — на ходу приговаривал башкир, поджимая к животу округлый лагушок с торчащей деревянной затычкой.

Алешка стоял во дворе и смеялся. Гайса с лагушком как раз кстати, смочить душу доброй жидкостью в этот день — кто же может быть против!

— Э-эй, давай! Э-эй, славно! — шумел он, вскидывая перед собой рукавицу и ловя ее в воздухе. Воздух светился хрустким, осыпающимся с кустов инеем.

### **Щедришь, земляца, на льны, на калачи да на блины!**

Вот и красной весной задышала вольная земля! Божьего простору-то сколько! Лощинами, из куста в куст, перебежали поднятые зайчишки — сколь их тут! Со спины уж серые, а с боков еще по-зимнему белые. Хоть туда, хоть сюда гляди: по всему надречью заплаты проталин курятся голубой марью. Из солнечной бездны льет свой колокольчатый звон жаворонок, невидимый, вовсе растворенный.

Землеустроитель был не местный, он доверил Алешке самому мерить, и Алешка вдруг обнаружил, что с саженью невозможно ходить шагом, а все внабежку, внабежку. Сажень в его отведенной на сторону руке крутилась с проворством, выходило, что она как бы сама собой и наперед, а ему, Алешке, иначе уж и нельзя, как только бежать за ней вприпрыжку, едва поспевая, заботясь лишь об одном — как бы удержать, как бы не выскользнул инструмент. «Вот ведь», — сам над собой усмехался Алешка.



А когда он остался один, то есть когда землемер и мужики ушли, он сел отдохнуть. Снял шапку и вытер мокро на затылке. Фу-уф. Потом с лопатой и топором прошел этак же по следу землемера, только не вперед, а назад, наклоняясь возле прутьяных тычков, натканных со стороны реки. В голове было волнение, он не в силах был сообразить, сейчас ли уж ему приняться менять эти прутьяные метки на столбцы или еще не сейчас, а после, когда земля пуще отойдет, напреет.

Земельный надел его радовал. Как же — его теперь собственный надел. К тому же по-над самой рекой.

Река за краснотальными кустами, за набухшей вербой гляделась разостланным холстяным полотном, она еще удерживала на себе ледовую санную дорогу, притрушенную клочками утерянного с возов сена. С добрым настроением вернулся Алешка с поля.

— Что там у тебя? — спросила Домна Семеновна, встретив мужа во дворе.

— Дак вот, — отвечал Алешка, — сызнова жизнь-то у нас при Советах начинается. Землица моя теперь у самой речки. Пахать и рыбку в вершу имать. Я уж вот и лозы для того нарубил, чтобы верши эти самые наладить... Да к тому же в Совете обещались отпустить окромя пшенички еще и две меры гречихи для посева. И со склада переселенческого управления обещались отписать еще и плуг с лобогрейкой, как пострадавшему на каторге. Считай, что мы уж богатеи!

— Ох, ты уж скорый какой, бога-атый, — стеснительно заволновалась Домна Семеновна.

— Дак чего ж не быть скорому, коль жизнь новая? И землемер про то говорит: получай, говорит, да радуйся. Ты вот насчет обеда... как, готов ли? Уж проголодался!

— Да уж давно щи наптели, как же. В печи вон напревшие стоят, тебя поджидаячи. Сейчас я, вот только руки сполосну... коровушке пойло давала да на теленочка глядела, подстилочку свежую налаживала.

Домна Семеновна была той самой многотерпеливой сибирской крестьянкой, которую бог создал для подворной работы и для угождения мужику. В девчонках она, однако, была задиристая, знал ее Алешка в ту пору: ох, даже чересчур задириста. Это она, сидя верхом на воротах, окрестила Алешку, однажды проезжавшего мимо в телеге, в ту пору уже женатого и бородатого, «кочерюгой».

— Эй, дядька-кочерюга!

— Эт я-то кочерюга? — удивился Алешка. — Да я вот сейчас тебя!..

Потом он, смеясь, спросил:

— А отчего ж тебе поп-батюшка такое имя старушечье дал — Домна?

— И вовсе не старушечье, — возражала девчонка. — Это счастливым имя такое дают. Богатой я буду. Дом-на. На дом...

«Дом на... До-омик», — поддался детской игре Алешка, отъезжая.

В мужья ей достался парень небогатый, но добрый. От него она осталась бездетной вдовой — мужика-то на германской войне убили.

Ничего, уж вовсе ничего не было в обличье и в характере Домны Семеновны от нее прежней, когда-то пташкой прыгавшей на воротах и стрекозой скакавшей по лужайке.

Не хотел Алешка замечать того, что ни старшая его дочь Евгения, ни сын Устинка не приняли мачеху. Только младшая Ксюта не натягивала нервно в капризе своего лица, когда та обращалась по обыкновению со смирением и мольбой, поджавши к подбородку наморщенные, с серой, как бы полотняной кожей руки: «Детушки, а подсобите мне воды в баню наносить. Баньку истопим». Или: «Детушки, за деревню, на бугры овцы ушли, подсобите мне их пригнать...»

Изба у Домны Семеновны западала на угол, и оттого истлевший на крыше камыш сполз, оголивши преющие ребра стропил. Алешка, въехав в дом жены в деревне Оскомкино, первым делом починил крышу, а потом принялся наводить порядок во всем остальном. Он разжигал в себе крестьянскую наследственную страсть и планировал, чего теперь дальше делать, каким способом при Советах-то выгоднее ему на новом месте расстраиваться и богатеть.

Обещанное Советом было исполнено. Прибежал парнишка-рассылный и сказал, что ему, каторжному дядьке, велено ехать до общего амбара и забирать отписанное семенное зерно. Амбар находился на краю деревни, на склоне холма. Забрать оттуда полагающееся зерно было делом не хлопотным. А несколькими днями позднее у ворот остановилась пара чалых лошадей, Алешка выглянул из пригона — ба-атюшки, лобогрейка. В волнении он и не разглядел, что за человек там, рядом с лошадьми, а когда разглядел... то узнал Тупальского. На Алешкино удивление тот, играя в руках ременной кучерской плеткой, отвечал:

— Принимай давай, принимай. Служим вот порядку. Распределяем.

Служил Тупальский, как оказалось, уже не в Новониколаевске, а в кольванской милиции.

— Из самых лучших тебе машина. Из американских, — пояснял он.

Штука эта — греза, страсть всякого мужика не только в Оскомкине, но и в любой другой деревне.

И вот подошел день, когда Алешка раскидывал по пашне из кузовка ярицу. Кузовок подвешен перед грудью на лямках, сын Устинка верхом тянул за ним деревянную борону. Березовый колок туманился младенческой зеленью, покрывавшей рыжину веток.

Помнил Алешка присловье: «Коли на Егория березовый лист с полушку, то после Успенья клади богатые хлебы в кадушку».

Хоть примета по листу не совпадала — день Егория Вешнего минул уж неделю как, а лист на березе по северному склону только теперь с полушку, — но другие-то приметы в руку: и то, что по всем ночам небо звездится, а днем напротив — низкая хмури, и в сумерках потеет росой травка на выгоне. И старухи в деревне ворожат на угольях и на золе — тоже к ядреным хлебам выходит.

Алешка принял у парня лошадь, отцепил борону, подобрал и увязал постромки, объехал по закрайкам все поле, еще раз, уже по сеянному и по боронованному, побросал горстью остаток зерна. Так полагается по нака-





зу стариков. Для птах это, для хомячков, чтобы не рыли пашню, а взяли бы сверху свое и урожаем славили.

Присловье на этот счет исстари составлено, Алешка повторял шепотом, будто молитву: «Пташка-золотушка, зверушка-норушка, возьми себе свое, оставь мне мое, божье богу, пахарево пахарю, склюйся крохами, народись ворохами, щедрись, земляца, на льны, на калачи да на блины...»

Испытывал Алешка сладкое томление при этих певучих словах, хотя смысл их уплывал куда-то на сторону, мимо сознания.

Внизу, за зеленой лентой кудрявых, тесно сплотившихся тальников, мерцала река, разлившаяся на широкие изогнутые рукава. В камыши шла рыба на икромет, оттого вода в прибрежье, в заливах, рябилась и булькала.

— А в городе-то, говорят, чех правит, — сказал оскомкинский мужик Лукоедов, проезжая по дороге мимо. — Назад будут землю брать будто.

— Чего? Э-эй! Как это... брать? — разом напрягся Алешка, задержав в горсти остатки зерен, какие наготовился было кинуть на увал. — Как это... «брать»?

— А так... говорят. Посеял, не посеял... назад брать. Давче колыванский лавочник ехал, встретил я его, так он это... Про все про это, значит...

Алешка знал Лукоедова как мужика нудливого, к тому же порченного ленью.

— Врет он, твой лавочник-то, шмурыжник этакий! — Алешка выкинул из горсти зерно, дернул повод, отчего лошадь под ним крутнулась, поосела, попятившись за борозду, на шиповниковый куст, набирающий кровавой цвет. — Непременно врёт! Закон теперь на нашей стороне. Знаешь?

— Оно так, — тянул Лукоедов, довольный уже тем, что кому-то жизнь может быть хуже, чем ему. — Закон-то... Дак ведь чех правит. Какой у него закон, леший его знает... Мужикику разе рассудить насчет законов-то?

— Врет чертов лавочник! И ты тоже. Проезжай, не морочь голову! — вспыхнул гневом Алешка.

А вокруг между тем ложилась сама благость, ниспосланная всевышним.

У опушки непрореженного осинового леска, в сумеречной мягкости, цвел кумачовым букетиком костерок. Это Устин, натаскав сухого чащовнику, готовил ужин. Небо над станом, над всей убаюканной, ухоженной землей очищалось от низких облаков, и уже оранжево-ало просвечивала по ту сторону осинового колка полнотелая луна. Там и там выступали из купольной высоты зеленые иглы звезд.

И Алешка, проследив взглядом за истаявшей на дороге телегой Лукоедова, старался освободиться от вошедшего в душу беспокойства, настраивал себя на восприятие вот этого всего земного мира, вот этого благолепия. Вон ведь как небесная высь широко искрится, не к беде это, к согласию, к урожаю!



— Сынок, — окликнул он.

Силуэт парня растекался в пятне костра.

— Сынок, — сказал еще Алешка, подъезжая через кусты. — Ты, коль домой хочешь, ступай. С парнями там это... на игрища сходишь. А я... я тут побуду. Ночую. Неохота что-то в деревню... — Алешка слез с лошади, переплел ей передние ноги жестким волосяным путом, намерился хлестнуть по крупу уздой, но не хлестнул, и лошадь, натянув шею, принялась чесать голову о белый стволник пригнутой к земле березы.

Устин все глядел в огонь. Угли постреливали дымными пульками, которые, отлетев, как бы увязали в загустевших сумерках. Лицо парня, багровясь, в перемежающихся отсветах казалось прозрачным.

— Нет, тять, не поеду. Неохота мне, — сказал он, сминая в пучок смородиновые ветки и толкая их в кипяток.

«Сам в себе парень растет, не артельный», — с жалостью подумал о сыне Алешка.

Да, да, дети выросли без опоры на отца. Сами по себе, как вон то изогнутое деревце. Где-то теперь Дашутка? Все ли там ладно у нее? У каждого линия своя. И не переиначишь. Жи-изнь, житуха. То в один бок согнет, то в обратную сторону.

Однажды Алешка видел: пустобрешная плешивая собачонка загнала бурундучишку на верх лесины, росшей над речкой, ветрище полоскал лесину и туда и сюда, гнул кронные сучья, а бурундучок коготками держался за вершинку, будто лоскуток полосатый, вниз головкой перевернулся, в струнку натянулся, ему ни в одну сторону прыгнуть невозможно — там вода бурливая, а с другого боку собачонка визгливая разбойной злостью исходит...

Так вот и человек на своей линии, на своей вершинке, гнет его заодно с вершинкой, полощет, а ему ни туда, ни сюда не спрыгнуть, не скакнуть, пока уж что само собой не выйдет...

### Барсуки. Человек из евреев

Далеко Оскомкино и от города с железной дорогой, и от Кольвани, и от других селений — тоже. Путь сюда не напрямик — кружно, мимо лесных моховых болотин. Да и кружно не после всякого дождя проедешь.

А слухам-то все это ничего, яроводье им не помеха, слухи сюда на сорочьих хвостах летят. Сорок тут уж шибко много. И ворон тоже.

Слухи дошли: чехи сюда идут. Скот режут, людей стреляют.

Однако оскомкинские мужики судили:

— Есть же в Рассее, слава богу, кому остановить иноземца. Не допустят, чтоб он по нашим дворам разоры делал. Их вон, раньше-то, сколь на Рассею приходило — и монгол, и швед, — всех турнули. Вилы в бок и топор на то.

И еще слухи были про то, что по всем сибирском городам власть старая ожила и не только не пошла на чеха, а как раз наоборот — на чеха оперлась. А это уж вовсе пакостно. Советчиков, конечно, станут ловить и побивать в кровь, а остальных мужиков... Что с остальными мужиками будет-то?



Теперь оскомкинцы, те, что по весне гурьбой, в томлении надежды, сопровождали костлявого землемера-бегуна и получили земельные прирезки на бывших пароходчиковых займищах, заходя друг к другу во дворы, уже не толковали, а только угрюмо встряхивали головами и чаще оглядывались. Дым самокруток втягивали в себя глубоко, чтобы до пачки табачная горечь доходила.

К Алешке в межулок мужики не заворачивали — каторжный. Судили: тебе, залетному, осевшему на вдовье хозяйство, окромя земли Советами дадена еще и жатная машина, да плуг к тому же, да еще и новенькие фабричные тележные колеса с того же переселенческого склада. Вон куда! За здорово живешь всё, будто с неба привалило.

Мстительно судили: принял больше, теперь и не скули, в отместку себе получай. А как же? Резонно!

Сторонились мужики, обходили Алешку. И бабы тоже перестали к Домне Семеновне по соль, по перец да по другой нужде забегать. Потому как кому охота в чужое горе окунаться, когда своего по уши?

Ясно было: ждать надо чего-то худшего.

Между тем лето подвигалось, скоро подвигалось к своей середке, к своей крыше.

Поопали цветы по холмам, не стало там голубых, оранжевых, фиолетовых пятен, еще вчера так согласно притягивавших к себе полчища насекомых. И букетики жарков на лесных опушках уже не горели, они оставались яркими только у болот, где меж зыбучими кочками выжималась прелая вода. Но зато повсеместно набухли шапки белоголовника, распустились высокие ясные ветреницы, желтые щетки крестовников, и, конечно, колокольца всех мастей и оттенков, если войти в траву, ласкались к ногам.

Об эту пору в Оскомкине объявился чудной человек и сказал старосте Изосиму Ажуеву, что закупает живых барсуков. Мужики насторожились вовсе. Что это за промысел? Они могли предложить живых собак (их вон сколь шалых бегают), овцу или, на худой конец, кошек, но барсуков-то живых...

Алешка, однако, пришел в схожую и сказал тому человеку: требуемый зверь у него в хлеву не водится, но, если уж так надо, если уж деньги за это будут положены хорошие, он готов на такое дело, готов изловить не только барсука, а и самого болотного лешего. Над ним посмеялись, и нужный договор был сделан.

На этом, однако, можно было бы и не останавливать внимания, если бы тут речь шла только о ловле барсуков и ни о чем, кроме того, и если бы возникшая тут тропка не повела в дальнейшем наш рассказ к новому смыслу, к важным поворотам, доказывающим опять же, что жизнью нашей правит случай, а не какая-то логика, придуманная скучными теоретиками.

И вот в один из дней Алешка в телеге катил малонаезженным проселком. С другого края телеги, спиной к нему, спустивши ноги, обутые в мягкие бродни с голенищами по-за колена, сидел мужичок с лицом, по-

хожим если не на ржавый обломок серпа, то на что-то такое же гнущее, с боков плоское, а спереди острое, в белой демикотоновой скуфейке; когда колеса на бегу оседали в колдобину или, наоборот, подпрыгивали на кочке, мужичок встряхивал локтями, натопыривал узкие плечи, отчего на его шее истертая, высушенная кожа собиралась в гармошку. Однако бодрился, смеялся и все выпытывал:

— А как насчет гульбы... гульливают ваши мужики-то?

— Да как гульливают, как без того, — отзывался Алешка.

— А баб-то своих поколачиваете крепко?

— Когда, бывает, и крепко, выпимши-то. А когда, бывает, так просто, попугнет кто. Бывают разные такие случаи.

Телега хоть и тряслась, прыгала, однако ход был мягкий, колеса Алешка перед дорогой новые надел, окованные, и у кузнеца побывал, чеки сменил. Лошадь трусила ровно, пружиня сухими мосластыми ногами. Обдавало вольным простором. Все это переплавлялось в Алешкино настроение, при котором хочется самому себе сунуть в бок тумака и прокричать на ветер: «Э-э!..» Так бы он и сделал, да вот рядом сидел чужой человек, и потому приходилось только отвечать на вопросы да подергивать вожжами. Алешка дотягивался и трогал ладонью иссиня-алые пуховки высокого, раздобревшего на теплой земле жабрея; он любил это колючее, с узкими бледными листьями, задиристое растение.

В телеге было четыре лопаты, две кирки, два топора, пучок тонких веревок, куски брезента, литовка, пара охапок свежекошенного у дороги в лоштинке пырея, а поверх всего этого ворох проволочных клетушек, связанных одна с другой.

Вот уж лошадь стала тише трусить, круп и бока ее по низу запотели.

— А много ли еще пути? — спросил человек таким бесцветным голосом, каким спрашивают, когда безделье и одинаковость затягиваются сверх меры.

Прищурившись от встречного ветра, Алешка отвечал:

— А вот как увалы пойдут... Как березняки начнут западать в лощины, так тут и начнем.

Алешка между тем определял, не пора ли свернуть в нетоптанные травы и поехать вдоль колков уж вовсе по целику. Если и дальше этой дороги держаться, знал он, то версты через три или четыре она раздвоится, один отворот, правый, поведет на Кольвань, а другой, левый, — на Сидоровку, Никольское, Кочетовку...

— Дождя будто не должно быть, — определил мужичок.

— Будто не должно. Облака жидкие, ежели не стуются. — Алешка потянул левую вожжу, лошадь пошла по целику, утонув сразу по оглобли в разнотравье.

Иные травы пышностью своей норовили удивить проезжих: голубой лотушок, желтые бородавники, золотарники, скерды, чернильно-фиолетовые осоты. Вынырнув сзади из-под телеги, татарники махали веселыми, озорными головками, довольные тем, что поиграли с лошадью, с людьми, спрыгнувшими с телеги на землю.



Балдушка-тылдушка только-только раскрыла розовые веки и глянула на божий свет. Она теперь, ведает Алешка, будет таращиться на небо аж до самых снегов. Никто не знает, отчего такое прозвище цветку: балдушка-тылдушка. Может, из-за того, что весь толстенький, доверчивый, бесхитростный, место его непременно на кочке, где и ветер гнет, и солнце печет. Так же до осенней студеной слякоти будут красить землю своим цветом короставник, сивец-синец, ветренцы-колокольцы...

Какая же это сила распорядилась, чтобы такую очередность травам устроить?!

Алешка шел, держась правой рукой за телегу, под которой пропали в многоцветном буйстве колеса, ступал отдохнувшими и вместе с тем замлевшими ногами, смотрел на празднично чистые березовые и осиновые колки.

В деревьях, в колках вот нету этой очередности, думал он. На деревьях почки по весне размыкаются разом, сережки и листья распускаются тоже разом, и по осени сырой ветродуй за одну неделю (а то и за одну ночь) с них сдирает разукрашенную одежду.

Сколько же тут еще простору для пашни! Богатеть бы тут мужикам, богатеть. Царевы, говорят, эти места были, кабинетовы. Ужель снова к царям отойдут? Если иноземец-то в помощь им.

Выметнулась из-под лошадиной морды буро-пестрая, величиной с шапку птица и, западая на один бок, стала подбито, подстреленно грести, трепать крылом по траве.

— Ишь ведь что, — посмеялся добродушно Стефан Исаевич (так звали мужичка). — Ишь ведь...

Тетерева, куропатки, перепелы обнаруживались у каждой опушки, у всякого куста. И всякий раз самочка пускалась на свою хитрость: била крылом, перевертывалась, култыхалась, как увечная, отводила людей от гнезда, от птенцов.

— А в Европах такой птицы, в таком-то виде, мало уже, — говорил Стефан Исаевич. — Приходилось мне по тем местам езживать. Перевелась там дичь. Так перевелась, что... Охотник день ходит, а пару куропаток подстрелит и считает, что повезло ему.

— Эт за день всего пару куропаток? — не верил Алешка. — Ну, в наших-то местах... Только наши мужики охотой не балуются.

— Это хорошо, что не балуются, — хвалил Стефан Исаевич. — Значит, и через сто лет будет цела тут птица. Много ее будет. Не как в Европах. Никуда не денется.

— А куда ж ей деться? — пуше удивлялся Алешка. — Цела будет. Из каждого гнезда их вон сколь вылупляется. А из каждого выводка на другой год уж пять, наверно, выводков будет. Иль больше. Перепела если взять. У него как гнездо — так полтора десятка яиц. Сколько ж это выводков будет? А куропатки еще гуще — у куропатки в гнезде аж до трех десятков яиц. Как семечков в подсолнухе... Из каждого семечка — подсолнух...

Фантазией Алешка нарисовал себе картину. Ему даже представилось, как едет его будущий внук кромкой этого вот луга, вожжами пома-

хивает, а от кустов, фырча крыльями, вспархивают стаи глупых тетеревов, рябков, куропаток...

Наивный, легковёрный Алешка не мог допустить в своих думах (а впрочем, кто же в ту пору мог?), что когда его внук поедет этими же опушками на вездеходном совхозном уазике, то уж не вспугнет ни одной птахи, ни одного зайца, никакой зверушки, хотя будет такая же середка лета и такие же легкие, до прозрачности распущенные облака в высоком небе, будет веять этот же с юга мягкий ветер...

Алешка не спрашивал, зачем в том самом Омске (Стефан Исаевич из Омска) понадобились живые барсуки, и даже стал делать вид, что, конечно же, знает, зачем их, барсуков, живьем имают, покашливал и покрякивал: знаем, дескать, чего молоть языком-то.

С холма цепкий его глаз наконец-то приметил внизу, по оврагу, свежие буренькие ворошки земли, а уж после того и тропу, набитую меж кустами шиповника, разбросанные ветки которого густо были усыпаны еще бледно-зелеными плодиками. Лошадь пошла присядкой, подбирая под брюхо задние ноги, а передние, наоборот, вытягивая. Телега накатывалась, и оттого хомут сдвигался на уши.

Вот первая ночь на барсучиной охоте. Над поляной объявилась крупная, какая-то вся растрепанная сова и, хупая тупыми неловкими крыльями, принялась кружить.

«Какую холеру ей надо?» — думал Алешка, лежа в налаженном шалашике.

«Вот беспутная башка, — подумал Алешка сам про себя. — Вот ведь... Что беспутная — так уж беспутная. Дома баба с ребятишками, хозяйство, а хозяин в шалашике тут прохлаждается, отлеживается...»

Алешка попробовал развить свою думку в этом направлении дальше: про свою жизнь. Отчего она у него несобранная, разные случаи вышибают его из наторенной колеи и куда-то гонят... Зачем? Почему? Для чего?

Но тут же выплыл задиристый, защитительный вопрос: как это — несобранная у него жизнь? Как это — из колеи его кто-то вышибает?

Никто его не вышибает. С городского производства, слава богу, удрал. Сам себе он теперь — вольная птица! Сам себе приказчик и урядник.

В это как раз время Алешка услышал верещанье. Так кричал изловленный в клетку барсук.

А живой трофеей разглядел Алешка уж поутру.

Светло-серый, короткохвостый, с тяжелым навислым задом зверь был как бы в черном фартучке, такие же темные лоскутки над глазами и за ушами. От своей неуклюжести, а больше от нервности, зверек все переворачивался, падал на бок, на спину. Клетку накрыли куском брезента.

Промысел растянулся на неделю. Улов получился достаточным.

На обратном пути, при въезде на холм у дорожного развилка, Алешка поворотился к Стефану Исаевичу, сидевшему с подобранными ногами скукоженно в задке телеги, и спросил то, чего не спросил, когда ехали сюда:

— А на кой ляд они кому, а? Не овечки же. Эти зверушки, шерсти с них не настрижешь.

— В штабе у чехов профессор есть, он просил меня. Изучает поведение сибирских животных.

— Дак они же, эти чехи, землю у крестьян отбирают назад! — вскричал Алешка. — Зачем им служишь? Ты плохой человек!

Стефан Исаевич, не переменив позы, отвечал:

— Я, Алексеевич, может, и плохой человек, ты прав. Но профессор хороший человек, это я твердо знаю. Он никогда у тебя землю не станет отбирать. Он как раз за то, чтобы земля принадлежала тем, кто способен ее обихаживать, больше никому другому.

Алешка, совсем не удовлетворенный ответом, глядел на Стефана Исаевича с раздражением и с подозрительностью.

— Интерес у профессора к нашей природе. А в природе зверушки всякие и птицы разные, вот эти... — продолжил Стефан Исаевич. — Разве можно ему в таком деле не помочь? А тебе, Алексей Алексеевич, признательный я, — отвечал Стефан Исаевич мягко. Левая щека у него напухла, нажженная гнусом, взялась шишками, даже струпьями, уж не была плоской, зато другая щека как бы вдавилась вовнутрь, отчего лицо его, хоть и вытянутое вперед, уж не походило на серп, а походило скорее на глиняную, крепко обожженную тарелку.

— Ты, Исаич, случаем, не из евреев будешь? — спросил Алешка.

— Из евреев. — Пегий, в клочках редкого волоса затылок Стефана Исаевича качнулся.

Алешка увел глаза вниз, долго глядел на колесо, которое то колеей шло, то выворачивалось на обочину и подминало жесткую придорожную полынку, охристо дымившуюся по ветру пересохшей пыльцой.

— А говорят... это... говорят, от евреев-то мужику разор. — Алешка слабо потянул вожжу влево.

— А это уж ты сам, Алексеевич, гляди, сам. — Верхняя губа Стефана Исаевича и выдающийся его нос будто сразу заржавели. — Сам гляди, как уж оно, так или этак.

Алешка распрощался с непонятным этим человеком на станции, уже ночью.

Кто бы знал, что пути их еще пересекутся, ох, пересекутся, да как — в самых трагических обстоятельствах!

## Кзаки

По вечерам, когда сплотнялись сумерки и с болот тянуло прелой сыростью, на деревню невидимо оседало густое комарье, а когда мрак совсем чернел, эта гнусная, уж совсем невидимая тварь из деревни всей гущей отваливала назад, опять туда же, к болотам, к озерам, к реке, — и уж тогда, при полной вязкой темноте, двory начинали перекликаться учащенным железным звоном. В кругу небойкого огня, где наскоро варился в чугуне ужин — супец с горстью муки и нащипанной в огороде зеленью, — на плоских наковаленках, а то и на обушке топора, воткнутого

в еловую чурку, мужики отбивали главный этой поры инструмент свой. А с притуманенным рассветом литовки уже вжикали, пели по лугам.

Так каждый год начинались в этом северном краю сенокосы.

Густо крапленная росой, отяжелевшая в соках луговая трава, подсе-ченнная бритвенно острой литовкой, оседала и ложилась покорно, с нее не успевало стряхнуться, стечь обильное росное мокро.

Солнце, всхлотившее из-за реки, наливало росы своими ранними кра-сками, валки вспыхивали искрами, косарь останавливался в восхищении. Да это ведь бусы просыпаны! Ходи, коса, пока роса! Ходи, литовка, пока рука ловка! Раннее сенцо — что парное винцо!

Впервые оскомкинцы косили весь этот приречный луг, тянувшийся на версты, для себя, а не для паровой компании. Дай бог здоровья новой власти! Бабы, завидев алую земляничку, не могли удержаться, чтобы не присесть и не пособирать ягоду в подол, на что мужики тут же шумели:

— Чего эт удумали? Мять покосы удумали. Так вашу перетак!

Стога колокольнями поднимались, от леса до леса рядами выстра-ивались. Солдаты на плацу будто. Про них ребятишки уж и загадки за-гадывали: «Стоит Егорий в подгорье, колом подпирается, кепушкой по-крывается — что это?» Стог!

Игрища по деревне давно угасли. Лишь редко где всплескивал не-терпеливый, короткий припевок.

Не утерпел Алешка с лобогрейкой. Выгнал машину со двора, впряг пару лошадей (другую-то кобылицу у соседа взял, у немого мужика по прозвищу Мамочка). Славно, славно! Устин правил, держа вожжи, а сам Алешка, сбиваясь с ноги, бежал следом и сталкивал назад с платформы пырейную кошенину вилами. Ему бы рядом с сыном сесть, приладиться, а он — нет, как бы чего не испортить, и все бежал и бежал в азарте.

Пот высолил ему брови и глаза, а он все припрыгивает и спотыкает-ся, бежит, устали, однако, не сознает и все покрикивает:

— А ну, сынок, пошел, пошел, пошел!..

Славно, славно! Вровень с колесом поспешал и сосед, он не мычал, а прямо-таки ревел, обнажая красные десны.

— Что, Мамочка, — как? Годится? Можно с такой штуковиной хозяйствовать? — хрипел от усталости и волнения Алешка, наконец-то остановившись.

Сосед оторопело еще мыкнул, не захлопывая рта, в котором что-то дергалось уродливо-коротенькое, младенчески розовое.

— То-то, брат! Мы с тобой!.. Э-эх, как!.. Заживе-ом! Жито этой штукой будем убирать. Богачами станем! — Алешка рукавом вытер со-леную мокроту с жестяных бровей, с бороды и сел на кошенину.

— Мм... — согласно отвечал Мамочка.

В такой-то день и объявились из-за осинового колка они, четко от-тенившись гнедыми фигурами на зеленой лесной полосе.

Алешка прищуренными до рези глазами следил, как одна из гнедых лошадей отделилась от других. Всадник, проехав краем леса, повернул к реке, а потом уж оттуда, из-под берега, стал приближаться к нему, Алешке.





Алешка следил, как и лошадь, и всадник окрашивались в черный цвет — сперва лошадь, вернее, сперва голова лошади, потом туловище человека, потом и голова его, плоско срезанная сверху, стала черной.

— Пше-ол! Э-эй!

— Чего? — не понял Алешка. Нутро его напряглось и осохло в то-скливом ожидании, он загородил собой лобогрейку, расставив руки в воздухе, а ноги так же расставив на земле.

— Пше-ол! Ну-у!.. — Казак нависал с высоты седла, но глядел не на Алешку, а на скошенный рядок подвяленного пырея. Брюхо у его лошади было мускулистым и поджарым до уродства, кровяные ссадины облеплены паутами.

— Чего? — еще спросил Алешка, оглядываясь.

— Бунт?.. Пше-ол!

Один по одному подъезжали от леса другие всадники. Странно, все они, как отъезжали от края леса, так из гнедых обращались в черных. С ними был и милиционер Тупальский.

Через час уже все было с Алешкой ясно. Запертому в затхлый общественный амбар, который стоял за площадью, огороженный плетнем и жердинами, ему вырешили сразу пять наказаний. Первое: за земельный надел. Второе: за лобогрейку. Третье: за сбрую. И так далее. Веселый есаул пальцы на руке зажимал, когда приговор делал.

Он, есаул, щеголь и крикун, ярился больше из охоты выказать себя перед народом. Алешку про советчиков спрашивал, где они, куда попрятались, а он, Алешка, и сам забыл про них, когда их видел, советчиков-то. И правду сказать, не испытывал он особой охоты их видеть. Получил сполна положенное — чего же еще от них надо? Зачем ему они?

— Врешь! — терял веселость есаул. — Ты у меня вот позапираешься, каторжная сволочь! Дух вышибу!..

Той ночью, лежа без сна на охапке старой ячменной соломы, Алешка слушал, как кто-то вкрадчиво ходил за стеной амбара. Шаги пропадали, как только начинала лаять в ближнем дворе собака. Это мог быть Устин, могла быть и Евгения. Очень не хотелось Алешке, чтобы это были они. Он подсунулся к тому месту, где с вечера был просвет. Вдавился лбом между бревнами, прохлада передалась коже и глазам. Мрак по ту сторону был таким же густым, плотным, вязким, затхлым, как и в амбаре. Даже не угадывалось небо.

— Сынок, а сынок, — полушепотом позвал Алешка.

Лишь тявкнула все та же собака, да ещедохнул застоявшийся в молчании лес.

— Дочка, а дочка, — на всякий случай еще позвал Алешка. И опять приложил к бревну ухо. Никого.

Когда же еще услышал шорохи, то с разочарованием понял, что нет, вовсе не ребятишки это, а зверь пришел из леса. Росомаха пришла из своих чащ.

Перед утром переулком, со стороны реки, протопали лошадиные копыта. Дорога на удары копыт отдавалась звуком резким, укороченным,

что значило: копыта кованые, лошади не местные. Алешка выжидательно напрягся.

Но тишина сомкнулась, как только топот истаял, лишь недружный лай собак долетал еще некоторое время.

Алешка поддался липкой, обволакивающей усталости, задремал. Пробудился от скрипа ключа в проржавевшем замке.

В дверном проеме, на алом пятне раннего солнца, стоял Тупальский. Алешка из своего угла глядел и видел, что тот, должно, еще не притерпелся к амбарному полумраку и потому щурился, мигал, прикладывая ладонь к бровям.

— Ну... что? — спросил он наконец-то, хотя, должно, еще не разглядел его, Алешку, в соломе. — Что, Зыбрин? Да-а... Правду говорят, утро вечера мудренее. Ситуации меняются...

Алешка ничего не отвечал, а Тупальский говорил в том же рассудительном тоне:

— Меняются, говорю, ситуации. А только вот порядок должен быть всегда, при всех ситуациях. Без нужного порядка — блеф. Наше дело — служить при любой власти. Оказывать поощрение Зыбрину? Будем это делать. Наказывать Зыбрина — будем и это делать. Важно — держать порядок. Теперь же скажу... Повезло тебе, Зыбрин, думаю. Везучий ты...

Алешка сделал движение, чтобы встать, разгреб правой рукой сбоку себя солому.

— Знаешь, кто прибыл в наши места? То-то. Не знаешь и не догадываешься, — Тупальский говорил доверительно. — Пять наказаний тебе положил есаул. А тут... Везучий ты, Зыбрин. Прибыл твой радетель. Твой покровитель... Коменданта на шахтах помнишь? С отрядом идет... И вот, изволь... Про господина коменданта говорю, про господина Черных.

Вскоре Алешка был поставлен на облитый солнцем взлобок, обнесенный плетнем. Мужики, бабы, ребяташки нависали по ту сторону плетня. Сбоку ворот стоял бывший комендант сибирской каторги старик Черных, он был в сером казакине без погон, держал в руке белый картуз с не совсем свежим басоном, а гладким, с пипочкой шпоры сапогом энергично упирался в табурет.

— Да ведь никак... Голубчик! — морщины на лице коменданта просветлели. — Никак ты, Зыбрин! Не молодеем мы с тобой, однако, не молодеем, нет, вижу. Однако... Вот уж удача! — И повернулся к гарцующему на караковой кобылице молодому, в золотых погонах есаулу. — Э-э, гляди-ко! Ты уж мне его побереги, этого мужика. Крестник мой давний, как же. Не ждал, что случай такой выпадет.

— Он тоже, видать, не ждал. Вишь, каким волчищем зырчит, — хохотнул есаул и стал пуще дергать поводья, отчего кобылка поджала тавренные, с прорезьями, уши и взвилась на задних ногах. Седло сдвинулось, есаул едва удержался.

— Мечтаю, когда инструмент такой будет, — обратился комендант к народу, надевши картуз. — Мечтаю вот, когда будет этот прибор... такой... чтобы дурь из башки нашего русского мужика вышибать. Мужики, вы слышите? Прибор такой. Цены ведь не было бы иному русскому му-

жику. Куда против иностранца! Медведя в тайге заломать... что-то еще сделать... Работник отменный. Русский-то мужик! Наш брат. А иностранец против нашего куда-а! Если б не дурь ветровая. Вот ведь что. Обидно за нашего брата. Обидно. Бьем-то мы его, своего русского мужика, по такому месту, что дурь остается, а работник умалется. Вот в чем наша российская рутинность, нереволуционность... Вот куда повернуть бы! Насчет этой самой дури. А большевики — они что? Не в тот край ориентируют. На разрушение устоев русских, национальных. А мужик-то разве в голове разрушение держит?! Вот перед нами типичный россиянин, спросим его, — комендант Черных указал на Алешку. — Скажи вот ты нам, Зыбрин, что у тебя в голове? А?.. Можешь не говорить, я сам за тебя скажу... Это они, большевики, выдумали, что у мужика русского в голове потребность к разрушению, потому что, говорят, это естественный закон, природа самого нашего русского характера и русской души — бунт. Говорят, что преимущество разрушения над созиданием в том, что после разрушения, дескать, сразу начинается естественное созидание. А уж после созидания, дескать, естественно, в соответствии с законом природы, начинается сразу и разрушение. Понятно я говорю? Вот такие теоретики! Что ж, так все время и разрушать, пока все без штанов не останемся, пока все друг другу головы не пооторвут? Вы все умные мужики, скажите. А? Как вот ты, Зыбрин, считаешь? — Черных опять поворотился к Алешке. — Охота у тебя к разрушению или?.. А? Можешь не отвечать, за тебя сам скажу... Охота у тебя к порядку. К хозяйству. Вон и Вениамин Маркович говорит. Большая охота. Работник ты старательный, в забое уголь колот за пятерых. Хвалю. И тут взялся... Вот и давайте, мужики, будем этот порядок вместе наводить и держать. Дурь — она от всяких большевиков и советчиков. Глупый мужик клюет, как карась на удочку. Оглянуться не успеет, а уже на сковороде в сметане с лучком поджаривается у большевиков на кухне...

Это, последнее, оратор сказал под общее одобрение, как в толпе народа, так и в рядах казаков.

Алешка, однако, был глух к речи, он следил за кобылкой под есаулом, отмечал, что хоть она и славная кобылка, мускулистая, а в плуг не годится, нет, не потянет, в хозяйстве от такой проку мало, только корм изведешь. Его, связанного вожжами, повели по кругу вдоль плетня, дырявого от проломов, сделанных бродячими свиньями. Он держал голову книзу, боясь столкнуться взглядом со своими детьми, боялся и того, что они вдруг окликнут его.

Прорезались на горизонте раз за разом далекие язычки молний. Заходившая с реки густо-сизая туча охватывала половину неба за деревней, она разом закосматылась, по ней еще и еще скользнула пурпуровая ящерка, и прокатилось громыхание.

Казаки тоже стали поглядывать на небо, есаул, объезжая по кругу, оттеснял народ, взмахивал плеткой над головами тех, кто навис на изгороди. Туча, однако, уже влияла на событие. Громыхало, разрывалось все чаще, огневые ящерки сбегали до самой земли, и уж где-то на болотах, совсем недалеко, дымились деревья. «А ведь роса ночью, кажись, была.

Не к дождю ведь роса-то», — с горечью подумал Алешка: у него сено в пойме было еще не собрано, в валках.

С оглядкой на близкую грозу привязали Алешку теми же ременными вожжами к скамейке, с оглядкой же и секли. «Неужто Домна не догадалась увести детей, чтобы не увидели они такого отцовского сраму? Неужто?..» — этот вопрос занимал Алешку больше, чем боль в рассекаемой коже. Он помнил каторжный секрет: не натягивай, не упружь жилы под ударами.

Тело, помнившее каторжные экзекуции, само собой защитительно обминалось, не всякое место подставляло под прямой удар.

Гроза огненным острием угодила в макушку карусельного столба: с кованого железного колеса, там, на макушке, укрепленного, осыпались горстью на утоптанную землю светляки. Вместе с дождем упала и зашипела голубая картечь градин, изноздраватив взбитую красноватую пыль вокруг...

— Ну, вставай... поманенечку, поманенечку... вставай, — услышал Алешка над собой плач жены. — Поманенечку... Они, окаянные, господа бога испужались. Это господь бог на них грозу навел, за тебя, страдальца, заступился, бог-то. Засекли бы, окаянные...

Поднявшись со скамейки, которая оказалась в потоке бурой воды, и облачившись, Алешка шел серединой улицы, осматриваемый из всех окон, шел к дому своим ходом, отталкивал жену, норовившую подставить свое низкое плечико под его оголенный, сочившийся кровью локоть.

Через сколько-то десятков лет, когда людское мнение начнет склоняться к тому, чтобы пересмотреть историю, когда станут плести разговоры про то, что события гражданской междоусобицы произошли от обоюдной глупости, от нетерпения, от гордыни, что люди, оказавшиеся по разным сторонам, могли бы быть в одном славном ряду... что бы сказал на все эти разговоры Алешка, сторонившийся всякой политики и отчего-то оказавшийся в самой середке этой чертовой политики, что сказал бы, пришедши к нам в наши мирные нынешние годы?

— Умники, — сказал бы, наверное, Алешка, наделенный от предков незлобивым сердцем.

### Само богатство в руки катит

Оба белогвардейских отряда отбыли из Оскомкина в тот же день по размытому дождем проселку на Кольвань. Ноги лошадей раскатывались на жирной земле, шматки грязи, летевшие из-под копыт, лепились на всадников. Евгения, бегавшая в поскотину искать телушку, принесла две подковы с торчащими свеженадломленными белыми фабричными гвоздями.

— Вот, тять. Они утеряти... тама, на дороге, — сказала девочка, знавшая цену таким находкам.

Алешка лежал на кровати брюхом вниз, облепленный репейным листом; поднял грудь, опершись на руку, взял подковы, осмотрел. Подковы

обе были стерты по всему кругу. Шипы сбиты. «Да, и на горных дорогах побывали, — заключил Алешка, трогая пальцем то место, где должен быть шип. — Да, выходит, некогда им перековывать лошадок своих, по всем местам носятся, спешат. Не так-то у них, значит, с властью все ладно, коль так летают, задравши хвосты».

Покрутил Алешка глазами, прицелился, куда бы, к какому штырю в стене дотянуться и повесить над кроватью подковы, находки ценные, но штыри были только у потолка, и он вернул находку дочери, сказав:

— Ступай-ка, доча, привесь где-нибудь во дворе. Славная примета, эти штуквины-то.

Неожиданным для Алешки было то, что не отняли казаки у него ничего из инвентаря. Ничего. Да и у других мужиков дворы не зорили.

Пошептался народ, пооглядывался да за прерванное дело опять принялся: кто стога свои дومتывал, кто по второму разу пойму косил — отава после парного дождика поперла вон как. Словом, жизнь у оскомкинцев опять выровнялась и пошла прежним распорядком, хотя и без Советов, о которых в разговоре вспоминали только в связи с тем, что кто-то где-то в тайге видел скрывающегося там активиста, до струпьев, ох, господи, изъеденного гнусом.

Милицционер Тупальский стал наезжать чаще. Мимо Алешкиного двора когда проезжал, то всякий раз поворачивал лошадь к воротам, здоровался и, опершись на луку седла, заводил разговор о хозяйстве: как да что. А однажды в подарок привез — от благодетеля, говорит, — банку, обклеенную бумажным серебром. Так и сказал:

— Подарок. Радетьель твой, старик Черных, видишь, помнит. Кофейку прислал. — И объяснил, что у французов да у немцев это первое кушанье.

Половина оскомкинских баб перебивалась в избе, Домна Семеновна им показывала диковинную ту банку, а те, набрав порошка в щепотку, брезгливо нюхали, оттопыривая мизинец. Пробовали на язык и, отворотившись, сплевывали. Домна Семеновна засунула ту банку с «кофеем» наверх шкафа, куда имела привычку засовывать все то, что уж никогда не сгодится.

В полях Тупальский глядел, как бабы справляют главный свой праздник — зажин ржи. А хлеба уродились литые, увесистые, колос от тяжести на ветру сламывался. Приметы оказались в руку: и то, что ярицу высеваля при звездном, а не закрытом небе, и то, что росы летом держались обильные, и зарницы пунцовые перемигивались, осина еще по весенней слякоти сережки выпустила, и то, что река в прошлую зиму пошла в лед не гладью, а частым торосом...

Святой это праздник по сибирским-то деревням — зажин ржи. Он так и зовется по имени святого — Пантелеймон Зажинный.

Женщины, подоткнув подола юбок за пояса и расправив фартуки, вышли на высокие места и для начала связали по тугому снопу, выставили их на жердинках на обдувание. Домна Семеновна, в опорках, огрузившая животом и оттого ступавшая врасстырку совсем маленькими шажками, приговаривала суеверно и заклинательно:

— Как соломка для витка, так бы и спинушка моя была гибка, а доля сладка. Как накреплось колоску, так бы и пелось моему голоску...

За ней вторила Евгения, тоже в новом холстяном фартуке, красной ниткой простроченном:

— Как соломка для витка, так бы и спинушка была гибка...

Не могло и в голову прийти Алешке, что дочь доживет до той поры, когда детишкам (девчонкам до невест, а парням до армии) не надо будет делать никакой работы, а отца с матерью главная забота про детишек своих будет состоять только в том, чтобы в определенный час они со сладостью поели-попили да в определенный час, наигравшись во всякие забавы, спать легли. Дети будут, конечно же, бунтовать, ногами об пол стучать, потому как природа в них, им дело подавай, но взрослые дяди и тети, вкусившие сладость общенародного советского безделья, уговорят их смириться во имя еще более сладкого будущего: «Дворяне, эксплуататоры, ведь жили, не работая, а мы, простые, дураки, чё ли? Не затем завоевывали!.. Отдыхайте, детки. Достаточно того, что мы намунто-лились».

В тот вечер Евгения (то ли подсказал ей кто из старух, то ли по своей охоте) вырядила житный сноп, убрала его цветными тряпицами да золотыми, серебряными бумажками, а после такого убранства поставила в красный угол под иконостас, под вышитые полотенца.

— Вот тебе, Пантелеймон, борода, народи нам хлеба на все года, — приговаривала она приговорку.

«Добро, доча, добро», — думал Алешка, настраиваясь душой на соответствующий жизненный лад.

Управился он с полевым своим делом, с жатвой, при машине-то замечательно, и мозоли на руках не успели нарасти. А когда ехал с поля, ехал с сыном, то над дорогой совсем низко промахали лебеди — вот они, милые красавцы, божья птица! — даже волной ветра обдало от их крыльев, и лошадь пужливо метнулась с дороги в кусты.

Алешка посмеялся, подергал вожжами:

— Ну... а! Чего? Напужалась лебедушек-то?

И, задрав голову, сам стал смотреть, считать птиц, слыша, как тугое, крепкое перо скрипит и парусит в остывающем воздухе, наполненном крестьянской благодатью.

— Ты, Алексеич, однако, того. Шабашил свое, — встретил его старик Пушкарев, двор которого был вторым на краю деревни.

— Да уж шабашил, — отвечал Алешка не без самодовольства.

К разговору подошел Куреночков, прозванный Полторы Сажени за рост свой, старший зять Пушкарева.

— Однако, вся птица нынче задолго до Покрова собралась, — сказал Куреночков, тоже проследив за лебедями. — Грач совсем рано отлетел. А теперь вон и вся остальная птица. Видал? Валом пошла, низко. Палкой зашибить можно. Торопится, чтоб на снег не остаться...

— У птицы свой ум, — молвил старик Пушкарев, не любивший зятя за длинные пустые разговоры. — Снег рано ляжет, верно. И ты, Алексе-



ич, вот что. Свое поле раз ты уже шабашил... Помог бы теперь нам своей машиной-то. Наши серп да коса супротив твоей машины — куда-а! Богом просим — помогай.

«Вот оно что», — подумал Алешка. Признаться, он сам такое предприятие в голове держал: машина-то может какой прибавок принести в амбар — ого!

— Сколь уж запросишь, столь уж и отделим. По совести, думаем, запросишь-то. Оно и загонки у нас небольшие, а все ж.

— Оно... Чего ж, — тянул время Алешка. — Оно, верно, снег нынче близок. Утренники вон уж какие были. Да и лес вон решетом светит, насквозь проглядывается.

— То-то. Помогай, стало быть. Сколь уж запросишь. Какую там часть намолота. — Пушкарев жил одним двором с сыном и двумя зятями, но младшего зятя и сына дома не было, они где-то у кого-то служили (не то за красных, не то наоборот), земли он при Советах с жадности нахватал и вот боялся, что не управится до снега.

— Да ведь машина на износ идет, — начал рядиться Алешка, оттягивая согласие. — Как бы себе не в ущерб.

— Знамо, что на износ, — понимающе, с угрюмой настороженностью говорил Пушкарев, сжевывая затухший на губе мокрый окурочок.

— Ну дак и мы по совести, — сказал Куреночков. — Машина на износ, а на то и доля тебе хлебом.

— Ты, Алексеич, выше-то меры, думаю, не запросишь. По совести. Одним миром живем, — говорил Пушкарев.

— Миром-то, та-ак... Миром-то одним, а... пороли вон на миру кого? — посмеялся Алешка. — И выходит что? Кого пороли, тому, значит, и машина американская за то дадена... — Алешка опять хохотнул.

Перед двором, уж в темноте, на бревнах, светя цигарками, ждали другие мужики. С той же докукой: подмоги, Алексеич, с машиной, не откажи, ради бога, снег вон в воздухе ходит, птица на отлет торопится...

Не до сна было Алешке в ту ночь. Лежал в кровати, упирался взглядом в серевший во мраке потолок и выводил в возбужденной голове, что будет, если он с Устинкой объедет со своей «американкой» по полям всех нуждающихся мужиков и с каждой десятины возьмет положенную долю... Положенную! А на будущую осень опять, а потом опять!.. Вот ведь — само богатство в руки катит, само! Выходит, и богатство, оно тоже — положенное! Кому — да, кому — нет. Ему, значит, «да». Да, да! Прежде у него не выходило, а теперь-то... Положенное!

Домна Семеновна грела своим телом Алешкин бок, Алешке же и без того было жарко, он выпростал из-под одеяла ноги.

— Ты чего? — спросила жена.

Алешка затаился во мраке, чтобы не нарушалась сладость хозяйского воображения.

## «Бунт? Р-растреляю!»

Уже по снегу, а легли они, снега-то, как раз через неделю после Параскевы Порошихи, то есть накануне славного дня Ермака, приехал со станции желанный гость — Гайса. Он приехал верхом на кобыле, подложивши себе под зад потничок. За башкиром водилась страсть к конным бегам, делающим его безумным. Алешка не раз видел, как по воскресным дням в Новониколаевске, на выгоне за речкой Ельцовкой, собирались азартные коневладельцы. Гайса там бывал непременно. С рассветом в такой день он пребывал в сильнейшем нервном напряжении. В скачках из-за такой своей нервности он не мог, конечно, достигать горячо желанной победы, однако это было уже неважно, это обстоятельство не мешало ему со скачек, с берега Ельцовки, ехать домой с распрямленными плечами, с выпяченным подбородком и с неостывшим радостным азартом в расширенных, с синеватыми белками глазах, будто не кому-то другому, а как раз ему достался главный приз.

Оскомкинцы, завершив работы в полях, собрались на день Ермака, поминая его победы «со товарищи» над ханом Кучумом, показать друг перед другом своих лошадей и погарцевать на лугу. Гайса, видя такое дело, тоже засуетился, и вдруг... вдруг ему в горячую голову пришла мысль испытать свою кобылку перед деревенскими лошадьми. И, как самый истинный, самый щедрый друг, доверил он скакать на кобылице Алешке.

Алешка сперва смеялся, а потом всерьез принял. Эх, тряхнем старинной!

Алешу Зыбрина на Гайсовой кобылице мужики поставили в ряду третьим справа. Под брюхом кобылицы оказался куст какого-то чертополоха, облепленного снегом, а задние копыта угодили в борозду, оттого кобылица плохо стояла.

Метнулся шест в косом снегопаде. Флаг на шесте подобрался, опал, потерял упругость, как подраненный ястреб, но тут же опять воспрял и заполоскался на ветру. Это и был знак: приготовиться. Верховые натянули поводья, пригнулись к мокрым гривам.

Шест в руках сигнальщика старика Пушкарева накренился в сторону холмов, как бы нацелясь лететь этакой стрелой-пикой. Туда же затрусил и сам Пушкарев. Давай! Аллюр! Конный ряд разломался. Побежали следом и все, кто пришел глядеть.

Старик Пушкарев, белый от налипшего снега, пробежал шагов десять, остановился, сильно умаянный, оперся на шест. Другие, бежавшие за ним, тоже остановились, стали говорить:

— На Алтае завод конный есть. Для бегу лошадей разводят. И для казаков. Вот бы их сюда для спробы.

— Они нам в крестьянстве негодны. Что толку от их?

— Толку, верно, мало. А все же... За беговую лошадь, говорят, три простых лошади можно у цыганов выменять.

— Ну, у цыгана-то выменяешь. Шило на мыло.

— У лошади резвость в коленке. Перво-наперво коленки ощупывать надо, а тогда уж на зубы глядеть.



Силуэты ускакавших затерялись. Снегопад над полем поубавился. Вбирая конников в себя, дальний простор укорачивал их, растирал, превращая в темную сплошную полосу между небом и холмами, а потом и этой полоски не стало.

Конникам надлежало доскакать до перевала. Развернуться, пройти склоном к лесу и, не доходя до леса, опять повернуть влево, и тогда уж назад, опять к речному берегу.

— Про батюшку Иова, он в тырышкинской церкви был, может, слышали? Что он удумал, этот Иов? Подобрал себе степняка. Вот. Куда-то ездил, все лето его не было при службе, а потом привел этого степняка. С виду будто ничего этакое. Вороной масти. Шея без крутизны, росточка невысокого. Только вот в прогибе задних ног, в бедре, что-то такое. Умел он подобрать. Да дело не в том. А вот что он удумал... Ночами на дорогах кто-то пошалить стал. Едет мужик, а из лесу человек весь в белом и лошадь белая. Налетит, гужи на ходу обрежет, и — видал его.

— Зачем же он, гужи-то?

— А лешак его знает. Ничего не берет. Никакого насилия, а вот, на тебе, гужи обрежет и... стой себе среди дороги. Забавлялся. Раз купец ехал, и с ним то же случилось. Револьверт при купце, стрельнуть бы, да где уж. Он, леший, на лету все вытворять.

— Ну, мне бы леворверт, я бы... Я бы уж осадил его. Стрельнул бы уж как есть.

— Ага, стрельни. Он мелькнул, и нет его. В кого стрельнешь-то? Мужики стали догадываться, что это из своих же, из тырышкинских кто-то. Стали следить, подкарауливать, засады делать. Гнались раз, гнались два, да куда там. Старушонки к батюшке пошли: отслужи молебен против нечистой силы. Да только мужики свое, выстерегли все-таки.

— Что? Изловили нечистую силу?

— А то как же. Батюшка Иов и оказался.

— Постой, постой, ты же говоришь, степняк-то у него вороной. А этот, говоришь, белой масти.

— То-то и удумал, на то он и поп. Грамотный, че-орт. Попонку на лошадь из холстины пошил, чтоб по темноте не признали.

— Головастый, ох!

— И что? Когда изловили — что?

— А то, что мужики к нему всю неделю ходили самогон пить. На том и помирились. Он говорит им: я, говорит, мужики, чтобы вам интерес был в жизни, без интересу — как? Скушно.

Лошади в полный намет приближались.

— Ага, вон сивая идет!

— И человек-то сивый, глядите! Хо! Может, опять тот батюшка Иов объявился!

— Ха, дак это ж снегом так облепило мужика. Значит, и лошадь сивая не от масти, а от снега. Кто ж это?

Башкир Гайса, квадратный коротышок, в шубейке, вывернутой шерстью наизнанку, уже спешил на кривых ногах навстречу всаднику. Всем стало ясно, что это его кобылка летит по косому мокрому снегопаду,

а на ней, конечно, Алешка Зыбрин, которому везет, а с чего везет — и не разберешь.

Подхватывая Алешку за сапог, Гайса глядел на всех дураковато-счастливым, лепетал:

— Вот вишь как... Вот я и говорил...

Башкир будто совсем потерял разум, он тянул за повод свою любимицу, то опять с ней бежал к Алешке, обнимал его, то тут же принимался обнимать кобылку и, пугая других лошадей, взмахивал руками...

Вот уж и минул Наумов день, вот уж и Варварин, про который говорят: «Варвара мосты мостит». Евгения в распахнутом тулупчике бегала на реку слушать воду подо льдом, под «Варвариным мостом». Примета такая: коли не волнуется под ледяным напоем вода — к хорошей зиме, а как бультешит, то к буранам и к морозам.

А на Абросимов день (в церкви батюшка говорит: «Абросимы все праздники отбросили, гуди цепом — бог возлюбит») прибежала Евгения с улицы, а в глазах испуг, и показывает через огород, на дорогу, в березовые околки.

— Едут, тятенька! Те самые!..

— Кто? Какие... самые? — Алешка был в пригоне, вилами выкидывал настывшие глызы. Вгляделся, куда показывала дочь.

Во-она! Меж белыми оголенными березами маячили вороньими гнездами черные папахи. Казаки прорысили по задам огородов, взбитая снежная пыль оставалась в воздухе, стыло и остро искряться.

Алешка постоял, глядя на тот искрящийся след, потом прислонил к плетню вилы, вошел в избу, не снимая кожуха, сел к окну и стал ждать. Еще не знал чего, но понимал — надо ждать, и стал ждать, в душе было предчувствие.

Домна Семеновна ходила за новостями к Лукоедихе, скоро вернулась и сказала, что приехавший казачий есаул сзывает по одному мужиков в сходочную, уже пошли туда хохол Бройк, мордвин Анохов, Пушкарев с сыном и зятем. Подождав, Алешка послал жену опять к Лукоедихе, а потом и к Пушкаревым: за каким таким делом сзывает?

Тем временем на пороге избы вместе с морозным туманцем возник глазастый парнишка в шабуре с рукавами до подошв. Это был старосты Изосима Ажуева парнишка.

— Дяденька, вам в схожу тоже приказано! — объявил он и, крутнувшись на пятке пима, из которого торчала соломенная стелька, истаял в том же морозном клубке. За окном мелькнула его раскрылатившаяся фигурка, нырнувшая между жердинами ворот.

Вспомнилось, как сразу после жатвы прискакал Тупальский, он ехал со стороны озера и заворачивал к каждому двору — сперва к Анохову, его изба справа, потом к хохлу Бройку, потом к Пушкареву и так далее, — раздавал хозяевам бумажные «квитки». Завернул и к Алешке. От ворот покричал, во двор не въехал и, не слезая с седла, передал ему, вышедшему из пригона, листок. На предложение Алешки и Домны Семеновны зайти



в избу и выпить стакан чая ответил молчаливым покачиванием головы и тут же развернул лошадь.

В листке предписывалось: сразу после Наумова дня («Наум наставит на ум») свезти в Колывань столько-то пудов зерна, столько-то мяса, столько-то коровьего масла.

Заволновались мужики. По квитку выходило, что... молоти, стучи цепом, опрастывай гумно да овин и... без малого все зерно подчистую выметай.

Выжидали мужики: может, обойдется?

Вдруг на кого-то, чаще на Куреночкова, буйство нападало, он разрывал на себе рубаху, выбегал на улицу, догоняемый бабой, и пьяно шумел:

— А вот ни шиша не повезу! Вот это им на закуску! Вот это! — и ширял себе ниже живота. — Вот это. На закуску! Горяченького имям вот. Чтoб горло не першило!.. И молотить не стану. Вовсе не стану!

А наутро на гумне у буйливого мужика цеп стучал пуце, спорее, с этакой унылой самоистязательностью — протрезвевший мужик, перетрухнув, искупал в глазах общества вину свою.

Улицей шел Алешка не по проезжему месту, как всегда ходил, а вдоль изгородей, тропкой, набитой в стылом снегу.

Дверь в избу была полуоткрыта, из нее наружу, на улицу, клубился спертый, нагретый воздух, это Алешка увидел, когда вышел на бугор. Выпирающая притолока обросла куржаком, как баран шерстью, а крыльцо было наоборот — подметено и даже выскоблено. Навстречу ему выбежал с красным лицом сосед Мамочка, не приметив Алешку.

— А-а, это ты самый, — встретил знакомый есаул, сидевший за пустым столом, будучи очень возбужденным. — Почему... э-э... ты?.. Почему не свез хлеб? Отвечай! Один вот быком мычал тут. Ты-то, думаю, не станешь мычать. Язык, думаю, еще не сжевал? А? Спрашиваю!

— Дак... не молочено. Чтo поспел смолотить, то уж смолол на еду, — сказал Алешка правду.

— Чтo — смолол? Чего — на еду?

— Дак чего же. Хлебушко.

— Хлеба у тебя больше всех. Подряжался машиной... С других брал.

— Дак в снопах же.

Есаул метнул взгляд на старосту Изосима, одетого в трепаный азым, сидевшего между ларем, хомутами и закопченной печью.

— А что? Хлеба у него, говорят, нынче больше всех? Я тебя спрашиваю!

— Как измерить-то? — несмело отвечал на такой вопрос Изосим, затурканый и линияый однорукый мужичок. Затурканность и сознание своей невезучести у него не столько от искалеченности, сколько от бабы: она у него каждый божий год рожала двойню.

— Чего? Измерить как? Я вот тебе измерю! Спрашиваю тебя: больше у него хлеба?

— Да как оно... измерить? В снопах да в кладях не все заметишь. Молочено как бы... Однако, может, и больше, а... может, так... не больше. Однако есть нынче хлебушко-то, — уточняющее кивал Изосим, он, как

видно, остерегался наговаривать лишнее на своих мужиков. От многолетней жизни без руки Изосим имел привычку гнуться, косить на один бок и потому казался стесанным, как бы половинчатым. — Уродился нынче хлебушко-то, с божьего благословения. Однако, молочено как бы... Тогда бы видно было, измерить... Как бы...

— Как бы!.. А без «как бы»? Бунт? Болтать умеешь! Научились, стервецы! Староста, у тебя что, вся деревня бунтует? Потворствуешь? Кого сечь? Тебя... шельмеца, как старосту! Для начала. За несоблюдение вверенной службы! А?

— Дак вить... — пуще ужимался Изосим. — Дык оно все ж вить... Как бы поспевали мужики молотить. А то вить... Всякие заботы в хозяйстве, по двору. Зима долгая вить...

— Чего витькаешь? С тебя начать? Бунты разводишь! Ты у меня первый до зернышка хлеб свой свезешь! Первый! Для показа службы.

— Дык...

— Молча-ать! Научились!

— А ты не горлопань! Рожу чего свою вспучил? Нахрюмкался! Не больно-то!.. — Из-за Алешкиной спины откуда ни возьмись, не то из-за печи, не то с улицы, вывернулась Изосимова баба, Улька, она, как и положено ей, была на сносях — у нее все ребятишки были зимние. По этому делу мужики зубы точили над Изосимом: «Ты что же, Изосим, бабу-то свою запечатываешь зарядом об одну и ту же пору, на Кириллов день, когда зелена на луга встают?»

Улька будто тыкву под хламидой упрятала, отчего юбка спереди задралась, оголив тонкие, перевитые нагруженными жилами ноги, обутые в головастые, раздавленные пегие опорки из войлока.

— Раздул себе харю краснее перца! Не шибко-то. Хлебушко наш вымести... Пугаешь! А ребятишечьи рты кормить разя ты будешь? Сечь он мово мужика станет! Да я тебе! Он герой царев, японцу, самураю пакостному, руку за царя отдал, на маету мне!.. И ты его сечь? Не зыркай, не зыркай! Не пужливая. Видали его! Горло на мово инвалида драть будет! На героя! Хлебушко инвалидово выгребать, выметать!..

Старостиха накатывалась на вдруг озадачившегося есаула, накатывалась, растопырив сухие, птичьи свои пальцы, будто вилами целила, а есаул отодвигал назад физиономию и на всякий случай отгораживался локтем.

— Иль, может, ты меня в женки к себе возьмешь с моей оравой? Забирай хлеб. Забирай! Пошли в анбар, выметим из сусека все, что инвалид-то одной-то рукой намолотил, нацепал. Выметим, и меня в женки забирай с оравой-то. Чего харю воротишь? Ишь, перцем набряк! Не гожусь, что ли, тебе в женки?..

— Изосим, да уברי ты ее! — Есаул отсовывался за самовар, все держа перед собой поднятый локоть. — Убри!

— Чего убри? Кого убри? — лезла с проворностью баба в промежуток между столом и оконным простенком, где сидел гость. — Меня-то? Из моей же избы? Да я вот тебе!.. Усищи пораздергаю. Ишь, выхрюмкался! Харя гуще перца!.. В женки я ему не гожусь. Пошли к попу, он нас повенчат с тобой.



— Изосим! — шумел есаул, задрав и выставив теперь уж оба локтя, набухая щеками свекольно, то есть уже не красно, а фиолетово. — Да ведь... э-э... ведьма она у тебя. Убери!

— Кто ведьма?! Кто, хрюмканый ты черт, ведьма?! Это я-то ведьма? Ораву кормлю с инвалидом и — это!.. Вот я тебе, харя нахрюмканая!..

Изосим напуганно тянул бабу назад, к двери, жгутом изворачивался, ловчее ухватывал ее, но с одной-то рукой совладать разве просто.

А на Алешку от сдерживаемого хохота, подступившего под самый кадык, напала икота. И он, чтобы как-то перемочь икоту, напряг лицо и так стоял со скошенной челюстью у стены. Это заметил есаул.

— Чего хмыкчешь? — взгляделся он, когда все же удалось вытолкнуть бойкую бабу и дверь защелкнуть за ней на крючок. — Ты вот похмыкчешь у меня. Хлеб чтоб вез на этой же неделе. Сегодня молоти, завтра молоти... Ступай. Иначе... бунт! И, уясни себе, как пособника Советам — р-растреляю!.. Ступай!

Обоз с хлебом был снаряжен под надзором казаков посередине недели.

В обозе Алешка ехал головным. Не оттого, что лошадь у него крепче и могла торить заметанную пургой дорогу, нет, просто есаулу, едущему сзади обоза, так захотелось: ты, говорит, Зыбрин, валяй-ка головным.

Выехал обоз перед полуднем с таким расчетом, чтобы к ночи добраться до заимки белоруса Мушинского, заночевать, подкормить там лошадей и ехать с рассветом дальше.

За Алешкой держался Куреночков, обозначавшийся в пурге смутным пятном, за Куреночковым — мордвин Анохов, за мордвином, кажется, Лукоедов со своим возом... И так далее.

Низовой ветер, наметавший снежные гребни поперек дороги, к сумеркам обернулся бураном. Засвистели голые примороженные макушки осинника. Снег меж полозьями набивался по самые оголовки.

В одном открытом месте дорога пошла под уклон, не было на ней снежных переветов, Алешка понукнул коня и проехал открытое место хорошей рысцой, увеличив тем самым разрыв между собой и подводой Куреночкова. Ему бы сразу остановиться и подождать на подъеме, но он не остановился. Не мог подозревать, что эта его торопливость и приведет его как раз к новым (в который-то раз!) драматическим испытаниям. То ли судьба такая уж, то ли опять же нелепый случай, идущий от характера.

По времени, по всем расчетам, уже должна была быть заимка. Уж не проглядел ли?

Проехав еще версты три, Алешка остановил лошадь, ослабил подпругу, потоптался вокруг саней и сел на мешки, стал ждать: вот-вот объявится подвода Куреночкова. Вслушался, отогнув ухо шапки. Странно, никаких голосов, окромя метельного постанывания в настывших осинниках. Прочистив рукавицей лошадиные ноздри от склизких ледышек, Алешка понукнул и поехал дальше.

И вдруг у самых саней залаяли собаки, с обеих сторон зачернели дворы. Вот тебе и раз!

Была это, конечно, не заимка Мушинского, а целая деревня. Догадался Алешка, что при развилке он угодил не на тот проселок и выехал аж на Челгуны. Во-она куда! Вывернул этакий крюк. От Челгунов ближе до Новониколаевска, чем до Кольвани.

Когда-то Челгуны были выселками. В Кривощекове жил бобыль по прозвищу Челгун, промышлял он воровством и разбоем, но так как промысел он свой совершал не в своей деревне, а в других, в дальних, в Кожихе, в Гонотопах, в Верхотулке, в Марюшихе, то уличенным не был, а худая воровская слава ложилась на всех кривощековских мужиков. И как-то в одну ночь из Верхотулки прискакали мужики артелью искать жеребца своего. Нашли они его, стоявшего на привязи, в кривощековской поскотине. Мужики с топорами, с вилами явились к кривощековскому старосте.

— Объявляй, кто у тебя вор! Указывай, руку отрубить станем.

Не объявил староста, не указал, не принял такого греха на душу.

— Тогда вы все тут воры и воропряты. Красного петуха под ваши дворы пустим, — пообещали верхотулковцы.

И наверное, исполнили бы угрозу, пустили бы в глухую ночь огонь под крыши, если бы кривощековцы не решились сами избавиться от Челгуна. Знали о его пакостях. Усадили они его в телегу — а был он тщедушен и плаксив, — побросали рядом с ним весь его скарб и вывезли в лесную нежиль, тут и срубили ему избушку из красного леса, и дабы не прогневить бога — душа все же! — каждый оделил его мерой жита.

Челгун, живя без людей, сделался набожным, икону у попа в Кольвани выпросил с изображением святого Мануила, полагая, что Мануил, останавливающий солнце, может и в чем другом помочь, когда захочет. С началом проводки через Обь железного пути Челгун ушел в пролетарии и там, в людском муравейнике, где-то сгинул. А к его кинутой пустой избенке стали пристраиваться жадные до свободной земли переселенцы из белорусов, хохлов, а потом и чувашаи.

Избушку Челгуна переладили в часовенку, а рядом соорудили съезжий двор, обнесли тыном. К часовенке как раз и вывела теперь судьба Алешку. Распрягши лошадь, он подвесил к ее морде заледенелую торбу с овсом, а сам, сбив у порога с пимов и с тулупа снег, вошел, нагнувшись под притолокой, в помещение. Зажег спичку, поднес к лампаде, висевшей перед образом на цепочке.

Запах сажи и прелого дерева ударил в нос. Лысоватый Мануил глядел из своего угла на гостя вопросительно, дымный отросточек фитилька, шатаясь, окуривал, морщил копченый лик святого. Ветер за стеной продолжал биться. Намерение у Алешки было — подождать рассвета. Дорога от Челгунов на Кольвань все больше по буграм и, значит, не переметена, по ней будет ехать легче, удастся нагнать свой обоз под Кольванью, обоз-то вместе с надзирающим есаулом наверняка ушел прямой дорогой через заимку Мушинского.

Тут же, на скамейке, расположился отдыхать. Через дрему услышал скрип саней и фыркание множества лошадей.

(Окончание следует.)

Владимир СВЕТОСАНОВ

## СУМРАЧНЫЙ ЛЕС

\* \* \*

Не входи в этот сумрачный лес,  
Здесь фиктивны и слово, и голос.  
Фрикативную массу словес  
Ротовая исторгнула полость.

Звуки прочно скрепила слюна,  
Обнаружилась прорва, зиянье  
Носоглотки. Какого рожна  
Лезть в обдорское языкознание?

Никаких лингвистических школ,  
Никакой эвфонии наружной.  
Лес заснежен и призрачно гол.  
Но входить в него так ли уж нужно?

Здесь зимует один следопыт,  
Узкоглазый Дерсу-уссуриец.  
Он на лыжах широких скользит,  
Как на крыльях стрекоз ассирийских.

Он услышит — и вскинет ружье,  
Прогремит троекратное эхо.  
Только слух, превращенный в чутье,  
Гарантирует качество меха.



## Яшма

Безжизненный кустик польни,  
Уныние, пустошь и грусть.  
Среди коктебельской пустыни  
Улягусь, на дно погружусь.

И тут же как средства общенья  
Мне будут дарованы вмиг  
И остекленевшее зренье,  
И окаменевший язык,

Чтоб, лежа на дне среди яшмы,  
Ракушек, покрытых песком,  
Смотрел я на время бесстрашно  
И рыб говорил языком.

Беззвучную речь понимая,  
К словам равнодушие питать,  
На все беспристрастно взирая,  
Как яшма, на дне возлежать.

## Тоска по Томску

Это он, ускользящий контур знакомого дома,  
Он возник ниоткуда, как будто из небытия.  
За трамвайным окном силуэт деревянного Томска,  
И тоской захлебнулась былая веселость моя.

Как я мог променять пребыванье на улице Фрунзе  
И беседу за чаем, когда надвигается мрак,  
На невнятные шепоты что-то лепечущей музыки,  
На щепотку тоски и скрипучий трамвайный зигзаг?

Как я мог променять этот контур и эту мансарду,  
Этот снег за окном, этот томский мифический сон  
На желание быть одному, на дорогу к вокзалу,  
На пустой прицепной полутемный холодный вагон?

Помню, помню тебя, чуть наивную юную музу,  
Деревянный фасад с окантовкой узорной резьбы,  
И беседу за чаем в мансарде на улице Фрунзе,  
И скрипучий зигзаг повернувшей внезапно судьбы.



\* \* \*

Анна, Астрахань и звезды,  
Ханский небосвод.  
Обогнул песчаный остров  
Стеньки грозный флот.

Вид челнов разнообразен,  
Стяги, знамена.  
*На переднем Стенька Разин,*  
Рядом с ним княжна.

Воля вольному, гуляет —  
Волга как-никак!  
*Свадьбу новую справляет*  
Удалой казак.

Вдруг затишье, смех все реже.  
Аль не все хмельны?  
*Из-за острова на стрежень,*  
На простор волны...

Реки все впадают в Лету,  
Вариантов нет.  
Спой мне, Анна, песню эту  
Через много лет.

### Обломок

Вот обломок греческой вазы.  
Поднят он со дна в Херсонесе.  
Откололся, как слог от фразы  
В речевом вековом процессе.

Он очищен от наслоений  
И давно отлучен от моря,  
От подводных его течений,  
От бесчетных его историй.

Как немая окаменелость  
Из былого палеозоя,  
Он лежит, от времени белый,  
В неизменном своем покое.





Он пылится на книжной полке  
И, как некое равновесье,  
Сохраняет связь с тем обломком,  
Что лежит на дне в Херсонесе.

### Апокриф

Черепные коробки бетонные  
И безмозглые, из кирпича.  
Городские подвалы бездонные  
С тусклой лампочкой Ильича.

Эти вечные бомбоубежища,  
Где ни круп, ни воды не найти.  
Не спасти себя от неизбежного  
И от ядерного не спасти.

Лабиринты для тех спелеологов,  
Что под пологом пыльных камней,  
С ветхой Библией, в мире без всполохов,  
Среди хлама и мелких вещей,

Бесполезных, как старая ветошь,  
Обнаружат когда-нибудь след  
Этих строчек последних, *вот этих*,  
Не сложившихся в Новый Завет.

### Лунная ночь

Ноги босы, роса холодна.  
Истлевает закат сиротливо,  
И восходит над лесом луна  
Серебристая — как над заливом.

Я пейзаж этот сразу узнал,  
Подойдя к кромке леса чуть ближе.  
Неужели, когда рисовал,  
С морем лес перепутал Куинджи?

Ни волненья, ни шелеста нет  
На таинственной лиственной глади.  
Только ровный светящийся след,  
Словно грусть о недавнем закате.



Свете тихий. Тропинка во мгле.  
Поднимайся, не бойся, иди же  
По воде, по листве, по земле,  
По всевышнему небу — все выше.

### Храм в Куркине

Вотчина Воротынских,  
Куркинское шоссе.  
Всходит по-исполински  
Солнце во всей красе.

И над долиной Сходни  
Высится белый храм.  
Видимо, тот, кто поднял  
Храм этот к облакам,

Был не простой боярин,  
Был себе на уме,  
Коли ему был явлен  
Образ на сем холме.

Вот где ворота в небо,  
Или его портал.  
Если бы здесь я не был,  
Так бы и не сказал.

### Хищник

Эта хищная жизнь мне вконец заморочила голову.  
Уши кроличьей шапки друг с другом потуже свяжу  
И пойду, огрызаясь, как кролик, по мокрому городу.  
Дождь со снегом и смог — ну а я в этом смак нахожу.

Я читаю у Блока про пьяниц, похожих на кроликов,  
Но все чаще встречаю — с глазами волков и лисиц,  
Разодетых и хищных, коварных, шерстистых и холеных  
В массе куцых хвостов и линиялых к весне власяниц.

Что, сыграем, судьба, в эти самые крестики-нолики?  
Я тебя зачеркну, ты меня приравняешь к нулю,  
И пойдем, огрызаясь, как самые яркие кролики,  
Не куда-нибудь в лес — а в разверстую волчью нору.



## Парафраз-1

Не вырваться из уз  
Языкового плена.  
Я никуда не рвусь,  
Я никуда не денусь.

Я никому не рад,  
Я радуюсь нехстати,  
И сам свой адресат,  
И сам себя читатель.

Пишу куда? кому? —  
Кому какое дело!  
Таланту моему  
На деле нет предела.

Пишу тебе — туда,  
Где нет ни букв, ни звуков,  
Как Пушкин, без труда,  
Пишу, как Ванька Жуков.

Я сам свой высший суд,  
И нервы на пределе.  
Артель «Напрасный труд»,  
Где я, внутри артели,

Тружусь и не сдаюсь,  
Одной я верен вере:  
*Прекрасен был союз  
Моцарта и Сальери!*

Смертелен был конец!  
*Тебя, моя Мадонна,  
Мне ниспослал Творец,*  
Иначе б монотонно

Мои тянулись дни,  
Как вяленый двусложник.  
Пожалуйста, толкни,  
Расшевели *треножник*

*Покоя моего,  
Иного сердце просит.*



Все было б ничего,  
Но каждый час уносит

Частичку бытия,  
И, по большому счету,  
Жизнь прожита моя.  
Я утром на работу

Бестрепетно иду,  
Смирненно возвращаюсь.  
Но даже и в аду  
Я воодушевляюсь.

Мы будем жить в миру,  
В двухкомнатной квартире.  
Нет, весь я не умру —  
Душа в заветной лире...

Минута — и, клянусь,  
Стихи текут и льются.  
Я никуда не рвусь,  
Стихи и те не рвутся

В печать — они лежат,  
Как общий знаменатель  
Молчания. Я рад,  
Мне холодно, читатель!

Не царь, чтоб жить один,  
Не черт, чтоб жить безбожно,  
Я... — ай да сукин сын! —  
Кончаю! Дальше сложно

И страшно перечесть...

## Парафраз-2

*Шестипалой неправды* еловый шалаш,  
И над ним на шесте возвышается наш  
Вождь незыблемый — в виде портрета.  
Лес, безмолвствуя, смотрит на это.

На портрете и китель его, и усы,  
Что раздвинуты в стороны, точно весы,  
Симметрично — налево, направо, —  
Взвесь, Верховный, на то твое право.

Упыри угощенья несут к шалашу,  
У *неправды* прощенья пойду попрошу.  
Мол, прости, шестипалая ведьма,  
Бес попутал, шатаясь намедни.

А она мне — из бочки *соленых грибков*,  
Самых маленьких, тех, что любил Маленков.  
А она мне — *ребячьих пупочков*,  
*Гроб сосновый*, рубаху-сорочку,

«Беломор», мухомор да осиновый кол —  
Чтоб я из лесу этого на хрен пошел.

\* \* \*

Ни о чем говорить не надо,  
Все и так известно без слов.  
Стайка перистых облаков  
В ясном небе висит над садом.

Никаких тебе городов,  
Шествий, митингов и парадов.  
Парадиз, где из всех певцов  
Рада ночи одна цикада.



Вера БОГДАНОВА

## ДОРОГА ЗА ЯБЛОКАМИ

Р а с с к а з ы

### Финал чемпионата сена

Как-то мы собрались устроить финал нашего детского чемпионата мира по футболу. Противостоять друг другу должны были выдуманные нами страны — Банглия и Зиталия. Этот великий матч был давно задуман, но все никак не мог состояться из-за продолжительного сенокосного периода.

Наконец мы приняли волевое решение: встать в рань-полурань и втайне от папы убежать на футбол.

Еще с вечера мы начали подготовку к этому событию. Дружно заштопали разорванный мяч и накачали его кое-как велосипедным насосом. А младший брат Петя отмыл и очистил до блеска старый самовар, который он нашел среди досок на погребке. Самовар, естественно, это главный трофей — кубок чемпионата мира, который победитель поднимет над головой.

Но, как оказалось, папа встал еще раньше нас и уже гремел ведрами в огороде — поливал «под корешок» помидоры и арбузы, а мама рядом полола морковь. Судя по их беседе, у папы были другие виды на этот день. Он собирался задействовать нашу рабочую силу для уборки сена на Прямыце.

Недавно приезжал трактор с косилкой и выкосил там всю низину. Всю прошедшую неделю мы собирали это сено в кучки. Теперь их предстояло свозить домой. И, как всегда, папа считал нужным сначала «разделаться с делами», поэтому наш «футбольчик» всегда оказывался у него последним в чередке каждодневных занятий.

Надо бы, конечно, убрать сено в первую очередь, чтобы дождь его не промочил. Иначе оно потеряет свои питательные свойства и к тому же в сложенном виде начнет «гореть», то есть гнить. Если в такой «горящий» скирд засунуть руку поглубже, то сразу почувствуешь жар со всех сторон. В этом случае нужно весь скирд разбирать до самой последней

былинки, раскладывать на солнце тонким слоем, а когда трава подсохнет с одной стороны, то по пучочку перевернуть ее и снова ждать, когда все станет сухим. Но и то: заготовки уже будут безнадежно испорчены.

Тому, кому непонятны мои объяснения, предлагаю провести эксперимент: намочить буханку хлеба в воде, а когда она чуть подсохнет, положить ее в полиэтиленовый пакет. Там она позеленеет от плесени, и тут можете ее сушить, а потом есть. Как говорится, приятного аппетита!

Прошлый год стал нам уроком. Мы тогда половину лета вручную косили траву, а потом затащили с постройкой скирда. Соорудили гигантский фундамент, на весь этот фундамент банально не хватило накошенного сена, поэтому фундамент остался ждать следующей порции. И тут начались обложные дожди, которые лили без остановки две недели. За это время, наверное, даже земля прокисла, не то что наш незаконченный скирд, который сплюснулся и стал ниже той самой буханки хлеба. Он прогнил насквозь, заплесневел и сдох, как старая крыса.

Соответственно, в зиму мы ушли с гигантским дефицитом. Да-да, сено у крестьян как валюта, а стога — как бюджет. Сколько у крестьянина сена, столько у него и благополучия.

Скотины в прошлом году у нас меньше не стало: пять коров, пять телят, бык, восемь овец и два коня. Всей этой ораве каждый день нужно было сено: на завтрак, обед и ужин по пучку на голову. Резать и продавать наших «мимимишных» коровок мы папе запрещаем, а если он настаивает, жутко рыдаем. В итоге папа говорит: «Ладно, не будем никого продавать. У нас все коровы хорошие, жирное молоко дают. Семью большую чем-то надо кормить».

Ни у кого в округе нет такого безумного поголовья. Поэтому прошлой зимой, в дефицитный год, папа с января по апрель каждый день, без выходных, в мороз и в метель ездил по далеким полям за соломой. И хорошо, если привозил хоть что-то, кроме полусгнивших ледяных корок. Лучшие куски соломы мы выбирали из воза и кидали коровам, а похуже — овцам. Потому что коровы гниль не кушают и только затаптывают. А овцам хоть ветки, хоть бурьян кидай — слопают. Да они даже польнь уплетают и пережевывают с удовольствием своими маленькими челюстями!

Короче, приходилось папе тяжело. Порой он ругался и даже дрался за солому с местными крестьянами, которые не хотели делиться кормами со своих полей с чужаком из другой деревни. А ведь папе уже семьдесят лет, и работать ему тяжелее, чем раньше, когда он, словно богатырь, тягал в одиночку деревья, мешки и фляги.

В том числе и поэтому папа теперь подгонял нас с уборкой сена.

Но для его детей желание сыграть в футбол было сильнее всего, так что, улучив момент, мы выскочили на дорогу и помчались в сторону футбольного поля. Петя бежал с мячом, а Варя — с самоваром.

Мы неслись не чуя ног, уже мысленно играя долгожданный матч. Но за спиной раздался громкий голос:



— Ку-уда?! Опять на футбол собрались?

Варя тут же бросила самовар в крапиву, пока его не заметил папа, иначе последовала бы ругня еще и по поводу этого самовара.

— Хватит от дел отлынивать! — добавил папа, приближаясь к нам.  
— Сено срочно надо убирать! Вы видите, какая погода? Или не видите?! Уже с утра на дождь помахивает!

— Кто помахивает? — шепнула я на ухо Пете.

Тот захихикал себе в руку.

— Вы не посмеивайтесь! — сказал папа и загремел на телеге пустыми флягами. — Сено погноите, я тогда вам дам футбол! Все мячи отберу и спрячу. И вы их больше не увидите... Воды ни капли нету! Огурцы полить нечем. Надо будет съездить на речку. Что стоите, смотрите?! Собирайте вилы, вон они по всему двору валяются. На место никогда не поставите. Я говорю: одно безобразие дома творится. Одно безобразие! Одно безобразие!!! Инструменты раскиданы как попало, картошка вся в жуках, сено лежит в поле. Все дела стоят на мертвой точке, а они мячик пинают, как глуповатые. Раз глянул: убежали, два — убежали. И бубухают, и бубухают! Да сколько же можно?! Вы здесь не на курорте. Здесь работы полно. Я уже с утра пораньше встал, коров всех переставил, огород полил, у коня навоз покидал. Лето, оно для чего? Для дела человеку дается — заготовливать все. А то коров развели: эту не продавай, эта хорошая... Но им же сено нужно! Мы же не можем без кормов в зиму уходить. Иначе вашим Жданкам жрать будет нечего! Раз трактор пригнали, сена наворотили, то свезти все надо, и чем быстрее, тем лучше, — заключил папа. — Вот определим сено — и играйте, пожалуйста. Я вам слова не скажу. Я ведь тоже брехать устал. Мне эта нервотрепка не нужна. Лиз, бери узду!

С бугра зорким взглядом на нас косо поглядывала кобыла Маня, которую мы, дети, недолюбливаем за стервозный характер. Но у папы диаметрально противоположное мнение. Маня для него — гений чистой красоты.

— Ну, повели! Посмотрим, как эта рысачка сено возит! — сказала Лиза так ехидно, будто бы Маня была виновата в том, что нам не дали поиграть.

— Хорошо она возит! — ответил папа. — Она золотая лошадка. Я ни разу не пожалел, что купил ее!

— Даже когда она тебе палец чуть не оторвала? — не унималась сестра.

— Ее оводы грызли, как звери. Я же не могу один ее спустить, и лошадь носится по кругу, как шальная. Я каждое утро зову, пока вы дрыхнете: «Лиза-Лиза, Лиза-Лиза!» Но вы же не понимаете! А знаешь, как животным больно?! Вот тебе больно, когда тебя комарик укусит? А на ней по сто, по двести слепней сидят, и шишки потом с мой кулак. Маня, иди-иди сюда, мученица божья!

С запряжкой, как всегда, возникли проблемы. Маня тянула папу назад от телеги, храпела и брыкалась.



— Вот колдуны! — сказал папа про нас. — Даже лошадь с ними прыгаться не хочет. Петя, отойди! Она тебя в этой одежде боится. Вер, и ты уйди! Вон за котух спрячьтесь! Футболок понакупили! Чтоб больше к коню в них не приближались!

«Но мы шли на футбол!» — хотели возразить мы, но молчали. Маня, действительно, боится, когда на нас незнакомая и яркая одежда, боится громких звуков и палок в руках, а мы боялись за папу, который ее сейчас держал. Ведь кобыла может рвануть вперед, ударить папу копытом или пробежаться по нему. Сила у нее немереная. Поэтому мы просто молчали, чтобы папа не отвлекался.

Покрутившись у телеги, Маня, после ведра фуража, которым ее заманили, встала в оглобли. На нее моментально оказалась со всех сторон накинута сбруя. Я затыгивала супонь на хомуте, Варя привязывала седелку, Петя и Паша собирали вилы, а Лиза клала в телегу старые фуфайки в качестве мягкой подстилки. Папа держал Маню за узду. А кобыла неистово копала яму передней ногой, как будто собиралась зарыть там нас вместе с нашей дурацкой телегой.

Когда приготовления закончились, папа с вожжами в руке первым прыгнул в телегу и крикнул:

— Садитесь, ребята!

Но Маня стартовала молниеносно, телега вслед за ней мигом вылетела со двора и исчезла за бугром. И нам ничего не оставалось, как бегом догонять свой транспорт.

— Сели? — спросил папа, когда мы, задыхаясь, мчались за телегой.

У меня из кармана вылетели две конфеты, которые я хотела поест в дороге, а бегущий за нами пес Трезор с удовольствием разгрыз их и проглотил.

— Ну вы где там застряли? — звал папа. — Я не могу ее удержать. Рвется! О дурава!

Маня делала огромные прыжки, телега тряслась, вилы гремели, прыгая по доскам, а мы, выбившись из сил, кое-как цеплялись за края телеги, чтобы впрыгнуть в нее, естественно, на ходу. Когда мы все-таки заскочили в телегу и уселись, папа сказал:

— Держитесь за борта! А то улетите запросто под колеса. Видите, она как бешеная. Варь, ты чего на краю сидишь? Ну-ка, давай сюда ноги в телегу! Вер, подвинься!

— Как всегда, не дадут поиграть в футбол! — недовольно бурчал Петя.

Усадив нас согласно технике безопасности, папа, показывая на Маню, сказал Лизе:

— Невозможно несется! А ты говоришь: «Плохая лошадь»!

Нам в лицо летели куски земли из-под Маниных копыт и семена от травы, которую телега цепляла бортами.

Маня — вольница. Мы поздно приучили ее к узде. А телегу она недолюбливает так же, как мы сено. Но это у нее в крови. Она же рысачка. А рысаки — беговые лошади, не тягловые, они любят скорость, любят,

едва касаясь земли копытами, нестись вперед, догоняя облака... Для грузов и монотонного труда эти лошади не приспособлены. Вот Маня и стартует сломя голову, потому что каждая поездка для нее — гонка. Но зато дай ей волю — она донесет тебя, куда хочешь, точно на крыльях.

Это старина Руслан — упряжной породы. Он и по три, и по пять тонн согласен возить. Идет тихо и ровно, всю дорогу одним шагом.

В нас самих есть что-то от этих двух лошадей.

Вот возьмем папу. Он влюблен в крестьянский труд, работа с землей для него — одно удовольствие, с утра пораньше он торопится в огород, поливает свои растения. «Свои», потому что у нас еще огромный огород у речки есть, за которым следим мы, дети. А у дома «папин» огород. И в нем есть все!

Папа ломает старые постройки во дворе, возводит новые, находя по всем окрестным селениям доски, бруски, листы железа и прочее. Все это он прихватывает во время наших поездок за яблоками, за соломой, за глиной. Ни одну минуту своей жизни он не тратит зря.

Он отремонтировал все котушки для коров и овец, построил две конюшни и курятник, сделал новый погреб. И это уже не говоря о том, что он построил для всех нас большой новый дом. Как долго и с каким трудом он собирал для него материалы!

Еще папа зашивает сбрую, латает нам продырявившиеся валенки, ремонтирует вилы, лопаты. И все это он делает увлеченно. Но сельский труд никогда не был для папы самоцелью. В Моршань, на родину отца, он вернулся от городской суеты, чтобы здесь, в тишине и рядом с природной чистотой, создавать родники своих произведений. Поэтому сам папа другого, особенного склада.

Он, как Маня, мчится по просторам мыслью. Как и ретивая Маша, папа гордый, никому и ничему не покорный, человек другой породы.

Но и мы такие же. Мы тоже хотим и творить, и фантазировать! Мы тоже созданы для чего-то большего, чем простой монотонный труд. И в глубине души мы это знаем. И какими бы вожжами нас ни пытались удержать, мы все равно будем сильнее этих вожжей!

К Прямице вела старая, заросшая донником дорога, по которой мы раньше ездили в село Сальники. Но сейчас само-то село Сальники заросло травой, как старый огород, не говоря уже о дорогах к нему.

Донник стелился нам под телегу, а его цветы источали медовый аромат. Впереди тянулась розовая полоса рассвета. Там, вдалеке, виднелись деревья заброшенной деревни Майки, куда мы каждый год отправлялись за земляникой. Там всегда свежо и прохладно, под горой журчит ключ, а по кустам среди сплошного цветочного поля спеет земляника. В этом затерянном мире есть особая тишина и гармония, которую хочется набирать горстями, как сладкую ягоду.

— Вот свозим там сено — и здесь будем косить! — говорил папа. — Тут вон какое приволье! Травина вымахала невозможная! Петро, а Петро, ты чего приуныл?



— Да ничего! — тихо ответил Петя.

Папа какое-то время разглядывал надпись «Роналдо» на Петиной бразильской форме, а затем сказал:

— Вы не смотрите на этих футболистов! Вы свое дело делайте! Футболисты знаете какие деньги получают? У них вон дворцы выше нашей церкви. И на счетах миллиарды. А ваш отец живет как нищий. Ни копейки за душой не имеет. Выдающийся человек, многодетный отец, писатель содержит восемь человек детей — и живет под гнилой крышей. Что ни дождь, то по три ведра воды из дома выношу.

А эти футболисты — самые настоящие бездельники. Райкин, он правильно говорил: «Двадцать два дурака гоняются за одним мячом». Но мы-то не можем позволить себе такую роскошь! У нас кроме футбола еще дел уйма. Я когда на лето к отцу приезжал, я все время то косил, то возил и дрова, и воду, и котухи ремонтировал, и огород поливал. Ну а как? Отец, он у меня один. Он уже старенький был. Инвалид, ветеран Великой Отечественной, пятка раздроблена, полголовы нету. И то он без дела не сидел, ветеринаром работал. На ферму каждый день ездил, вот как я, на лошадке. А у вас почему один футбол на уме?! Вы почему за отцом не стремитесь? Вы эту дурь из головы выкидывайте! Мне тут дома не нужны болельщики. Мне нужны умные дети, а не это стадо, которое орет «а-а-а!» на стадионах. Обезьяноподобные... Хэ, Маня! Варь, убей, вон у нее на спине овод сидит огромный. Откуда он взялся, собака? Ага, садись быстреей!

Так, понутив головы и выслушивая очередную папину лекцию, мы приближались к покосу. Сам луг лежал в низине, а собранные там кучки с бугра, по которому мы ехали, напоминали плантацию грибов с бурыми шляпками.

Под гору Маня летела со скоростью ракеты-носителя «Союз». Мы дрожали, боясь отделиться от телеги, как ступени этой ракеты, и разбиться.

Папа затянул вожжи на руках в три оборота, чтобы удержать кобылу, тянул ее в сторону. Маня свернула в какие-то ямы, потом телега запрыгала на муравейниках и камнях. Сбруя на Мане вся скосилась на бок, супонь хомута, развязавшись, болталась в ногах: того и гляди кобыла споткнется.

— Кто завязал по-дурачьему? — негодовал папа. — Маня, тихо! Тихо, я сказал!

Немилосердная тряска прекратилась только в самой низине, где телега, наехав на сенные кучки колесами, затормозила свой ход. Мы спрыгнули на землю и, разобрав вилы, принялись подтаскивать сено к телеге.

Это место называется Прямицей, оно — пойма реки Карай, полукруглый заливной луг площадью никак не меньше гектара. Покос и уборка на этом лугу превращаются у нас обычно в многодневную сенную эпопею.

Для ускорения этого процесса мы забегали туда-сюда, таская пучки вдвое больше себя, от которых даже ручки у вил трещали.

Чтобы пучок получился большим, надо надавить обеими ногами на вилы, как бы прижимая сено, и его масса сдавливается. Такую копну

трудно нести на весу, и ты держишь ее у себя над головой, как зонтик. Вот с такими травяными зонтами мы спешили к телеге, порой не замечая муравейников, спотыкаясь о них и падая со всем добром.

Петя-шутник, как всегда, прикалывался над всеми. После очередного падения Паши он закричал:

— Пенальти! Муравейник получает желтую карточку!

Всем было смешно, кроме Паши...

Через какое-то время руки у нас были уже все в мозолях, волосы — в шелухе, а сену не было видно конца.

Хорошо убирать мягкое июньское сено из ароматных трав, нежное, как шерсть ягненка. Но сейчас было сено августовское. В это время уже трава делается жестче, деревенеет. Стебли ее становятся грубые и колючие, как вилы.

А еще в этом сене полно осота. Он давно отцвел, и его семенные корзинки начинают пушиться, чтобы разлететься в разные стороны. И вот этот пух носится повсюду, попадает в глаза, застрекает в волосах, прилипает к потному телу и жжет кожу.

А еще пойменное сено очень длинное. «Ну и что? — скажет читатель. — Хорошо, что длинное!» И окажется не прав.

Потому что вилами такое сено поднимаешь с гигантским усилием, словно ты флягу с водой тягаешь, а не пучок травы. И потом эти длинные копыя нужно свалить во дворе. А свалить по-быстрому не получается. Ведь сено-то длинное! Ни одна травинка не вылезает. Это сено убийственным грузом лежит на телеге. Точно туда Маню положили отдохнуть. Попробуйте из-под коня пучок сена вытащить. Не вытасците. И вот приходится залезать на этот воз и потихоньку его разгружать. По маленькому пучочку. В то время как молодое сено только толкни сбоку — и оно все сваливается.

Не успели мы привезти два воза, как прилетела дивизия оводов. Кровососы облепили Маню шею, живот и даже спину. Животное отбивалось как могло. Маня и хлестала хвостом, и отчаянно била ногами, но оводы не отступали.

Это с утра было свежо и благодатно, но очень быстро вокруг воцарилось настоящее пекло.

Атмосфера у нас тоже накалялась.

— Быстрее раскачивайтесь! — говорил папа. — Нагрузим, и поеду. А то я ее еле-еле держу.

Маня кусала папу за руки и толкала его в грудь головой: мол, поехали, не могу больше терпеть!

Мы забегали как секундные стрелки, начали кидать на воз как попало, навалили на телегу Эверест. На его вершине качалась Лиза, пытаюсь упорядочить наши хаотичные пучки. Но все равно сено падало на землю, отваливаясь от воза, как плохая штукатурка.

— Ну что у вас все летит вниз?! Даже забросить на воз не можете. Вы что, безрукие, что ли?! — говорил папа. — Работать нормально разучились с этим футболом. Паш, сгони с нее оводов! Вон на животе сидят.

Когда папа забрался с вожжами на воз, Маня сразу резко дернулась вперед, совершила несколько рывков, воз накренился и рухнул вместе с папой, а кобыла побежала дальше.

— Стой, шутоломная! — закричал папа ей вдогонку.

Они с Петей пустились бежать за кобылой и догнали ее только у самого дома.

Естественно, продолжили мы возить сено на Руслане...

Жара стояла невероятная. Головы у нас были чугунные, перед глазами мелькали темные пятна, да еще эти оводы кружились, как стая собак. На Руслане их сидело не меньше сотни, и Паша веником из полыни смаживала слепней с жеребца; полынь была вся в крови, но Руслан терпел... Лиза укладывала теперь более аккуратные возы, потом мы связывали их цепью, а папа отвозил к дому.

Когда папа уезжал с возом, мы бежали к речке, ложились на живот у самого берега и, окунув головы в воду, жадно пили огромными глотками.

Здесь у реки всегда пахнет прибрежной сыростью и кувшинками, что желтеют на поверхности. Под кувшинками в чистой теплой воде плавают между лучами солнца серебристые лебеди и плотва, а поглубже, у илистого дна, прячутся толстенькие лини. Над этой тихой заводью зеленеют ивы и клены, которые вместе с небом, как в зеркале, отражаются в воде.

Напившись от пуза, мы садились с мокрыми волосами в теньке и обсуждали предстоящий матч: кто будет с кем в команде, кого следует назначить арбитром, за что можно удалять с поля и другие важные вопросы.

Когда мы слышали крики «Но, пошел!», то сразу бежали на покос и вставали около кучек с вилами, как рота почетного караула около стен Кремля.

Накладывать сено было невыносимо. Жара, кровососущие насекомые, пыль от сена, пух от осота — все смешивалось в один большой воз проблем.

У папы кожа на лице стала бордовая. Наверное, у него, как обычно, поднялось давление. Папа уже давно от него мучается, но отказывается признавать его существование и только повторяет свою коронную фразу: «У меня голова болит».

И в этот раз он терпел, зная, что на жаре работать тяжело, но надо.

Очень хотелось искупаться... Бывает, мы наперегонки бежим к реке, толкая друг друга, плещемся, ныряем до дна, схватившись за руки, бросаемся друг в друга комьями глины, потом отмываемся с хохотом... В общем, озоруем, как хотим, и вылезает только тогда, когда уже зуб на зуб не попадает.

А сейчас было не до купания. Мы доскремали остатки сена, собрав остатки сил, и про себя ругали все и всех: тракториста, который накопил слишком много, папу, который ему сказал столько накопить, оводов, жару, болтающиеся на черенке вилы, горячие, как угли, резиновые са-

поги, в которых ноги уже сварились, злое сено, которое не хочет быстро собираться. Руки у нас висели, как сырое белье на веревке, ноги шаркали по земле, пересчитывая кочки, а глаза смотрели ничего не видя.

Но когда папа сказал: «Все, ребят, я больше не могу, завтра привезем!» — мы наотрез отказались.

«Почему же? — недоумевающее спросит читатель. — Ведь вы так хотели поиграть в футбол!»

Хотели!

Но тут надо знать нашу не только творческую, но и азартную натуру.

Мы уже не могли уйти, как будто соревновались с каким-то противником. Как будто мы не просто заготавливали на зиму корм для скота, а играли в чемпионат сена, в котором обязательно должны были победить траву, победить природу и самих себя. Мы сжали свою волю крепко, как вилы в руке, и продолжили добиваться поставленной цели.

Постепенно приближались сумерки. В воздухе запахло вечерней прохладой, солнце клонилось к закату, и наши тени на лугу стали длинными и худыми, как столбы у футбольных ворот.

Когда мы в очередной раз приехали с возом, папа вышел из дома и позвал нас:

— Ребят, зайдите покушайте! Мама супец сварила вермишелевый, с фрикадельками.

— Да потом! — ответили мы, запрыгивая в телегу.

Когда мы привезли сено в следующий раз, папа снова вышел и сказал, что-то пережевывая:

— Ребят, отдохните хоть чуть-чуть. А то что же вы голодные катаетесь? Мама пирожки пожарила, невозможно вкусные! Объедение! Компотика попейте. А то вечер уже на дворе...

— Нам еще воза два, и все! — ответила, помахивая вожжами, Лиза.

— Оль, дай им с собой пирожков. Пусть в дороге поедят.

— Сейчас, Юра! — сказала мама, развешивая на заборе постиранные вещи.

Наполнив руки пирожками, мы снова отправились на Прямуцу. Пирожки — с зелененьким лучком и вареными яйцами — были румяные и хрустящие, они сами просились в рот. Трезор, видя, как мы лопаем эту сдобу, смотрел на нас умоляющими глазами. И конечно, ему перепало несколько кусочков, которые он поймал на лету, извиваясь в воздухе искуснее Алины Кабаевой.

Вечером хорошо ездить на телеге. Тихо катится она по дороге, кругом расстилаются просторы, озаренные закатными лучами, а вокруг тишина, только сверчки стрекочут в траве да где-то в чужом селе лают собаки, а сено, будто душистый матрац, покачивается под тобой.

Мы очень старались свезти все сено — и успели, успели. Успели!

Можно было уже бежать на футбол, потому что папа включил «Вести недели» и спокойно смотрел их. Но нас грызла совесть, как грызет собака старую кость. И все из-за того, что солнце садилось в темно-серую тучу, похожую на огромный, длинный воз. Это всегда верный знак, что

будет дождь. И если он начнется, не будет смысла в нашем героическом труде. Потому что какая разница, на лугу сено или во дворе, если оно все равно измокнет?

Естественно, все ужасно устали, но надо было завершить работу. Надо было уже отыграть финал этого сеного чемпионата. Оставить сейчас все эти горы сена во дворе так — означало проиграть.

На постройку скирда в сгущающемся сумраке времени уже не оставалось, и мы в ускоренном темпе начали забивать сеном чердак коровьего котуха.

Мы с Лизой полезли внутрь этого чердака, где было темно и душно. Наша миссия заключалась в том, чтобы те пучки, которые кидают снизу, разложить равномерно, заполнив таким образом сухой травой всю крышу.

И вот развернулся суровый поединок с травой. Начало атаки было за младшими — Петей и Пашей. Они выцарапывали пучки сена из огромной, наваленной с телеги копны и кидали его Варя. Варя стояла рядом с папой и пасовала сено ему. А папа, стоя у дверей чердака, насаживал пучок на специальные огромные, высокие вилы и кидал в дверной проем мне. Я хватала его пучок почти на лету и отдавала этот пас Лизе для завершения атаки. А Лиза мастерски отправляла пучок в тот угол крыши, который считала нужным забить. Так слаженно и быстро действовала наша семейная команда.

Но матч был очень трудным. Ветер вырывал у нас из вил сено, словно хитрый противник, а усталость валела с ног, будто футболист, совершающий жесткий подкат сзади. В сене было много пуха и колючек, а сеновая пыль была пропитана полынной горечью, от которой во рту делалось противно. Мы с Лизой задыхались, едва разглядывая очертания чердака сквозь завесу пыли и вечерний сумрак, и через каждые полчаса лезли подышать к дверям.

— Эй, люди, стойте! — время от времени кричали мы с Лизой. — Не кидайте! Мы хотим подышать. Ужасная пыль!

Высморкав из носа черные сопли и глотнув свежего воздуха, мы разглядывали округу. Вся она отсюда была видна как на ладони. Вон там крыши сальниковских домов, оттуда едет трактор, завывая мотором. Вон там желтеет поле с подсолнухами, а за ним овраг, по краю которого пастух гонит на ферму стадо коров. А вон наша церковь, крыша ее облита оранжевым закатом, словно самым дорогим золотом.

Отдохнув, я возвращалась внутрь чердака и снова распахивала сено вилами. Затем меня сменила Варя, а Лизу — Паша.

Так продолжалось до самой темноты.

Закончили мы уже ночью, часов в двенадцать. Во дворе от гор сена остались только одиночные былинки да шелуха. Вокруг царила непроглядная мгла. Черная туча накрыла небо тяжелым полотном.

А мы, устало перебирая ногами, плелись домой.

Мама принесла нам долгожданный суп и горячие булочки.



— Устали, жальки? — спросила она, хотя сама целый день терла яблоки на плоре, стирала белье, а сейчас только что подоила трех коров и разливала молоко по банкам.

— Самую малость! — пошутил Петя.

— Ты как скажешь, хоть стой, хоть падай! — улыбнулась мама.

Когда мы ложились спать, то услышали, как по железной крыше торопливо застучали капли. Потом они забарабанили громче, и наконец хлынул проливной дождь. Гром гремел так, что казалось, будто небо раскалывается на части, а молнии озаряли двор как днем. Лес под горой шумел от ветра, а собака Соня заскребла в дверь.

Я открыла ей. Соня отряхнулась и свернулась калачиком рядом с нашей кроватью.

Лежа в кроватях, мы с удовольствием думали о том, что сохранили сухим корм для животных и теперь они на несколько месяцев обеспечены едой.

Но ни своенравную Маню, ни кучи с сеном, ни жару и душную крышу не видела я во сне. Снился мне наш так и не сыгранный матч, где встретились наконец Банглия и Зиталя...

Без сена в деревне нельзя перезимовать зиму, а без любви к чему-то прекрасному нельзя прожить жизнь.

## Яблочная одиссея

Решили мы однажды съездить за яблочками в далекий Кулевчинский сад. Обычно, когда нам не хватало своих яблок, мы лазили по брошенным палисадникам моршанских жителей. Но ближе к зиме и они пустыли, потому что в этих палисадниках были только ранние сорта яблок. А вот Кулевчинский плодопитомник знаменит на весь район своими «синапами» и «симиренками», что висят на ветках до самых холодов. Вот туда-то мы и собрались.

Дело было в середине октября. К этому времени полевые дороги находятся уже в очень плохом состоянии: они все в лужах от дождей и колесах от тяжелой техники. Поездка была рискованная, но за время жизни в Моршани мы привыкли к такому виду риска и уже считали его делом обычным, поэтому с радостью готовились в путь.

Встали рано. Поели рисовой каши, попили парного молока и пошли выносить сбрую, собирать ведра и мешки.

В чулане нашли несколько пустых дырявых мешков. Пришлось эти дыры быстро заштопать кусками проволоки, как ниткой. Получилось грубо, но надежно. Другие мешки освободили от пшеницы, которую рассыпали по флягам, бочкам и колодам.

Сложили на телегу все приготовленные мешки, а также веревки к ним, поставили друг в друга три железных ведра и положили в них один рюкзак.

Сами оделись как на Северный полюс: теплые носки, куртки, шапки. Ведь на лошади целый день ехать непросто. Ветер продувает до костей.

Кобелей Пусю и Пасю заперли в коровнике, чтобы они не убежали с нами. Эти диковатые существа лают на все проезжающие машины, царапают их и, пытаясь укусить, лезут под колеса.

Уселись мы на телегу и хотели уже было отправляться в путь, как заметили, что на месте нет коровы Линды. На ее поиски потратили больше часа: пока поглядели на лугах, пока залезли на крышу и осмотрели с высоты всю округу, пока побродили по оврагам и посадкам. В итоге след от цепи на траве привел нас к нашему собственному огороду у речки. Там эта бессовестная Линда спокойно грызла кочаны капусты.

Из-за всех этих проволочек выехали мы поздно, примерно в одиннадцать, а ведь до Кулевчинского сада ехать три часа, потом на сбор яблок уходит часа два и обратно груженный Руслан плетется до дома часов шесть-семь. В общем, поездка предстояла непростая, но настроились мы по-боевому.

Был ясный погожий денек, на кустах висели паутинки, небо было синее-синее, а воздух — чист и прозрачен, как первый ледок на лужах. В такие дни теплая осень чем-то похожа на маму, когда она, провожая нас, ласково машет рукой, а сама все уменьшается и уменьшается, пропадая вдали.

— Ну, с богом, ура, покатили! — сказал папа, взмахнув вожжами, а затем обернулся к маме и крикнул: — Оль, заходи в дом! И двери закрой на засов!

И покатилась наша телега по проселочной дороге мимо развалин домов да провалившихся колодцев.

Одна церковь величаво стояла, возвышаясь своими куполами. Ее кладка из красного кирпича была украшена узорами, но на колокольне уже всю росли березки, между кирпичами зеленел мох, а ржавое железо крыши моталось на ветру, как последний лист на верхушке осины. Окно сторожки кто-то разбил, священник заботливо прикрыл его картонкой, однако край отогнули грабители: видно было, что они постоянно влезают проверить, все своровано или еще не все.

За церковью после людского кладбища располагалось кладбище колхозной техники. Там валялись комбайны, плуги, сеялки, культиваторы — все сломанное и ржавое.

Когда мы проезжали мимо этой груды металла, папа, вздохнув, произнес свою коронную речь. Он всегда здесь говорит примерно одни и те же слова сожаления, как будто торчащие железки своими острыми краями режут его по сердцу.

— Все разломали эти крестьяне! Ничего им не надо, — сказал папа. — Технику побросали, как мусор. Эти комбайны, их еще отремонтировать и в дело пустить можно было, а не оставлять в таком безобразном состоянии. Э-хе-хе... Да что с них взять, у них одно пьянство на уме! Обесценили себя этим вином окончательно. А ведь какими умельцами в свое время были! Выдающимися...

Вон этот хмырь болотный шляндает по кустам, не знает, чем себя занять, — продолжил рассуждать папа, на сей раз о сторбленной черной

фигурке, бродившей с вилами неподалеку. — Гвоздики из земли выковыривает. Всю дорогу изрыл, ехать невозможно! И одет как охламон. Ну правильно — из дома все тряпки уволок и пропил. Теперь вот за железочки взялся. Но когда-то же эта лафа закончится. И тогда он что? Тык-мык, а жить не на что, годы упущены, их уже нигде не откопаешь...

А как я его отца умолял, просил: «Толя, хватит пить, остановись! Это твоя смерть! Что же ты себя убиваешь? У тебя сын такой хороший мальчишка, ему образование нужно дать, поднять на ноги! Брось ты это вино!» Но ко мне же никто не прислушивался. Наоборот, смеялись, охавали. Вон они теперь все — на кладбище лежат, жизни радоваться не захотели. Колхоз не удержали, сельсовет закрыли, село осталось на нулях. Профукали все. А какое было село! И кирпичный завод стоял, и мельница, и больница двухэтажная...

Но, пошел! А коня он, е-мое, на пустырь прибил! — добавил папа с жалостью. — Не умеет совсем за животным ухаживать. Для лошади кнут — это еда. А она что ж у него, бедная, уже все выдолбила и на голяке стоит? Хоть бы переставил ее, рядом вон какая травина — ешь не хочу. Да если б я так к коню относился, разве он бы меня выручал?

Скучающая на выбитой лужайке кобыла заржала и забегала, увидев Руслана. Тот оглянулся, захрапел ей в ответ, словно поздоровавшись, и помчался дальше.

Мы проехали разрушенный магазин, развалины кирпичного завода и руины когда-то жилых домов. Их обломки едва виднелись из кустов полыни, а сады, некогда чистые и ухоженные, заросли всякой дичью, словно запустивший себя мужчина — щетиной.

Затем мы прокатились мимо ферм, что торчали вверх голыми каркасами, похожими на скелеты динозавров, словно эти фермы были когда-то гигантскими живыми существами, а потом разом вымерли после падения на нашу страну капиталистического метеорита.

В Моршани еще есть люди, но все они, кроме нас, скорее доживают здесь свой век. Дети их уже давным-давно в городах. Только мы весело шумим на своем дворе, возимся со скотиной, играем в футбол да ездим за яблоками, как сейчас.

Папа продолжал рассуждать:

— А Юрий Петрович удержался, семейное обучение организовал, утер им всем нос. Пусть попробуют так же, как я, выстоять! А в эти города я не рвусь, мне они до лампочки: что есть, что нет. Я живу здесь простой русской жизнью, как Лев Толстой. И еще проживу, не испугаюсь. Вот у меня есть надежная лошадь, везде пройдет, в любую погоду!

А Руслан вез нас вперед, и грива его красиво развевалась под синим небом, словно она теперь и была флагом деревни Моршани.

У горизонта мелькали соседние деревни. Вон Сиротка. Ее обозначают высокие пирамидальные тополя. Когда-то папа там учился. Этот некогда совхоз-миллионер теперь насчитывает всего пять дворов. А поблизости от него Колено. И там такая же картина, как в Сиротке: разруха, пьянство и обнищание.

Облетают русские деревни, как желтые листья холодной осенью. Скоро заметут их сугробы времени, и не сыщешь от них следов.

В Моршани когда-то жило больше двух тысяч человек, а сейчас и двадцати жителей не будет. Когда сломался советский строй, деревня пострадала больше всего. Колхозы стали исчезать с лица земли, как Атлантиды, будто их и не было вовсе. Так и у нас: сначала угнали стадо, потом закрыли школу, людям негде стало работать и учить детей. И крестьяне бросали родной край, уезжали подальше от этой безнадежности.

А наш папа любил всем сердцем эти места, ему нравилось жить в единении с природой и со своей семьей. Он добился организации семейной школы и стал вместе с мамой обучать нас с первого класса по одиннадцатый. И хоть все в округе считают нас чужаками, нам нравится жить в Моршани, она стала для нас островом свободы и островом сокровищ одновременно, это наш вольный чудесный край. Здесь мы преодолеваем трудности с улыбкой и шутками, потому что если присмотреться хорошенько, то поймешь, что такая жизнь и есть настоящий рай.

Под высокой Моршанской горой есть плотина через реку Лядовку. Переехав ее, попадаешь в чужие места. И вот мы были уже далеко от дома, вот уже купола нашей родной церкви где-то вдали мелькали у горизонта маленькими голубыми пятнами.

Но даже отсюда было слышно, как воют кобели Пуся и Пася, жестоко запертые в котушке.

Телега тихонько тряслась, Руслан бежал, покачивая головой, а мы болтали ногами, разглядывая окрестности.

Папа смотрел на дорогу и разговаривал не то с нами, не то с самим собой.

— Дорожка великолепная! — рассуждал он. — О как конь летит! Орел! А чего же? Он не голодный. Я его заправил как следует! И зернеца вволю дал, и на отавке целую неделю кормил. Хомут ему теперь не бьет — я его подшил, суконку мягкую вставил. Поэтому он и прет нас, как танк. Он силен!

Поправив вожжи, папа добавил:

— Вот привезем яблочек разок-другой и будем обеспечены витаминами до зимы. А чего? Сейчас уже октябрь месяц. Этот месячишко закроем, и останется нам пустышка — один ноябрь. Картошка-моркошка у нас есть, лучок тоже есть, свеколка, тыква, кабачками вообще вон половину терраски завалили. Теперь всю осень кабачковую икру будем гонять да яблочки поедывать. Их, правда, еще привезти надо. Кто его знает, может, там вообще ничего нет. Так что мы загадывать не будем: сколько привезем, столько и привезем — да, ребят? Жернов муку покажет.

До Кулевчинского сада можно доехать либо по асфальтовой дороге мимо сел, либо Таборами — там, где раньше останавливались цыганские таборы, то есть полевыми дорогами. Нам, детям, конечно же, нравится первый вариант, потому что мы любим считать машины, смотреть на дома и людей. Другое дело — тополя да поля, тополя да поля... Скука! И мы, естественно, очень обрадовались, когда папа повернул на асфальт.

Тут нас догнали наши верные собаки. У них лапы были по колено в земле и даже во рту была земля, это явно указывало на то, что они совершили дерзкий побег из котуха, прорыв под дверью ход. Собаки радостно глядели на нас и тут же принялись за свое любимое дело: стали лаять на автомобили, мотоциклы и людей.

Асфальтовая дорога представляет собой высокую насыпь, это единственная магистраль, что соединяет окрестные села с районным центром Инжавино, где есть больница, администрация, большие магазины, нормальный рынок. Поэтому все стремятся попасть в Инжавино: сделать какие-то свои дела, что-то оттуда привезти. А грузовики направляются по асфальту с урожаем.

Они то и дело проносились мимо нас с пшеницей да со свеклой, роняя их из кузова на каждом ухабе. А ухабов на дороге хватает. Ее с советских времен никто капитально не ремонтировал, а заплаточный ремонт даже штаны не спасает, не то что дорогу.

— Блин, несется на бешеной скорости! — говорил папа, резко дергая Руслана к самой обочине, когда на нас мчалась очередная машина. — Пьяный он, что ли? В дрезину пьяный! Никогда больше тут не поеду. Детьми рисковать... Не надо было сюда поворачивать, ехали бы и ехали по полям тихонько. А на этих дорогах каждый день дают людей, как котов. Тут надо всегда быть начеку. Иначе моментально жизни лишишься! Поэтому я действую по принципу: береженого Бог бережет. Уезжаю подалее в сторонку от всяких дураков.

Так, долго ли, коротко ли, добрались мы до Кулевчи. Подъехали к магазину. Папа зашел туда и через пять минут вышел с колбасой, мешком конфет «Раковые шейки», макаронами, селедкой и хлебом. До сада оставалась пара километров. Пока Руслан туда добежал, мы съели всю колбасу и полпакета конфет. Остальные «Раковые шейки» были распишаны по карманам.

Кулевчинский сад очень большой, он состоит из множества участков, на которых растут яблони всяких сортов. Давно уже сняли здесь охрану, урожай обобрали и увезли на машинах в города. А местному населению осталось, как обычно, собирать с земли падалицу. Что крестьяне всегда и делают.

Между деревьев ковыляла бабка с палкой, за собой она катила деревянную тележку. В тележке стоял полный мешок яблок. Бабка катила его, как рикша богатого господина.

— Ищут люди! — сказал папа. — Значит, где-то яблоки есть.

Мы проехали четыре участка и ничего не нашли, кроме следов коровьих копыт. Все подчистили кулевчинские буренки, которых пасут в лугах поблизости. Животные не дураки: даже гнилые яблоки куда вкуснее сухой травы.

Где нашла яблоки та бабка, было загадкой.

Но дело в том, что рядом с молодым садом есть заброшенный сад. Это такой же плодопитомник, только старый. За ним никто уже не следит, ветки не опиливает, стволы не красит, траву не косит. Там одни репейники выше человеческого роста.

И мы решили там поискать свое счастье. Взяли с телеги ведра и пошли продира́ться через сухостой и валежник.

Кое-где тут лежали красные яблочки. И мы кинулись собирать все подряд: яблоки с гнилью и червоточинками, помятые, маленькие неказистые яблочки, дряблые сморщенные яблоки, в которых не было ни сочности, ни сладости, как будто поролон вместо мякоти. Набрали аж два мешка такого богатства... А затем решили поискать что-нибудь получше.

— Ребята, вы где? — кричал нам папа от дороги.

— Тут! — отвечали мы изда́лека.

— Далеко не уходите!

— Хорошо! — обещали мы и продолжали идти, пока в глубине сада не обнаружили осыпные яблони. Сочные, крепкие плоды молодцевато лоснились на ветках, наклоня их до самого пола.

— Пап, тут страшно много яблок! — крикнул Петя.

Лиза тут же разделила на всех нас роли, пользуясь статусом старшей сестры:

— Паш, ты иди за мешками. Я буду трясти, потому что я самая сильная, а вы собирайте.

Так и поступили. Паша убежала к папе за мешками, Лиза забралась на дерево и изо всех сил качала его. А я, Варя и Петя ползали внизу и, не боясь яблочного града, наполняли ведра. Пару раз шмякнуло по голове мне, пару раз попало и Варе. А Петя решил надеть на себя ведро то ли для смеха, то ли от ударов и сказал:

— Я ливонец!

Ему тут же угодило яблоко по ведру, и оно зазвенело, как колокол.

Больше Петя ведро не надевал.

Мешки, которые принесла Паша, мы очень быстро набили свежими яблоками с еще зелеными листочками на черешках.

Поняв, что мы застряли надолго, папа приехал к нам на телеге. Распряг Руслана, насыпал перед ним яблок и пошел помогать нам. Поскольку третьего ведра не было, папа собирал себе в шапку, а затем из шапки ссыпал в мешок.

Руслан жевал яблоки и с интересом смотрел на нас. Выглядел он очень смешно: гриву облепили репы, кудлатая челка торчала вверх, словно у коня на голове побывала выхухоль.

Мы вывалили на землю первые два мешка порченных яблок и наполнили их заново хорошими яблоками, завязали все мешки кусками проволоки и аккуратно прислонили на телеге друг к дружке, как книги на полке. Папа тем временем вычистил хвост и гриву Руслана от репьев, и мы отравились восвояси.

Несмотря на неурожайный год, как это ни странно, мы первый раз везли так много яблок. Папа сел на одном из передних мешков, чтобы править Русланом, а мы устроились позади него тоже на яблоках.

Штаны нам сжимали репы, их колючки через ткань царапали ноги, куртки порвались о ветки, волосы растрепались, и мы приглаживали их ладонями, липкими от яблочного сока.

— Ну как, ребят, не зря мы сюда съездили? — спросил папа. — Я рад невозможно! Ты что — столько мешков наворотить! Попробуй! У меня в семье много ртов. Никаких денег не хватит обеспечивать едой. Да и что там покупать, в этих магазинах? В них одна отрова продается. Вот я поел этой колбасы дурачьей, и меня аж рвать тянет. А фрукты есть фрукты! Дайте мне пару яблок, — попросил он, помахивая вожжами.

Мы развязали мешок, дали ему яблок и себе взяли.

— Так, где эти два друга? — спросил папа про Пусю и Пасю, которые в глубине сада ковырялись в норах, пытаясь выскрести оттуда мышей.

Услышав наши удаляющиеся голоса, они кинулись догонять телегу.

— Ребят, а ребят, вы довольны? — спросил папа.

— Ага! — отвечали мы, собирая репы со штанов в шарики и кидаясь этими шариками друг в друга.

— А вы боялись, что мы не наберем! — сказал папа, обернувшись к нам, и сердито крикнул: — Хватит озоровать! Вер, застегни куртку на пуговицы. И рукава поправь. Варь, где твоя шапка? Надень щас же головной убор, не лето! Распоясалась! Застудишь уши, тут в поле ветра вон какие. Нам красоваться не перед кем. Красота — это здоровье, запомните раз и навсегда. Вон Паша сидит, она молодец, она отца слушается — теплую шапочку надела, и как хорошо!

Впереди затархтела старая «нива», похожая на большой и пыльный сапог. На ней ездил николинский мужик, которого мы часто видели в нашей церкви. Папа махнул ему рукой, и машина притормозила.

— Привет! Слушай, здесь ничего нету! — сказал папа, показывая кнутом на молодые сады. — Ты по старым садам проедься, там красных навалом, вон мы сколько нашатали.

— А я, Юрий Петрович, не ворую! — сказал мужик гордо, будто не то, что он не ворует, было главным, а то, что в этом он лучше нас. Словно он этим похвастаться хотел.

— Да я тоже не ворую! Старые сады никогда не охраняют...

— Охрана тут ни при чем! — ответил мужик. — Это ведь не твои яблони? Не твои. Значит, они чужие. А чужое брать нехорошо, это грех.

— Да что ты плетешь? Но, пошел, Руслан! Даже слушать эту ахи-нею не хочу! — рассердился папа. — По его мнению, яблоки лучше пусть сгниют, чем их мои дети съедят. Для чего же тогда эти сады сажали?!

Руслан выбежал из сада, и мы поехали домой.

И вот отправились мы назад Таборами, по тихим полевым дорогам, где-то гладким и ровным, где-то в рытвинах и лужах, где-то заросшим травой.

Справа от дороги мелькали тополевые посадки. Ветер, словно Соловей-разбойник, качал их верхушки, собирая золотую дань. И сыпались желтые листья, точно монеты, вниз.

Дальше была посадка из дубов, дубы могучие, сильные, как богатыри. Мускулы через кору так и выпирают. Встало это грозное войско плечом к плечу землю русскую охранять.

За дубами мелькали березки — русские красавицы в цветастых са-  
рафанах, сами белокожие, а ветви отрасли, как косы, до пола.

Рядом раскидистые клены стояли, они как огромные жар-птицы —  
яркие, пышные, переливаются на солнце огненным своим оперением.

Сказочно красива русская природа осенью!

Папа был весел и, сидя на мешках, набитых яблоками, радостно на-  
певал:

— Тары-бары-растобары!

Через какое-то время решили мы подсократить дорогу и попали на  
перепаханное поле. Пришлось возвращаться назад. Это отняло массу  
времени, не говоря уже о том, что Руслан и так выбился из сил, а до дома  
было еще очень далеко. И хотя солнышко пока мягко светило, но вечер  
неумолимо приближался, и наше беспокойство росло так же быстро, как  
собственные тени.

И уже каждая преодоленная посадка казалась нам победой. Папе не  
нравилось, что Руслан постоянно переходит на шаг, и он принялся разго-  
нять жеребца. Вообще главная папина особенность в том, что он никогда  
не бьет коня, но усиленно ругает его.

— Эй, ты чего остановился, хитрец?! А ну давай пошевеливайся! —  
кричал папа.

Руслан пробежал несколько метров и опять шел.

— Да что ты тянешь резину? — возмутился папа. — Ты будешь нас  
везти или нет?! Ну оправься, оправься. Пусть из тебя вся эта зеленка вы-  
йдет. Надо было сухим сеном тебя кормить, чтоб у тебя живот не болел.

Руслан, навалив кучу на дорогу, невозмутимо двинулся шагом.

— Ты чего у меня плетешься, как стеленная корова? Я тя щас раско-  
чегарю! — сказал папа, спрыгнул с телеги и побежал за Русланом, будто  
бы собираясь его ударить палкой по морде.

Руслан сразу же пустился наутек.

— А! Боишься! — засмеялся папа, прыгая в телегу.

Вскоре Руслан опять замедлил ход.

— Ну-ка, Петь, пробежись, разгони его! Он мудрец еще тот! — по-  
просил папа Петю, вручив ему хворостинку.

— Хэ, Руслан! Хватит придуриваться! — крикнул Петя.

Руслан нехотя побежал трусцой.

— Беги-беги рядом! — сказал папа Пете. — А то он опять остано-  
вится. Помахивай, но не бей.

Петя недовольно бежал, пугая палочкой Руслана. Потом так бежала  
я, потом Паша.

Наконец Руслан перестал реагировать и на эти выходки.

— Ох ты и тунеядец! — сказал папа. — Я тебя как на убой кормил.  
А ты не едешь. Распузатился. Ребят, слезьте, не видите, коню тяжело.  
Он же тоже не железный. Воз вон какой тяжелый. С тонну. И телега не  
меньше тонны весит. И в нас килограмм триста.

Мы слезли с телеги и побрели следом. Хотелось покушать что-  
нибудь, кроме яблок, и голод завел нас в дубы. Там мы набрали желу-



дей. Но их плоды оказались твердыми как камень и злодейски горькими. Мы выкинули их и побежали на поле с подсолнухами, нарвали больших шляпок и вернулись к папе. Он все сидел на мешках впереди телеги и почучал Руслана, у которого весь круп был в пене:

— Мы так с тобой до ночи будем ехать? Нас мать ждет, волнуется. И я за детей переживаю, а ты тут канителишься. Я же тебя не бью, я тебя по-человечески прошу, чтоб ты понял.

Руслан двигал ушами, прислушиваясь к папиной речи, но не ускорился, а, наоборот, остановился попить из лужи. Большая грязная лужа начала мелеть и таять, будто Аральское море.

— Ну хватит цедить! — крикнул папа. — Пей быстрее! Хорош нудистикой заниматься. Никак не напешься. Нам ехать надо, солнце вон заходит.

Руслан напился и тяжело двинулся вперед, булькая животом.

Так проехали мы еще несколько посадок.

Папа возмущенно спросил Руслана:

— Ну и долго ты так будешь плестись! Ты что, русский язык не понимаешь?

И затем повернулся к нам:

— Варь, сломай палочку побольше! Он кнута уже не боится. Вон ту толстую, ага!

Мы с Варей побежали в посадки ломать веточку, что росла из пня тополя. Она была очень гибкая и прочная. И как мы ее ни крутили, как ни прыгали на ней, не отламывалась. В итоге мы сорвали верхушку небольшой березки и, оципывая с нее листья, побежали к телеге.

Руслан ускорил шаг при виде такого грозного оружия. Мы радостно запрыгнули в телегу и только устроились поудобнее, как папа увидел поле со свеклой и распорядился:

— Ну-ка, нарвите ему свеколки! Тпру, стой! Мы его щас подкормим. Рвите-рвите еще. Сюда с краю бросайте. Потом и коровам дадим. Они тоже ее любят.

Папа бережно снял с Руслана узду, набрал охапку свеклы и протянул коню. Жеребец отгрызал по полсвеклы и с хрустом пережевывал. Мы в это время выкорчевывали из земли грязные скользкие клубни и таскали их в телегу. Передохнул Руслан, поел сладостей. А мы вытерли руки о траву и снова пошли за телегой.

И вот через какое-то время Руслан начал странно загибать голову в правую сторону, как будто его туда тянули. А телега подпрыгивала, как на кочках.

— Что стучит? — спросил папа. — Гляньте, там колесо не спустило?

И сам наклонился вниз.

— Едрена мать, спустило!

— Да, сдулось! — констатировал Петя.

— Чего же вы мне раньше не сказали? — спросил папа. — Вы же сзади шли!

— Мы не видели...

— «Не видели!»! Надо всегда смотреть, а не рот разевать. Вы не на базаре. Должны понимать, что дорога — это ответственное дело. Вовремя мы бы его накачали, да и все, а теперь камера прожевалась! Наверное...

Насос у нас был, и мы качали неистово, но колесо, естественно, сразу же пустело, как пустеет наш мизерный семейный бюджет, состоящий из маленьких детских пособий да папиной пенсии. Вот и заклеиваем этот бюджет возами яблок, тем, что растим в огороде, да молоком своих коров. А иначе и не выживешь. Сдуется денежное колесо, и даже на тетрадки для уроков не останется, не то что на одежду или обувь.

Помочь нам было некому. Трактористы пахали где-то вдалеке, по дороге никто не ехал, подступала ночь. Надо было, конечно, ощутить всю бедственность нашего положения: затерянные где-то в полях далеко от всяких селений дети с отцом остались со сдутым колесом посреди дороги и с возом яблок да замученным конем. А дома мама ждет. Телефона у нее нет, она просто время от времени выходит на улицу и прислушивается к лаю моршанских собак: может, они лают на нас?

Жизнь без трудностей как еда без соли — безвкусная. И если люди не встречают на своем пути естественных трудностей: кочек, грязи, луж, высоких гор, то они создают эти трудности искусственно, порой уродуя и калеча себя. Потому что препятствия и есть та самая соль, которая нужна нашей жизни, чтобы мы ощущали ее вкус. Везде искать одно удобство — это все равно что всю жизнь есть одни сладости. Организму они в таких количествах ни к чему. Как и нашей судьбе.

К проблемам надо относиться рационально и решать их. Поэтому папа распорядился раскрутить колесо. Для этого сбросили с телеги все мешки, поставили их рядом, принесли пенек из посадок. Папа и Петя без домкрата, руками, подняли заднюю часть телеги, а я, Лиза и Варя подкатали под телегу пенек. Когда колесо очутилось в подвешенном состоянии, его сняли, разъединили диски, вытащили камеру. Она была прожевана сразу в нескольких местах. Накачивать и клеить бесполезно. Да и клей мы с собой не возим.

И тут папа сказал нам:

— Ну-ка, нарвите травы побольше! Мы щас эту покрышку набьем, будет еще лучше катиться!

Мы побежали в посадки, нарвали там травы, натолкали ее в покрышку, затем прижали к ней два диска и крепко-накрепко скрутили их гайками. Поставили колесо обратно на ось. Вытащили пенек. Загрузили мешки на телегу. И на удивление, колесо не сминалось и здорово катилось по дороге. Снова поехали.

Мы были еще далеко от дома, но если встать на воз яблок во весь рост, то уже можно было увидеть вдали маленькую точку на горизонте — нашу церковь. Она придавала нам надежды, несмотря на то что солнце заходило и день таял, словно огарок свечи.

Руслан брел по дороге, тяжело дыша, а мы шли около телеги и спорили, сколько посадок нам еще надо проехать. Варя говорила, что пять,

а Лиза — что четыре. Очень хотелось быстрее оказаться у себя дома, в тепле, у натопленной печки, сытно поужинать и посмотреть телевизор.

Но с запада прямо на нас надвигались длинные темные тучи. Они были похожи на мешки, из которых вот-вот посыплются яблоки. Когда они приблизились, как-то быстро стемнело, точно Руслан хвостом махнул.

И сразу потихоньку начало накрапывать. Капли были мелкими, как пыль. Затем заморосило чаще, дождик заторопился, заговорил быстро-быстро, как цыганка на рынке. Мы, ежась, кутались в свои курточки, но дождик усиливался, шумел, кругом стало совсем мрачно и холодно, и наша одежда стала казаться нам тонкой, как бумага. Руслан двигался тяжело, с одышкой, колеса набирали грязь толстыми пластинами. Было жутко. Мы даже не видели, куда едем, и папа поминутно спрашивал:

— Ребят, мы по дороге едем или нет? Я ничего не вижу... Глядите, а то в овраг свалимся! Темень страшная!

Мы поминутно забегали вперед, щупали сырую грязную дорогу ладонями, чтобы не сбиться с пути.

Через какое-то время Лиза заметила впереди высокий черный силуэт. Мы долго гадали, что это такое. Издали он казался большим домом, а на самом деле это был соломенный скирд. Его соорудили рядом с дорогой. Мы побежали к нему, расковыряли в соломе ямки и сжались в них, как мышата.

Кругом была ночь, одиноко качались тополя...

Они уже не шелестели дружно зелеными кронами, то был холодный гуд оголенных веток. За шиворот нам сыпалась солома, а колени поливал дождь. И казалось, что мы на маленькой парусной лодке прибились во время шторма к какому-то скалистому острову посреди океана, что кругом высокие черные волны, холодный ливень бьет по лицу и разыгрывается в том море жуткая буря.

Но мы были вместе, и нам было не страшно.

Постепенно дождик затих, но ветер еще гнал рваные, как наши куртки, тучи. Мы вылезли из своих соломенных нор и быстрее двинулись домой. Дорога раскисла, было сыро и холодно, мы еле-еле добрались до Моршанской горы. Все подступы к ней развезло, вечером тут прошло стадо николинских коров и еще пастух проехал на тракторе. По его жутким колеям телега наша ехала, скосившись на бок. Два мешка свалились в грязь.

В итоге мы засели в одном жутком месте, где жижка буквально засосала колеса. Мы побежали назад в скирд, притащили оттуда в руках пучки соломы. Эту солому мы накидали в грязь, сняли с телеги опять все мешки, и только тогда Руслан вырвал телегу из топи.

Но, вертась в этой вязкой грязи, Руслан сломал оглоблю. Нам пришлось выломать задок телеги — проще говоря, одну из досок. И к этой доске прибить гвоздями два куска разломанной оглобли. Благо молоток и гвозди мы всегда с собой берем. Один Бог знает да еще мы, как тяжело в темноте забивать гвозди в пропаренную ветловую оглоблю.

После всех этих мучений мы подъехали вплотную к Моршанской горе. Руслан так запыхался и так устал, что едва перебирал ногами. Мы устали не меньше: все-таки протопали почти двадцать километров и половину их — по грязи и в темноте.

Честно, мы бы упали прямо тут же, если бы здесь были кровати и стоял наш дом. Но дома тут не было, и мы никуда не упали, а пошли на штурм этой злополучной горы.

Через силу Руслан тащил в гору телегу, а мы помогали ему, толкая ее вверх. Дорога на Моршанскую гору была ужасной, но объехать ее по траве было невозможно: сбоку справа и слева тоже вырыты колесами колеи. Они еще глубже, в них можно спрятаться, как в окопах. Там телегу сломать легче, чем проехать.

Когда Руслан взобрался на вершину, папа погладил его и сказал:

— Устал, дорогой? Я тоже устал. Нам чуть-чуть осталось. Домой приедем, ты отдохнешь.

И мы спустились вниз под гору, чтобы таскать на своих спинах яблоки. Двадцать пять мешков яблок мы выволокли наверх и поплелись дальше по дорогам Моршани.

Было уже очень поздно.

Где-то далеко в больших городах зажглись фонари, люди сидели в уютных квартирах, смотрели телевизор, ужинали, обсуждали свои дела, жаловались на погоду, на дождь и слякоть, что ботинки грязные, что осень холодная и что под ливнем трудно добираться домой с работы двадцать пять минут или даже два часа.

А мы были рады тому, что после десятичасовой поездки затащили на гору яблоки и дом был уже совсем рядом.

Мама давно ждала нас, а мы шли к ней. До дома еще было два километра, еще долго было идти, и вдруг папа охрипшим голосом крикнул в темноту:

— Оля! Мы едем!

И откуда-то издалека донеслось нам в ответ:

— Юра, я к вам иду!

Иногда мне кажется, что наша жизнь — как дорога за яблоками: где-то она хорошая, где-то потяжелее, а есть на ней и очень трудные, страшные места, такие как, например, Моршанская гора ночью в осеннюю пору, да еще после дождя.

И вот в таком трудном месте кто-то просто сдается — не потому, что пришло его время, а потому, что ему кажется, что некуда уже идти, что нет рядом такого человека, который может крикнуть «Я к тебе иду!» так, чтобы это звучало как «Я тебя люблю!».



Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

## ФОРМА МОЛЧАНИЯ

### Школа

Все комнаты окутаны таким  
Прозрачно-серым, бледно-пыльным светом,  
Как будто бы предметы только дым  
От панихиды по самим предметам.

На первом этаже хоронят труд,  
На третьем — алгебру и рисование,  
Там отпевают музыку, а тут  
Литературу и общественное знание.

Легко хоронят — горе не беда,  
Без слез — еще бы! — мальчики не плачут,  
Тем более что ведь не навсегда,  
Как думалось... Но бог судил иначе.

### Сверкание

Вот пылинки в луче (Демокрит и Левкипп знали, с чем их сравнить,  
Аристотель туда же),  
Вот сверкают себе, вот сияют, как всякий сакральный предмет...  
Символ встречи — разлука, присутствие — символ пропажи.

Выступает прославленный ордена Красной Звезды  
Дважды Краснознаменный ансамбль эриний,  
Символ песни и пляски, эмблема народной беды...  
Вот пылинки в луче, вот иголки в дожде, вот роса в паутине.

### Разговор в бистро

— Кто знает, не говорит.  
Кто говорит, не знает.  
— Поэт — исключение.  
— Знает и говорит?

- Не знает и не говорит.
- А столбики слов?
- Форма молчания.

## Мама

Когда она вышла из школы,  
уже темнело.  
Кончался декабрь, и ее попросили  
оформить новогоднюю стенгазету —  
она хорошо чертила  
и красиво писала буквы.  
Дойдя до ворот, она оглянулась  
и посмотрела наверх:  
два окна желтели на четвертом.  
Первый этаж светился.  
В тот день им выдали фотокарточку:  
двадцать две девочки,  
а в центре их единственная  
Адель Аркадьевна.  
Дома перед сном  
она взяла снимок  
и написала на обороте:  
«Счастье! Счастье! 28.ХІІ.1948».

\* \* \*

*Цвет небесный, синий цвет...*  
Н. Бараташвили

*Мой маленький креольчик...*  
А. Вертинский

А я бы выбрал серый и зеленый,  
Такой прозрачно-серый, не ненастный,  
Не пасмурный, а просто тихий, как бы  
До-солнечный, стоящий и плывущий  
Внутри и вдоль зеленых переходов  
От темного ночного до дневного,  
Как прибалтийский лес в конце июля,  
Где светятся дурман и колокольчик  
Сквозь полосы караковых стволов  
И бабочка, как маленький креольчик,  
Порхает-кружится, как песенка без слов.

**Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ**

**МАСКА**

Р а с с к а з

На Краснодарском заводе газовой аппаратуры, что, как прежде, стоит на улице Зиповской, хоть и не на самой уже окраине города, очень немногие вспомнили бы теперь Николая Ивановича Троня. А вот Фантомаса на «Газоаппарате» знал каждый.

Прозвище это прилепилось к нему вскоре после того, как до Кубанских полей добралось зеленоликое порождение французского кинематографа, сменив патриархальное «Здесь был Вася» на стенах, заборах и недоступных даже скалолазам отвесных пиках на волнующие каракули: «Фантомас».

Молва не сохранила имя заводского остролова, первым допустившего столь смелое сравнение, но пришлось оно Николаю Ивановичу точно впору.

Сам Тронь в кино отродясь не ходил и вряд ли сумел бы объяснить, кто его знаменитый тезка, но на «Фантомаса» не обижался. Он, впрочем, отзывался бы охотно и на любое другое к нему обращение.

Иностранец, шутили в механическом, трудился на единственном, пожалуй, на всем «Газоаппарате» заграничном станке. И конечно, французском.

В цех Фантомас приходил раньше всех, задолго до семи утра. Облачался один в холодной пустой раздевалке в заскорузлую, блестящую на промасленных сгибах робу. Шнуровал тщательно тяжелые ботинки с загнутыми «боеголовками» и заклепками по бокам. Проходил незамеченный сквозь пустые гулкие переходы, через сборку и гальванику, мимо остывших станков к себе в закуток.

Минуту-другую стоял молча, безо всякого выражения созерцая ржаво-зеленые останки громоздкого, дышащего окалиной и уайт-спиритом станка, рожденного в период между двумя мировыми войнами в славном городе Лионе и невесть какими путями нашедшего последнее пристанище в столице Кубани на улице Зиповской.



Вопреки почтенному возрасту и долгой многотрудной жизни, станок этот вполне справно ходил под седлом Фантомаса. Чарли Чаплин с его конвейером просто отдыхал бы рядом.

Да что он? Если бы сам Тейлор с его пресловутой системой выжимания пота рискнул ввести в своей далекой Америке нормы выработки, хронометрируя работу нашего Фантомаса, то, вероятнее всего, колыбелью пролетарской революции называли бы теперь не Питер, а какой-нибудь Красночикагск или Бостонград.

Но колесо истории завязло где-то в топких кубанских плавнях, далеко от подступов к берегам Дикого Запада. Естественный ход эволюции, таким образом, нарушен не был, и заокеанские братья по классу остались в счастливом неведении относительно того, сколько на самом деле пота можно выжать из одного только человека.

Соотечественникам, однако, Фантомас примером не служил тоже. Его давно уже не ставили резать горловины, гнуть патрубки или — еще чего! — точить колпаки для газовых баллонов.

Там, где хороший рабочий при норме, скажем, тысяча триста колпаков зарабатывал в месяц целковых триста пятьдесят — четыреста (деньги для семидесятых годов, замечу, немалые), Фантомас за день мог «настрогать» недельную норму, а через месяц завалить сборку деталями на месяц вперед.

И потому он снимал фаску...

Не найти в механическом, а пожалуй, и на всем заводе работы более дешевой, нудной и грязной. Берешь в руки длинную, около метра, трубку, черную, ржавую, всю в окалине и жирной смазке (с какой только помойки их привозили?), вставляешь в патрон, потом на небольшой скорости счищаешь всю эту дрянь, поднимая в воздух клубы пыли. Дальше две-три секунды снимается фаска, трубка летит в контейнер — и хватай, не зевай, следующую.

И так весь день при норме тысяча двести штук. Заработать на этой так называемой «технологической операции», на которую и ученика с сорокапятирублевой доплатой не загнать, можно в месяц рублей сто двадцать, как ни упираться. И при этом к концу смены наломаешься так, будто кайлом в забое махал. И лицо, как у шахтера, покрывается слоем жирной несмываемой копоти, а легкие, кажется, можно выкашлять кусками вместе с металлической пылью. Ни вытяжки тебе, ни вентиляции рядом...

Фантомас там зарабатывал до пятисот рублей. Станок его в незапамятные времена какой-то умник из заводского начальства предложил задвинуть с глаз долой между воротами и углом склада. Потом еще поставили перегородку, и Фантомас сделался почти невидим.

Иной раз его не встречали по нескольку дней. Временами о нем и вовсе забывали. Он существовал как бы на ином плане. Даже шум от его станка заглушали стоящие неподалеку два огромных монстра — автоматы, режущие трехметровые стальные цилиндры на горловины для газовых баллонов.



Лишь изредка Фантомас проносился по цеху своим циркульным шагом, с плоской, как доска, спиной, со сверкающими глазами на закопченном лице-маске. Непременно подхватывал, совсем, кажется, не сгибаясь и не сбавляя ходу, какую-нибудь гайку, пару гвоздиков от тары, ссыпал это молча на стол мастера и исчезал снова в полутемных заводских галереях.

Встретить его можно было разве еще в столовой.

В те времена нормальный заводской обед, состоящий из неперменного борща, какой-нибудь поджарки, компота и хлеба, стоил всего копеек пятьдесят. Плюс положенные механическому и гальваникам талоны на молоко за вредность.

Фантомас обедал всегда одинаково. Он неожиданно, ниоткуда вырастал в голове очереди перед кассой, молча протягивал талоны и вечные десять копеек — казалось, из году в год одной и той же потемневшей, затертой монеткой. Так же без единого слова забирал он с общего подноса десять кусков серого хлеба, выхватывал из ящика две поллитровки молока, шел в угол к своему столику, который обычно никто не занимал, садился спиной к залу.

Ел он недолго, но чинно, хотя стаканом никогда не пользовался, прихлебывал прямо из горлышка. Вставал, ровно задвигал стул, машинально, по многолетней привычке, смахивал несуществующий пот с черного лица, словно все еще крутился у своего станка, тихо выходил из столовой.

Если до конца перерыва оставалось еще какое-то время, Фантомас скоро, с отрешенным, как всегда, лицом пересекал заводской двор и заходил в инструментальный цех.

В заводе он водил дружбу лишь с одним человеком — Александрой Михайловной Смирновой, шлифовщицей лет пятидесяти, женщиной с красивым смуглым чеканным лицом и платиново-седыми волосами, забранными всегда в тугой пучок на затылке.

Она была довольно уже грузной, и в ней странным образом сочетались сразу плавность точных движений и ясно ощущаемая непоколебимость, будто резцы, которые она несравненно затачивала без малого тридцать лет, передали ей свою твердость и тускло-серебристый блеск.

Фантомас садился на край синей табуретки у ее станка, сидел молча, опустив плечи, смотрел сияющими глазами как бы сквозь нее, иногда улыбался вполрта.

— Ты бы хоть рассказал что, Коля, — просила она. — А то молчишь и молчишь. Что у тебя на уме?

Фантомас смущался, чуть заметно пожимал плечами, так же с полуулыбкой уходил, не прощаясь, не сказав ни слова.

«Зеленые» кубанцы, которых привозил вахтовый автобус, завидев его, выходящего из инструменталки, бывало, шутили.

— У Фантомаса любовь, — говорил Вова Мышь. — Теперь все, работы не жди. Кто фаску снимать будет?



— Он и будет, — отзывался Витя Рыжий по фамилии Красношапка, как и большинство молодняка, коротавший время на заводе до весеннего призыва. — Одно другому не помеха, — изрекал он и тут же принимался сообщать Вовке и всякому, кто в тот момент оказывался в ближнем кругу благодарных слушателей, незатейливые подробности своей приватной биографии, легко сводимые всего к трем обстоятельствам: где, кого и сколько раз.

Впрочем, богатая интимная жизнь Красношапки нимало не мешала его трудовым свершениям. Новое он схватывал на лету, «зубами». Любой станок осваивал с ходу, работал всегда с какой-то жадностью, азартом, даже лихо, при этом горланил, заглушая мотор, песни, курил без остановки и грыз семечки одновременно. Был он долговяз, прыщав, всегда растрепан и страшно прожорлив.

Еще ему везло. Большинство пацанов с вахты попадали сразу на сборку. А у конвейера на «Газоаппарате» известно какие заработки. Даже два грека из Майкопа — Жора Кряров и Гоша Курумиди, устроенные на завод кем-то из родственников, крутились посменно на электрокаре. Работы, конечно, смешная, но и деньги тоже никакие.

Рыжий попал в механический. Сначала патрубки гнул, а потом, когда запил вдруг армянин Костя с колпаков, а в цехе случился аврал, мастер сунул его на день-два на самый дорогой станок.

Руки у Красношапки росли как раз из нужного места, и к концу смены он так наострился, что стал постоянным Костиным сменщиком. А триста — триста пятьдесят рублей для семнадцатилетнего пацана...

Поэтому Рыжий был среди своих в авторитете и легко, особенно в обед, собирал вокруг себя публику.

— Откуда что берется? — разглагольствовал он как-то на раскаленной скамеечке, лениво покуривая и луца семечки. — Кроме хлеба ничего не жрет, а пашет, как комбайн «Дон», и по бабам шастает!

— Да брось, Рыжий, — сомневались греки. — Они же оба старые...

— Ага, старые! Вон шары у него как у волка светятся. — Рыжий хохотнул, кинул в пасть горсть крупных блестящих зерен. — Вот интересно мне знать: харя у него черная, а там как? — Он сплюнул кучей шелухи, сам себе ответил: — Нет! В этом его кайф! Он и весь черный, вроде негра!

Кое-кто неуверенно засмеялся. Полуденное солнце палило огнем. Стоячий воздух, густой от заводских запахов, стружкой застревал в горле.

Пора было возвращаться к работе.

И тут дверь инструментального открылась. На пороге показался Фантомас. Выглядел он слегка необычно, могло показаться, что даже улыбался. Степенно спустился он по трем ступеням и чужой семенящей походкой потрусил к цеху.

Рыжий выкатился ему навстречу.

— Ага! — завопил он радостно. — Что я говорил?! Уже управился? Десять минут, я засекал. — Он замахал друзьям. — Ну ты, Фантомас, даешь! А говорят, французы денег не берут. Чем это ты отоварился?

И Рыжий сунулся было заглянуть в большую картонную коробку в руках Троня.

Словно не замечая его, Фантомас прошел, не сворачивая, сквозь стайку приплясывающих пацанов, молча, все с той же нераспустившейся улыбкой на черном лице скрылся в боковых воротах цеха.

Через эти ворота обычно заезжали кары с заготовками, но Фантомасу так было удобней. Его закуток находился как раз справа от них, отгороженный от всего цеха высокой, метра в три с половиной, перегородкой, сваренной из старых батарей.

Рыжий разочарованно закурил, пропел фальцетом:

— Я готов целовать песок, по которому ты ходила... — и, кинув в широко раскрытый рот горсть семечек, пошел в цех.

Станичники лениво потянулись на сборку.

Николай Иванович Тронь, потомственный кубанский казак, родом из станицы Старовеличковской Тимашевского района, имел за душой чуть более сорока семи прожитых лет, два года из которых он провел в рабстве в Германии, однокомнатную квартиру на первом этаже почти в центре, рядом с улицей Красной, и взрослую дочь Оленьку, которая в этой квартире с ним и проживала и к которой он теперь, как, собственно, и каждый вечер, собирался.

Кончалась пятница, был день зарплаты. Отстояв в бухгалтерии, Николай Иванович вышел за проходную с пятьюстами двадцатью тремя рублями и восьмьюдесятью четырьмя копейками во внутреннем кармане чистой графитно-черной спецовки. Их у него было две одинаковых. В одной он приходил на завод, в другой работал.

Он сел в трамвай с разогретыми, несмотря на открытые окна, сиденьями и проехал почти весь город.

Вышел в центре. Пересек Красную, полнолудную даже в такую жару. Старым переулком, держась в тени сухих тополей, дошагал до своей пятиэтажки в глубине тесного зеленого двора.

Квартира была маленькая, но стараниями Троня выведена далеко за пределы своих скромных возможностей. Николай Иванович выровнял стены до полированной глади, сдвинул перегородки, увеличив кухню и чуть не вдвое расширив коридор, встроил в прихожей мебель и, воспользовавшись тем, что окна выходили на задний двор, сложил роскошную кирпичную лоджию с теплым деревянным полом и гигантским погребом-катакомбой, саморучно ее остеклил и закрыл узорчатой решеткой.

На прилежавшем к лоджии пяточке он разбил миниатюрный садик с пересеченным экзотическим ландшафтом и таким набором многообразной зелени, что соседи только диву давались, почитая в неразговорчивом Фантомасе по меньшей мере выдающегося кубанского садовода.

Квартиру эту он получил как отец-одиночка, при этом отстояв за станком больше двадцати лет. По сравнению со съемными углами, по которым они мыкались в прошлые годы, и даже с домиком старой молдаванки Шуры Тарасенко это было хорошо.



Николай Иванович вошел в подъезд. Не звоня, открыл дверь своим ключом. Дочь была дома одна, в своем самом нарядном платье, купленном ею в Новороссийске у «Березки»: зеленом, из легкого шелка, с затейливым геометрическим орнаментом. Тонкое лицо с чуть более смуглой, чем надо бы, кожей, светящиеся из глубины прозрачные светло-зеленые глаза, гибкая фигура. Настоящая кубанская красавица, может даже более заметная, чем была ее мать.

Тронь прошел в комнату. Вытащил деньги, все пятьсот двадцать три рубля восемьдесят четыре копейки. Положил в круглую хрустальную вазочку на столе, сел, приготовился помолчать.

Это был почти ритуал. Деньги Оленька любила самозабвенно, как ребенок любит игрушки, хотя тратила их легко. Казалось, перекаладывание с места на место, счет, само держание их в руках наполняли ее радостью и энергией.

Иногда радость эта выплескивалась и на Николая Ивановича.

Но в тот день что-то было не так. Оленька подержала в руках пухлую пачку десятирублевков, вяло, без азарта пересчитала, вставила веером в вазочку. Повздохала.

Николай Иванович забеспокоился, но промолчал. Ждал. Он привык ее слушаться. Оленька была умницей, училась в краевом музыкальном училище, чудно пела. Когда сочтет нужным, объяснит сама.

Наконец она заговорила. Как всегда прямо, без обиняков, глубоким, чуть низковатым голосом.

— Я тут замуж выхожу. Он скоро подойдет... — Вот тут она чуть замялась, подыскивая слова. — Ну сам понимаешь... В воскресенье к его родителям пойдем. Знакомиться.

— Ну... — выдавил Николай Иванович. — Значит, со мной раньше?

— Да нет! Какой ты, честное слово. И с тобой тоже... в воскресенье. Мы одни побыть хотим! Понимаешь?! Одни! — с нажимом продолжала Оленька. — Так надо!.. Я тебе сумку собрала, пойдешь сейчас к бабе Шуре Тарасенко, переночуешь две ночи. В воскресенье вернешься, со всеми и перезнакомишься.

Она сунула отцу сумку с какими-то вещами, щебеча, вытолкала его из квартиры. Он еще потоптался у двери, словно чего-то ожидая. Вышел медленно из подъезда.

Стоял южный октябрьский вечер. В тягучем воздухе на дне двора чуть вибрировала густая медовая взвесь, пропитывала желтым сухие листья, клеила к стене резные багровые тени. Было тихо, покойно.

Фантомас закинул за плечо матерчатую сумку и пешком отправился к Шуре Тарасенко.

Старуха жила в получасе ходьбы от центра, на косогоре у самого спуска к Кубани, в маленьком крепком домишке. Три окна его выходили на улицу, а гигантский двор с фруктовым садом и виноградником был общим еще с тремя большими богатыми домами, в которых жила ее бесчисленная родня. Дети от трех ее законных и гражданских браков, их дети, дети тех

детей, а также еще куча народа разной степени родства с Шурой и даже вовсе ей незнакомого.

Ей, в общем-то, было глубоко наплевать на них всех.

— Людей много, усих не узнаешь, — говорила она.

Сгорбленная почти до земли — непонятно было, как она вообще передвигается под таким углом, — Шура обладала ясным циничным умом, невероятно цепкой памятью и веселым, почти девичьим норовом. В округе она слыла колдовкой, хотя сама на такие слова здорово сердилась.

— Так, помогаю маленько, — шамкала она впалым беззубым ртом, и нос ее при этом едва не касался остренького, выдвинутого, как локоть, подбородка. — Так ведь отбою от окаянных нет! С утра, ровно мухи твои, роятся. То бабе помочь, то мужика выправить, хе-хе, — щурила она глазки, и без того невидимые в бесчисленных сухих складках. — Дохтур я. Народный, слухай сюды, целитель. Я ведь никого к себе не зазываю и денег, как иные, не беру. Так, что мне, многогрешной, подадут. А они: «Колдовка...»

И она потрясала загнутым суковатым посохом, сжимая его коричневой лапкой, и непонятно было, то ли клюка эта уже срослась с нею, то ли рука вытянулась так из широкого рукава ее невообразимого черного пальто, такого свободного, что казалось, ветер положит его на бесплотном пугале.

Мальчишки боялись ее жутко и даже в расшибец играли подальше от ее окон. Шуру это забавляло. По-настоящему она была привязана только к Фантомасу, сбежавшая жена которого вроде бы приходилась ей родней по одному из последних мужей.

— Ты, Коля, не убогий, — ворчала она. — Бог о тебе забыл. Ты — убавий. Всю жизнь у баб в рукаве...

Во время войны пятнадцатилетнего Колю Троня угнали на работу в Германию. Ни самой войны, ни завода в Баварии он не помнил — то есть совсем ничего, как не было тех двух лет, — сколько его поначалу, после возвращения, ни расспрашивали.

Память — все, что искорежило ее в те годы, — будто засмолили, как хищное насекомое, покрыв черной несдираемой коркой, лишив возможности жалить, но не убив совсем, а только обездвигив. И, вспучившись над смертельно опасным, инородным, Колино сознание сделалось искривленным, поневоле приняв очертания страха, и, заострившись, навсегда замерло, как останавливается в росте сломанный однажды саженец.

Никого из родни он дома не нашел. Ни родителей, ни четверых дядьев, ни сестры. Пустой дом недалеко от железнодорожной станции, вырубленный под корень на дрова сад...

Когда стал обустраиваться, вдруг оказалось, что он неплохой токарь. Руки, будто отдельно от него, споро делали всякую работу на стареньком станке при ремонтных мастерских. Тронь ходил вечно чумазый, молчал, как немой, в клуб по вечерам не заглядывал. Скоро его стали считать не то чтобы дурачком, а так — малость пришибленным.

Года через три его забрали в армию. Комиссия в Тимашевке признала его «годным к нестроевой». Но и вернувшись, он мало изменился, разве что заметил, что подростки за это время станичные невесты, при острой нехватке женихов, стали обращать внимание и на него.

И он женился. На молодой, здоровой, с дерзким живым умом, смуглой и своенравной красавице, беременной не от него, на пятом месяце. Скоро она без особого труда уговорила его продать дом и уехать в Краснодар.

Какое-то время они ютились за стеной у бабы Шуры, пока не родилась Оленька, полная копия матери. Тогда же Тронь устроился на работу на «Газоаппарат», а месяца через три остался один с младенцем на руках. Жена Галина однажды исчезла вместе с невеликими деньгами, вырученными за дом. Больше он ее никогда не видел.

Молдаванка, тогда уже древняя старуха, прошамкала:

— А наплевать и забыть! Детей в ограде богато, вырастим и эту...

И теперь Фантомас снова пришел в ее дом. Поставил аккуратно сумку с вещами. Присел молча, сдвинув ноги вместе, у края стола.

Шура подмигнула:

— Ну, не постарела?

Похихикала, сказала уже серьезно:

— Я, Коля, испуг у детей лечу. Порчу сниму, сглаз, чтоб постель не мочили... А у тебя, Коля, будто души нет. Это, Коля, не ко мне, это к Господу...

— Мне бы молочка, — попросил Фантомас. — Топленого...

— О-хо-хо. — Шура вынула из печки кувшин. — Я тебя давно жду. С утра млеть поставила. Знала, придешь.

Она достала суховатые мятные пряники, тающие во рту, стоит только глотнуть теплого, густого, с желтовато-коричневой корочкой молока, особенно любимого Фантомасом из ее печки.

— Если казак пьет молоко, вин вже не казак, вин козленок. — Поклевав носом, что должно было означать хихиканье, она прибавила, садясь напротив: — Сало вон у мэни, лучок, вино домашнее. А тэбе усе бы молочка с булочкой, та и на печку с дурочкой. Да кабы так...

Шура балакала, как говорят на Кубани, к тому же по-молдавански сильно смягчала «л», так что у нее выходило «сале, лючок».

Фантомас у края стола тянул молоко, откусывал, не кроша, от мятного пряника, смотрел куда-то через Шурино плечо, молчал. Мимо узких окон с короткими вышитыми занавесками проходили люди, можно было разобрать отдельные слова. В тесной беленой кухоньке было прохладно, безопасно.

Далеко на Красной громыхал трамвай. Если бы не рука с глиняной кружкой, казалось бы, что Фантомас заснул сидя.

Шура побренчала немного на древней семиструнной гитаре. Склонив на бок коричневую, как у мумии, голову, подтянула колки. Убрала инструмент на гвоздь.

— Не в голосе я. А ты не в духе. Где твоя душа? Сам потерял или украл кто? Бог один ведает, карты молчат. Может, немец в неволе забрал, а может, сам кому со страху отдал. Души нет, а страх остался. Ну кого тебе бояться? Вин, страх, як кукушка: усих из гнезда вытолкнет, сам один останется. Ты, Коля, особенный, ото всего волен. Ни спеси в тебе, ни зависти. Даже злобы на людей не держишь. Кабы не страх — святой! Глянь-ка вокруг: уси маются. Кто гонором, кто жадностью. Оттого и не рабы Божьи, что рабы кого-то внутри себя. Двум господам не послужишь. А у тебя ни в душе хозяина, ни над душой. Выходит, нет ее у тебя, страх один остался. Ты як та лошадь с телегой, да без кучера. Сначала Гала-вертихвостка погоняла, после Оленька... А як доихала, сошла и поводья кинула. Вот и стоишь, не зная, куда податься. Ничего тебе не надо...

— Надо. — Фантомас допил молоко, посидел еще. — Мне вот маску подарили. Как у штамповщиков.

Шура отмахнулась сухой лапкой:

— Знаю. Была у меня твоя... с завода. Говорили. Женился бы ты на ней, что ли. Все не один будешь...

— Ладно, — просто согласился Фантомас. — Я поплюю?

Остаток субботы и почти все воскресенье он проспал в закутке за печкой на узком топчане. Оленька за ним не пришла, а сам он идти домой не осмелился.

Шура с ним больше не говорила. Сварила чугунок борща и в воскресенье до вечера принимала посетителей — целительствовала.

Неделю Фантомас жил у нее, затемно уходя на завод и возвращаясь в седьмом часу.

На заводе скоро заметили перемену: он ходил все время в маске с толстым забралом из огнеупорного стекла, не снимал ее по целому дню. В столовой с чистым белым лицом его даже не узнали. Кто-то возмутился:

— Очередь для всех!

— Да это Фантомас, — успокоили сзади, из хвоста очереди. — Только без маски.

Посмеялись, потом забыли. Привыкли за пару дней к новому Трою. Он стал как будто веселей, еще быстрее крутился у станка, снимая бесконечную фаску, мелькал иногда в цехе, подняв с лица пластмассовый щиток.

Раз видели, как, припозднившись, он вышел из проходной вдвоем со Смирновой.

А в пятницу он умер.

Изнывающий от скуки Красношапка, работавший ту неделю во вторую смену, открыл накануне шкафчик Фантомаса. Вытащил из коробки маску и, уложив спецовку и ботинки как было, снова запер дверцу.

— Во поржем! — голый и в маске кривлялся он перед пацанами под горячим душем. — Чё он теперь делать станет?



Фантомас пришел утром около половины седьмого. Поздоровался с вахтером на проходной. Они считались земляками. Степан был из Тимашевска, раньше работал здесь же грузчиком на складе.

— Ранняя пташка, — сказал он, как всегда. — Кто первым встал, того и сало!

— Ну, — отозвался Фантомас и прошел в ворота, провожаемый несущимся из динамика ежеутренним:

Ой, да на Кубани зори ясны,  
Ой, да на Кубани вишни красны.  
Ой, да на Кубани под высоким небом  
Золотом горят хлеба...

Один в гулкой прохладной раздевалке с цементным полом, пронумерованными шкафчиками по периметру, с двумя дверями — одной в душ, другой на лестницу, — открыл щелкнувший замочек. Достал спецовку, ботинки. Не спеша переоделся.

Медленно, почти сладострастно вытащил картонную коробку, снял тугую крышку.

На дне на куске ветоши лежала выскобленная изнутри половинка желто-зеленой тыквы с вырезанными отверстиями для глаз и смеющимся ртом.

Какое-то время, не меняясь в лице, Фантомас смотрел на нее. Потом так же аккуратно закрыл коробку, задвинул ее на полку. Запер шкафчик.

Спустился в цех, прошел через тихую сборку, пустой, ярко освещенный гальванический участок, мимо сутулых, остывших за ночь станков к себе за загородку.

Слева от его «француза» на большом металлическом поддоне лежала рыжая гора грязно-ржавых заготовок, завезенных с вечера Жорой Курумиди. Справа блестел в ожидании готовых труб пустой замасленный ящик.

Фантомас включил станок, встал перед ним очень прямо, но к трубам не прикоснулся.

Тело его словно плотно, сверху донизу, спеленали внахлест тугими прозрачными бинтами — ни сойти с места, ни пошевелиться. Он вдруг ощутил, как ожила глубоко под кожей, внутри, ядовитая членистоногая тварь, зашевелилась, задвигала острыми челюстями, стала выдираться наружу.

Окостеневшая смола над нею пошла трещинами, вздыбилась, готовая вот-вот разлететься на неровные сухие куски.

И тогда на поверхности, над лопнувшей кожей появятся сначала длинные мерзкие усики, он еще помнил их. Зашевелятся, отыскивая его, и, учуяв, вызовут эту ненасытную гадину, столько лет запертую под черной коркой, отделенную от него маской несмываемой, въевшейся в поры копоты, сверкающим колесом лихорадочной, заместившей и саму жизнь работы.



А ведь в последние дни он и вовсе успокоился. Поверил, что можно укрыться, оставаться неузнанным, отгородившись толстым огнеупорным стеклом.

И вдруг он остался без защиты. Гольи́й, добела отмыты́й. И некуда бежать, не за что укрыться, пока выламывается на поверхность оживший, почувший добычу страх.

Оцепенело смотрел Фантомас на сияющий от скорости пустой патрон, пока тот не слился наконец в одну ослепительную точку, и точка эта стала расти, заполнила сначала глаза его, потом закуток со сварными ребристыми стенами, увеличилась скоро до цеха, завода, охватила холодным синеватым огнем темный утренний город, поднялась выше.

А следом безо всяких усилий вдруг приподнялся к высокому потолку и он. И обрадованно, с облегчением зависнув под серой балкой, увидел внизу себя, скрюченного неподвижно на полу у облупленной зеленой станины, обнявшего опору уже теплого, беспокойно гудящего механизма.

Выбравшаяся тварь копошилась рядом, двигала усами, еще не понимая, что уже нет его там, что лежит только сброшенное им пустое, ненужное больше ему самому тело, в котором он столько лет прятался, а теперь вот взлетел — и не добраться до него.

И так весело ему стало и легко, что захотелось подняться выше, сквозь серый бетонный потолок...

Но что-то еще мешало, не отпускало.

Скоро увидел он, как стал постепенно просыпаться, оживать утренний цех. Включили станки, засуетились люди.

Вот проехал, резко виляя, Кряров — его смена. Повез контейнер с алюминиевыми колпаками. Пришел мастер, говорит озабоченно с ремонтником Сережей Поповым.

Тронь отвлекся, спиной чувствуя неровный потолок, стараясь протолкнуться сквозь шершавые бетонные стыки.

Глянул снова вниз, увидел, что у подножия его включенного станка, рядом с неподвижным его телом стоит озадаченный грек, что-то кричит заглянувший Леша Новаковский с автоматов.

Быстро собралась небольшая толпа. Сбежались все, кто был в цехе. Мастер куда-то звонил, все стояли, чего-то ждали.

Забыли выключить его станок, и тот гудел...

Среди сгрудившихся голов показалась всклокоченная рыжая шевелюра. Растолкала всех, нависла над мертвым телом. Красношاپка что-то быстро и много говорил. Забавно было смотреть сверху, как он прыгает у станка, наступает в скользкий пустой поддон, с трудом остается на ногах.

Сначала слов было не разобрать, но едва Николай Иванович захотел, как тут же стал слышать все, о чем говорили внизу.

— Я же пошутил... я для смеха... Я правда вернуть хотел! — повторял Красношاپка и все гнулся из стороны в сторону и вперед длинным нескладным телом, размахивал худыми, в заусенцах, руками.

Он притащил ненужную теперь маску, положил зачем-то рядом с головой мертвого. Тихо спросил у Крярова:

— Он что — из-за этого, да?..

Николай Иванович видел, как мотается, приплясывает у его тела Рыжий и огромные ботинки топчут и топчут не замеченное никем, уже сдохшее, истекающее желтоватым соком насекомое, размазывая его по грязному цементному полу.

Вдруг что-то лопнуло. Показалось, что прямо в затылке. И Тронь легко прошел, все так же спиной вверх, сквозь плиты потолка и начал стремительно, хотя и не по прямой, набирать высоту.

Еще можно было, стоило лишь захотеть, увидеть всех: и Оленьку, и Шуру Тарасенко, и Сашеньку Смирнову, взявшую сегодня больничный и пока не знавшую, что Николай Иванович умер. Даже Галину, которую не видел девятнадцать лет. Он знал, что мог бы взглянуть и на мать с отцом, вспомнить давно забытое лицо старшей сестры и чужой, огромный, холодный цех.

Он сам — худой подросток в робе. Глаза в землю — и бегом вдоль стены с длинным неподъемным ящиком, который никак нельзя уронить, пусть лучше руки оторвутся. Крошатся от напряжения зубы, он спешит так, словно сама Беззубая гонится за ним, — и бегство это длится всю жизнь.

И вот ему больше не страшно...

Но отчето-то не хотелось ни видеть, ни вспоминать. Все то было неважно, или, скорее, он и так видел и знал все, не глядя ни на что и совсем не думая ни о чем.

Он поднялся выше над недопроявленным в утренних сумерках городом, над просыпающейся землей. Взмыл ошеломляюще быстро в теплую бархатисто-черную бездну, почему-то совсем без звезд, но звезды словно рассыпались в ней почти невидимой плотной пылью, заставив бесконечную тьму сиять тончайшим золотистым мерцанием.

Он стал подниматься быстрее, теперь почти вертикально. Скорость нарастала непереносимо сладко, и так же стремительно он уменьшался сам, уже в точку, меньше атомного ядра, и, когда меньше уже ничего в мире не оставалось, он обратился в ничто. Его охватило блаженное смятение, но движение на этом не остановилось. Просто он больше не летел вверх.

Это сияющая, теплая, исполненная золотой умиротворенности пустота сама с непостижимой скоростью разлеталась изнутри него во все стороны, и он был в каждой ее пылинке, сам все продолжая сжиматься, становиться меньше — меньше, чем ничто, — и это длилось вечность, и он в ней был...



Александра МАЛЫГИНА

## ЗАГОВОР ТЕНЕЙ

\* \* \*

Укрой меня за пазухой, Христос,  
Мои пороховницы опустели,  
И кажется, что все наперекос —  
И жизнь, и цели.

Укрой меня от горя и от зла,  
От жизни от зарплаты до зарплаты.  
Вдохни и выдохни, на миг закрой глаза,  
Забудь, где спрятал.

\* \* \*

Байкал. Паром.  
Мы кормим чаек.  
И даже тот, кто у руля,  
Наверняка не замечает,  
Что осень ближе, чем земля.  
Ольхон в туманной дымке бледной,  
На нем всегда теплей в разы,  
Но лето отблеском последним  
Дрожит на крыльях стрекозы.  
Еще не знаю, что навечно  
В душе застынет этот свет:  
Паром, и чайки, и, конечно,  
Тот незначительный момент,  
Где солнце над водой высоко  
И я, владычицей морской,  
Твою щетинистую щеку  
Целую с теплою тоской.



\* \* \*

Детство юркою ящеркой выскользнет прямо из рук,  
 В придорожной траве растворится — и не было вроде,  
 Только долгие-долгие сосны шагают вокруг,  
 Заключая тебя в именованном глухом хороводе:  
 Выбирай, кого любишь, дорогу себе выбирай,  
 Привыкай расставаться навеки с едва обретенным.  
 Каравай, каравай, каравай, каравай, каравай —  
 От повторов становится слово сухим и соленым.

\* \* \*

Белый иней, мокрый хворост,  
 Злых снежинок вьется свора —  
 Лезет в мокрые глаза,  
 Лучше б летняя гроза...  
 Ты мне пишешь или снишься,  
 Словно снег, в глазах толпишься:  
 «Тише, Санечка, не плачь,  
 Я согрею, я горяч».  
 Я молчу, наверно, верю,  
 Над костром из писем грею  
 Рук озябших лепестки —  
 Жгу тетрадные листки.  
 В сердце холод, в небе пепел,  
 Мир морозен, бел и светел.  
 Душу за тепло отдам.  
 Грош цена твоим словам.

\* \* \*

Гиацинты, тюльпаны, анютины глазки —  
 каждый год я высаживаю цветы  
 в мае.  
 Каждый апрель кто-то выдергивает все подчистую,  
 не со зла, по незнанию, хотят как лучше.  
 Благими намерениями...  
 Ничего, я снова приеду, выкопаю ямку,  
 залью водой, высажу  
 бархатцы, петунии, все те же анютины глазки,  
 присыплю землей, похлопаю сверху, полью  
 и уеду.

Зачем эти три сотни километров между нами?  
Я посадила яблоню,  
я посадила лиственницу,  
я посажу дуб, я посажу кедр, я посажу березу...  
Уместить бы все это на двух квадратных метрах.  
Георгины, гортензии, лютики, васильки —  
сколько цветов у нас впереди?  
А хочешь, я посажу тебе землянику,  
крупнее и слаще которой не будет?

\* \* \*

Когда мы крепко засыпали  
в цветочном ситце простыней,  
в пророчество беды сплетались  
на стенах линии теней,  
фонарный свет скользил по шторе,  
но до утра качало нас  
постели ситцевое море,  
открыть не позволяя глаз.  
А может быть, проснись я ночью,  
всмотрись в тот заговор теней,  
мне б стал понятен смысл пророчеств  
и путь к спасению ясней.



Нина ТУРИЦЫНА

## БЮРО ГЕРОИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Р а с с к а з

### 1.

— Ты заставляешь себя ждать! — требовательно позвал недовольный голос.

— Бегу! — Зина схватила поднос с кофе и поспешила в кабинет.

Ираида Павловна сидела на своем обычном месте — за небольшим компьютерным столом — и стучала по клавишам. Зина остановилась на пороге, приняла строгий вид и, как бы оправдываясь, озабоченно произнесла:

— Только собралась кофе налить, а тут как завоет сирена...

— Что ты врешь, ей-богу! Какая сирена?

— Да истинно! Не вру! На этой стороне не слышно. Поглядела в окно — а в школьный двор скорая въезжает!

— Ну хоть бы и так, тебе-то что?

— А там... Там такое!

— Да говори толком!

— Я и говорю — там такое! Какого-то парня вытащили, как ды- пленка на простыне разложили, а он вроде как и неживой, так мне показалось...

Но Ираида Павловна не дала Зине договорить. Тревога неприятно кольнула в сердце, заставила поспешить на кухню, тоже выглянуть в окно, как минуту назад это сделала Зина.

Длинного худенького парнишку, по виду старшеклассника, только что уложили на носилки и уже собирались задвигать их в машину.

У Ираиды Павловны к сорока пяти годам развилась ранняя даль- нозоркость, и одного взгляда ей хватило, чтобы определить, что мальчик на носилках — ее сын. Понимая, что может не успеть, она крикнула Зине:

— Беги! Задержи! Я сейчас, следом... — и кинулась за ключами к сумочке в своем кабинете, чтобы запереть за собою квартиру.

Она перепрыгивала через ступеньки, не став дожидаться лифта: третий этаж всего.



Выскочила во двор, и только тут, моментально промочив ноги, заметила, что она в домашних тапках; потом бежала вдоль школьного забора, нырнула в какую-то щель, чтобы сократить себе путь, но все равно не успела. Скорая уже уехала.

Задыхаясь, подбежала Зина. Они стояли вдвоем и смотрели машине вслед, пока чей-то голос не вернул Ираиду Павловну к действительности:

— Вы, дамочка, что-то хотели узнать?

Она обернулась и спросила в надежде, что обозналась:

— Как фамилия ученика и что с ним?

— Да вон на крыльце завуч стоит, у нее и узнавайте. А я человек маленький — вахтер.

Ираида Павловна махнула Зине рукой, чтобы она оставалась на месте, а сама поспешила к завучу. Та заметила встревоженную женщину и задержалась, поджидая.

— Кого увезли? — прохрипела Ираида Павловна.

— А вы, простите, кто?.. — начала было та, но потом смягчилась, глядя на бледное лицо подошедшей, и тихо произнесла: — Наш. Десятиклассник.

— Он живой? Что с ним?

— Живой, живой...

— А фамилия — Окаемов? Говорите же! Я — мать. — Она хотела еще что-то добавить, но в горле стоял ком. Вытолкнешь его — и вырвутся рыдания.

— Да, Окаемов, — подтвердила завуч и доверительно сообщила: — В двадцать первую увезли.

Ираида Павловна только коротко кивнула, повернулась и пошла, неловко хлябая тапками по лужам, оставшимся после вчерашнего дождя.

Зина стояла в стороне. Увидев, что про нее забыли, она сначала хотела придать лицу безразличное выражение, но передумала и придала сочувствующее.

Едва она вошла в квартиру, как услышала прежнее замечание:

— Ты заставляешь себя ждать!

Ираида Павловна стояла в прихожей готовая к выходу, в плаще, туфлях и раздраженно смотрела, как Зина неловко и долго переобувается.

— Значит, так. Доваришь суп, сделаешь жаркое. Лев Николаевич обедает сегодня дома. Ничего ему пока не говори. Поняла?

— Чего ж тут не понять.

— У меня на столе не прибирайся. Там все для работы. Я поехала к Владу.

— Документы...

— Молодец, что напомнила, — не меняя тона, перебила Ираида Павловна и пошла за паспортами — своим и сына.

— Счастлива там... — напутствовала ее Зина.

Ираида Павловна, уже нажимая кнопку лифта, не удержалась и прошипела почти беззвучно:

— Глупа.

## 2.

Зина не была домработницей, как можно было подумать по их с Ираидой разговору. Она приходилась хозяйке квартиры младшей сестрой, но в отличие от нее безнадежно застряла в глухом девичестве.

В детстве Ираида и Зинаида тоже не были особенно близки, в том числе и по возрасту: когда старшая окончила школу и поехала поступать в столичный (столицы республики) вуз, младшая только собиралась в первый класс. Но повезло ей меньше. Колхоз, а с ним и школа откровенно разваливались, учителя, не получавшие зарплаты, сбегали в город, знания получать было неоткуда: колхозную библиотеку любители и почитатели русской литературы растаскивали пачками по домам. Да что там книги — даже старомодную, облупленную и потертую мебель из правления и ту клали на тележки, самокаты и развозили по избам, а стулья, не стесняясь, несколько дней таскали на руках, пока не остались в бывших кабинетах лишь голые стены, стыдливо прикрытые плакатами советских времен. Картина разорения могла бы напомнить кому-то семнадцатый год, когда из барских усадеб тащили в крестьянские хатенки венецианские зеркала, обитые сафьяном кресла, пальмы в кадках и целые ворохи бархата и кружев, только старожилы таких в деревне не осталось, да и добыча нынешняя была пародийно скудна.

Сейчас Зина осталась в пустой квартире и облегченно вздохнула.

Она не очень поняла, что заставило Ираиду так торопливо собраться. Ну заболел мальчонка, так ведь не брошенный — врачи, чай, представлены. Владик, он вообще малахольный. А ей теперь главная забота — хороший обед: хозяин скоро должен явиться. Льва Николаевича Зина побаивается, хотя он никогда не ругает ее, не то что сестра. Просто вид у него такой важный, аж внутри все холодеет, и взгляд сам собой упирается в пол. Его, кажись, и сама Ираида до сих пор побаивается, только вида не подает. Еще с тех времен, когда был он Ириным преподавателем, а она — его любимой студенткой, а потом и просто любимой, только после смерти его первой жены ставшей законной супругой. Во всяком случае, будь она на месте Иры, она бы точно боялась такого мужа: во-первых, он с таким званием и старше нее, во-вторых, он такой важный, а главное, он все же ее бывший учитель. Вот она, например, до сих пор с почтением здоровается, приезжая в деревню, со своими старыми учителями, а когда они приветливо говорят ей, что она совсем не изменилась, она сомневается, похвала ли это: ведь тогда, в школе, она была некрасивой, бедно одетой девочкой, к тому же вечной троечницей.

Сестру Лев Николаевич называет не Ирой, как всегда у них в семье звали, а как-то чудно, по-импортному — Идой. Да и сам на вид весь какой-то иностранный, вечно на каких-то «синпозимах» в таких местах, что и названия не выговоришь. Зину он называет на «вы». Вежливый, культурный. Образцовый семьянин и пример студентам.

Владик как не его сын. Зинаида ему тетя родная, а он ей «тыкает», хоть и моложе нее в два раза.





Лев Николаевич явился чем-то озабоченный и не сразу заметил, что жены нет дома.

Он вытащил из портфеля папку с бумагами и теперь раскладывал их на большом столе, стоящем в гостиной. Зина выглянула из кухни и сразу определила, что лучше помалкивать и не мешать, пока сам не спросит.

Плохо только, что эдак и обед перестойт.

И тут раздался телефонный звонок.

— Зина! Возьмите трубку. Меня нет.

Ну прямо партизанский отряд! Сплошная конспирация!

— Алле. — Когда Зине поручают передать кому-нибудь сообщение или объявление, она всегда делает это с важностью, чувствуя себя в этот момент секретарем-референтом, а не кухаркой. — Алле! Квартира доцента Окамова. Вас слушают.

— Ты закончила? — довольно грубо оборвал ее знакомый голос. — Пришел Лева? Если пришел, срочно мне его к телефону!

И как прикажете отвечать? Для чужих, понятно, его нет. А для своих?

— Он сказал, что его нет... — начала было Зина, но Лев Николаевич, улыбнувшись бессмысленности ответа, уже отбирал у нее мягким движением трубку.

— Да. Ида, ты где? А что случилось?

Он покачнулся, схватился рукой за стену. В трубке что-то кричали с надрывом, и тогда он твердо сказал:

— А вот этого делать не надо. Нет, это не телефонный разговор. Бери такси — и домой. Здесь все обговорим.

Зина хотела спросить сначала насчет Владика, потом насчет сестры, наконец хоть насчет обеда, но взглянула на страшно побледневшее лицо Льва Николаевича и на цыпочках пошла в кухню.

Лев Николаевич тяжело опустился в кресло возле телефона и как будто задремал, закрыв глаза. Зина несколько раз выглядывала, а он все так и сидел, не меняя позы.

В дверь нетерпеливо позвонили. Раз, второй...

— Бегу! — бросилась Зина открывать.

На пороге стояла Ираида. Она посмотрела на сестру странным взглядом — диким и потухшим одновременно — и хрипло спросила:

— Где Лева?

— Задремал вроде...

— Что ты несешь! Кто спит в таких... в таких...

Она не договорила. У нее задрожали губы.

Лев Николаевич открыл глаза и с минуту смотрел на жену, как будто возвращаясь к действительности.

— Пойдем, — наконец произнес он глухим голосом.

Зина стояла на пороге кухни, желая спросить про обед, а заодно и узнать, что за волнующие новости привезла из больницы сестра, но супруги на нее даже не взглянули, затворяя за собой дверь кабинета.

И тогда Зина решила подслушивать. А что еще остается делать в таких случаях? Не умирать же от любопытства! Да и не чужая она им.

### 3.

— Я этого им так не оставлю! — Ираида старалась понизить голос, и поэтому речь ее больше напоминала шипение. — Отправляешь в школу здорового ребенка, а получаешь труп!

Зина так и охнула, но войти и переспросить не решилась.

— Какой точно диагноз? Причина смерти?

— Отравление. И знаешь, они подозревают... — Ираида что-то тихо прошептала, не разобрать.

— О боже! А я, старый дурак, забыл простое правило: не надейся на лучшее, а готовься к худшему... — Лев сделал паузу, — потому что всегда подтверждаются твои самые плохие подозрения.

— А ты что же, это подозревал?!

— Не исключал.

— Но если мы отдаем ребенка в элитарную школу, можем мы, по крайней мере, требовать от учителей...

— Да подожди ты требовать от учителей! Ты и не нюхала учительского труда. Ты только заучивала ленинские высказывания: «Мы поставим учителя на такую высоту...» А я прошел эту высоту — стул на стол и бели потолок в своем классе! Я прошел все это новаторство, все эти инновационные технологии. У одних почин «работаем без второгодников». У других — «работаем без двоечников»! Потом — «без троечников»! Так не бывает в жизни, но с тебя требуют отчет, чтобы не хуже, чем у других.

— Ах вот почему ты ушел из школы? Да, легче сидеть и писать труды по несуществующей науке!

— Благодаря мне ты пишешь труды по своей существующей науке!

— Где же твоя педагогика, если ты просмотрел единственного ребенка? Впрочем, — не удержалась Ираида от ядовитого замечания, — я преувеличиваю... То есть, наоборот, преуменьшаю.

Зина догадалась: это Ира про дочку Льва от первой жены. Догадалась, но не одобрила. Разве можно в такую минуту попреками донимать? Да и дочка эта Ираиде не мешала. Она выскочила замуж совсем юной, на первом курсе института, явно в пику отцу, который привел в дом, теперь уже официально, свою старую пассию, бывшую студентку, едва минул минимальный срок траура. «Скоропостижный» брак ее держался, однако, уже восемнадцать лет. Так удивительно созданное по необходимости или от безысходности оказывается прочней созданного по любви: может быть, оттого, что люди не ждут сверхъестественного счастья, а довольствуются тем, что есть.

Лев Николаевич не ответил на колкость. Под ним скрипнул диван, и Зина услышала Ирин встревоженный голос:

— Что с тобой? Тебе плохо?

— Не о том мы говорим.

Ираида помолчала и произнесла после вздоха:

— Господи, о чем теперь говорить! Владика нет!

Она заплакала.



- Когда будет готово заключение?  
— После вскрытия. Сегодня к вечеру или завтра утром.  
— Дай подумать... Его привезли в отделение токсикологии, так?  
— Да, и что?  
— А то, что не наркологии. А фамилию врача ты случайно не запомнила?  
— Зачем она мне? Какая-то совершенно незнакомая фамилия.  
— Значит, и человек нам неизвестный. Впрочем, в таких случаях лучше иметь дело с посторонними.  
— Случаях?  
— Не придирайся к словам. Я тоже переживаю, не меньше, чем ты!  
Причем обо всем сразу, и это очень тяжело.  
— На тебе лица нет. Я все же схожу за лекарством.  
Ираида пошла к двери.

#### 4.

— Зиночка, — обратилась она к сестре, — налей воды запить лекарство. Леве плохо.

Зина обомлела от необычного обращения.

— Сейчас... — заметалась по кухне. — Сейчас!

— Владик умер, — произнесла Ираида и поправила себя: — Погиб.

— Страсти какие! Такой молодой! Еще бы жить да жить...

Ираида взяла у нее из рук бокал с водой. «Решительно глупа!» — чуть не сказала вслух, направляясь к мужу.

Лев Николаевич открывал маленький сейф в нише рядом с компьютерным столом.

— Да-да, ты прав, — сразу поняла его Ираида Павловна. — Бери все. Надеюсь, хватит.

— Пойми, Ида, мало того, что это вообще ужасно, так еще и крайне не вовремя! Мне через месяц — шестьдесят. Нельзя давать им такой козырь, не то отправят на пенсию, да еще и с позором!

— Господи, о чем ты говоришь! — Но на всякий случай добавила, желая услышать контраргумент: — Кто посмеет?

— Ида, я кандидат наук. В наше время это не редкость. Да вот, читай! Ты забыла выключить компьютер. Твой же текст: «Само по себе происхождение не давало пропуска в высшее общество и не обеспечивало здесь никакого раз и навсегда данного положения, иначе дворянская семья не испытывала бы этих вечных тревожений по поводу светских отношений и не думала бы о том, “что станет говорить княгиня Марья Алексеевна”...»

— Всегда у тебя цитатка наготове. Кстати, у меня это тоже — цитата.

— Тем и живем! Собирайся. Поехали. Вечера нам ждать ни к чему.

Зинаида нерешительно постучала.

— Да, Зина, заходите. Вы как раз вовремя.



Ираида поджала губы. Владик умер не вовремя, зато Зинка явилась как нельзя кстати.

А та обрадовалась приглашению:

— Я ведь чё хотела... Вы обедать-то будете?

— Зина, мы уезжаем.

— Так тем более. В дороге проголодаетесь.

Лев Николаевич нерешительно сказал:

— Ну, если только по чашке чая...

Зина, обрадовавшись, побежала на кухню. Когда супруги вошли, их уже ждали две тарелки борща. Себе она налить постеснялась. Потом уж, после.

Но они даже не прикоснулись к обеду, только глотнули чаю.

Уже в дверях Лев Николаевич вспомнил:

— Если позвонят из института, скажите им, что я заскочил домой на минуту и тут же уехал. И больше вам ничего не известно.

— Поняла.

Но Ираида распорядилась точнее и жестче:

— Да вообще на звонки не отвечай. Дома нет никого.

— А если вам вдруг что понадобится?..

— Мы все взяли. Так ведь, Лева?

Он рассеянно кивнул.

## 5.

— Как ты? — участливо спросила Ираида Павловна.

Лев Николаевич удивленно взглянул на жену, но следующая ее фраза объяснила эту заботливость:

— Машину вести сможешь?

— Да.

Он медленно вырулил со двора. Ираида посмотрела на него, бледного, осунувшегося, и подбодрила:

— Повезло еще, что в токсикологию...

— «Никому в жизни так не подвезло»... Да не смотри на меня так. Я в своем уме. Вспомнил реферат, который в последнее время печатал для Владьки по истории. Ему тему дали — «Аджимушкой». Цитирую из дневника партизана, который там был.

— Опять цитируешь?

— «Нашел в катакомбе в брошенной шинели два сухаря. Жаль, что, когда плесень счищу, веса грамм на пять убавится...»

Ираида Павловна, с трудом сдерживаясь, выслушала этот короткий рассказ, а потом заявила безапелляционным тоном:

— Разговаривать буду я. Наедине. В таком деле свидетели не нужны, иначе он может и не согласиться — для него тоже ведь риск.

Когда подъехали, она взяла туго набитую сумочку, вышла из машины и, не оглядываясь, пошла к дверям.



Лев Николаевич посмотрел ей вслед, а потом откинулся на подголовник и закрыл глаза.

...Когда они упустили сына?

Вот он с Владиком в парке. Малыш капризничает, не хочет идти пешком, просится на руки. Лев поворачивается и уходит, а когда оглядывается, пройдя несколько шагов, — с ужасом видит, что сына нет. Начинает бегать по дорожкам, искать, и только громкий плач где-то в кустах помогает ему найти ребенка.

А вот Владик с букетом на линейке — поступает в первый класс. Все стоят, а он вдруг выходит из строя и протягивает цветы учительнице. Вид у него наивно-восторженный. Ему объясняют, что вручение букетов — после торжественной части, когда все пойдут по классам.

Ведь он тогда все рассказывал отцу, делился. Над ним даже посмеивались во дворе: «Девчонка!» Когда же он стал другим? В какой момент?

Не было такого момента! Или они его не заметили...

Однажды Лев Николаевич напрасно прождал сына возле школы, чтобы вести в кружок, а Владик, оправдываясь, рассказал, что у них был дополнительно «урок нравственности и духовности» и их классная руководительница объясняла, что надо быть добрыми, великодушными и еще — слово такое трудное, не сразу запомнил — толерантными. А в конце урока строго отчитала, развернув свои записи, тех, кто до сих пор не сдал деньги на нужды класса.

М-да... Невозможно научить тому, чего сам не знаешь. Невозможно внушить то, во что сам не веришь.

А в другой раз такой же дополнительный урок был посвящен борьбе с наркоманией. Раздали листочки-вопросники. На каждом — один вопрос: «Как ты относишься к наркотикам?» — и далее четыре варианта ответа: а) это — хороший стимулятор; б) в жизни надо все попробовать; в) отношусь резко отрицательно; г) затрудняюсь ответить, так как не имею своего опыта.

Все принялись что-то подчеркивать, вычеркивать, шепотом консультируясь друг с другом, и только одна девочка робко подняла руку и, смущаясь, спросила:

— А разве не один ответ должен быть?

Ответ и был один — дружный смех. Кто-то крикнул:

— Это при советском режиме ходили строем, а сейчас у нас демократия!

Потом школьный психолог предоставила слово школьному врачу, и та спрашивала, какие наркотики кто знает. Никто не знал, руку поднял только новенький по прозвищу Шама и уверенно стал перечислять:

— Мескалин — экстракт гриба пейота. Адренохром — экстракт из надпочечников человека. ЛСД... А еще обычные лекарства — например, сироп от кашля «Гликодин» или «Туссин плюс».

Все ребята с уважением посмотрели на знатока. Классная руководительница и психолог, чуть напуганные, переглянулись, а врач начала объяснять, что в человеческом организме вырабатываются

так называемые «гормоны радости» — эндорфины, и только когда настоящей, естественной радости у человека не хватает, он прибегает к искусственной так же, как диабетики прибегают к инсулину, а астматики — к преднизолону, и что это очень опасно, потому что организм перестает вырабатывать свои гормоны...

Но ребята слушали вяло, и тогда классный весельчак Толубеев с собачьим прозвищем Тобик подвел итог:

— И вообще — жить вредно!

Лекторы, однако, не имели права признавать свое поражение и, как за соломинку, схватились за привычную мысль о конкурсе:

— Ребята! Администрация объявляет конкурс рисунков и плакатов на тему борьбы с наркоманией.

— А призы будут?

— Будут, будут, — пришлось пообещать.

Такие нынче дети — ничего бесплатно делать не хотят.

И потянулись в учительскую постеры: то несчастный человечек пришпилен, как жук, иглой шприца; то другой несчастный вдыхает кокаин, а порошок, разлетаясь, посыпает его голову, как пепел...

Мысли ворочались, как тяжелые жернова, воспоминания налезали друг на друга. Лев Николаевич почувствовал, как у него начинает болеть голова, как быстро и беспорядочно бьется сердце. И так долго не возвращается Ида...

Когда-то, чуть не тридцать лет тому назад, он так же, почти ежедневно, ждал ее, сидя в своем тогдашнем «москвиче», отчитав свои двести лекции и с притворно равнодушным видом скользнув взглядом по расписанию ее первого курса, а когда она выбежала на крыльцо в стайке девчонок-однорупниц, чувствовал, что сердце готово выскочить от радости из груди и напрасно успокаивать его и уговаривать себя. Как только появлялась ее стройная легкая фигурка, увенчанная милой головкой с копной золотистых волос, он думал, что ради этой девушки готов на все, и только потом с отчаянием вспоминал, что счастье его ходит рядом с его же горем. Он знал, что жена никогда не даст ему развода, а идти на публичный скандал не хотел, или не мог, или боялся. Вставать каждое утро с единственной мыслью — встретиться с ней — стало его привычкой, потребностью, смыслом жизни, и, когда умерла жена, у него было чувство, что его выпустили на свободу, и одновременно — что он эту свободу не заслужил, не отсидел до конца положенного срока. Особенно сильно он это почувствовал, когда понял, что дочь стремительно стала отдаляться от него. Она даже поставила условием, чтобы его новая жена не приходила на ее скоропалительную свадьбу, больше похожую на бегство из отцовского дома.

И декан факультета, и коллеги не спешили поздравлять его с новым браком. Становилось очевидным, что из института, где он проработал столько лет, придется уйти, а на новом месте завоевывать все заново. Но тогда он был готов к этому.

И вот все кончилось. Все жертвы оказались напрасны.

## 6.

Наконец Ираида вышла, но не одна, а с какой-то женщиной, которую вела под руку: та едва переставляла ноги.

Лев Николаевич, однако, не стал выходить из машины, а ограничился тем, что дотянулся до правой дверцы и открыл ее для дамы. Она, ни слова не говоря, тяжело опустилась на сиденье и тут же залилась слезами. Ираида села сзади и нежно прикоснулась к ее плечу:

— Может быть, вам дать валериану или нитроглицерин? Вы доплачете до сердечного приступа, это я вам со всей ответственностью говорю.

— А ваша специальность? Я что-то не расслышала... — Дама задала этот вопрос с надеждой, как задают его хорошему врачу, и у Ираиды Павловны не хватило духа ее разочаровывать.

Она промолчала. Лев Николаевич, однако, ничего пока не понял и привычно сказал:

— Семиотика.

Заплаканная женщина схватилась за сердце и тихо произнесла:

— Ой, кого я только там не видела! Невротики, эпилептики... А эти... отики... болезнь или половое извращение?

Лев Николаевич отвернулся, чтоб она не увидела на его лице улыбку, неуместную и даже дикую в такой момент.

— Это по неврозам, — нашлась с ответом Ираида Павловна.

— Ой, как мне с вами повезло! Впервые за весь день! А то ведь никто слушать не хочет. Куда же мне с моим горем?..

Она как будто вспомнила, что ее слушателям ничего не известно, и пояснила:

— Дочка у меня отравилась. Несчастливая любовь, что ли... Сейчас еще узнала, что она беременна была. Двенадцать недель. Да беда, что неродная она мне, и мужу как все это рассказать? Он пока в командировке, до конца той недели... Шофер-дальнобойщик.

— О, как мне понятна ваша проблема... — начала было Ираида Павловна.

— Ой, и я сразу почувствовала, что только вы поймете!

Женщина перестала плакать и умоляюще посмотрела на Ираиду:

— Вот что хотите, сколько скажете! Только помогите!

— Как?

— Дайте любую справку! Муж мне не простит ее самоубийства. Ах, что она наделала, из-за кого, если б я знала... Даже если он не скажет, что это я довела, так будет поедом есть, что не спасла, не заметила. А она — все тишком. Эта ее тихость больше всего меня и пугала. Никогда не знаешь, чего от нее ждать...

— Послушайте, — наконец прервал ее Лев Николаевич, — справки пишет патологоанатом.

— Это который...

— Да-да, который в морге вскрывает.



— Значит, к нему?

Ираида кивнула мужу. Он понял, что ей удалось решить вопрос. Значит, и этой помогут.

— Попробуйте. Только лично от себя.

— Спасибо вам.

— Вы поняли? Никого не впутывать! Только личная просьба. Это необходимое условие, — еще раз твердо сказала Ираида Павловна.

Она вышла, открыла переднюю дверь и, выпустив женщину, села на ее место.

— А как удалось тебе?

— Ты же сам сказал: удачно привезли — в токсикологию.

— Это ты, по-моему, говорила.

## 7.

Хрупкий летящий свет горит по вечерам. Сумерки — самое пронзительное время суток, время тоски сердечной.

Ираида подошла к балконной двери и посмотрела вокруг, прежде чем ее закрыть. Только сегодня утром она выглядывала в этот двор, а как будто прошли дни, недели, месяцы...

Она повернулась к мужу и встретила его странный взгляд.

— О чем ты думаешь?

— В школе не догадуются?

— А им ни к чему догадываться, если они хотят спокойно жить.

— Да, ты права.

Не сразу люди понимают свои трагедии, нужно время, чтобы все осознать в полной мере.

Ираида почему-то вспомнила, как умер ее отец. Она тогда окончила первый курс, и они с матерью ездили заказывать гроб, венки, нанимали людей рыть могилу, потом устраивали поминки... И только через девять дней, немного освободившись от хлопот, она вытащила из сундучка альбом с фотографиями и стала смотреть на отца, каким его никогда не видела в своей жизни: на послевоенного выпускника семилетки, наивного и милого деревенского мальчугана; на серьезного студента плодоовощного техникума, на молодого агронома, гордого серьезностью возложенных на него задач. И тогда она зарыдала от невосполнимой потери и рыдала так целую неделю. Отцу было всего сорок шесть лет. Сердечный приступ прямо в поле.

Второклассница Зина посмотрела тогда на плачущую сестру и тоже начала подвывать, как маленький щенок.

А сейчас Зины не слышно, не видно. Скрылась где-нибудь в дальнем углу. Кстати, и кошки Марыси не видать — она тоже, едва почует в домашней атмосфере надвигающуюся грозу, тут же принимает свои, кошачьи, посильные меры: исчезает на время из поля зрения, залезает к себе на антресоли и не спускается даже поесть.



Ираида прошла на кухню и беспомощно огляделась по сторонам: где что искать? Хотела было крикнуть Зину, но вошедший следом Лев Николаевич удержал ее от этого шага:

— Не будем ее беспокоить. Позволь, я за тобой поухаживаю. Налью нашего «антигрустина». А закуску посмотри в холодильнике.

— Как ты можешь думать о выпивке в такую минуту!

— Как раз в такую и пьют. Не думая!

Он разлил по рюмкам. Ираида пригубила, не чокаясь, и спросила, словно возвращаясь к давно начатому разговору:

— Ты что-то намекал о своих подозрениях. Почему же я ничего не замечала?.. Я думала, он просто болеет. Чаще, чем обычно, но зима — холодная, весна — поздняя. Как же я не видела других причин! Но главное — он интеллигентный мальчик! Начитанный! Умный!

Лев Николаевич печально посмотрел на жену:

— Ты спрашиваешь, как соблазняют малых сих? Так соблазняли Софью Перовскую — кстати, тоже очень приличную поначалу барышню, из хорошей семьи, и есенинских сестер, тех, что «иконы сбрасывали с полки». Им говорили, что теперь-то они и станут избранными, передовыми! На это и покупаются.

— Но в наркотиках-то что передового?

— А что передового в легализованной проституции, в однополых браках? Однако европейские страны одна за другой подхватывают эту инициативу. Голландия, Дания, теперь Германия, Бельгия... Мы живем в искусственном мире, и радости у нас — искусственные. Прочитал сегодня в одном журнале: «Через два поколения мы станем нормальной европейской страной».

— Нормальной? Как Бельгия и Голландия?

— Легче объявить болезнь нормой, чем ее лечить.

— Как все грустно...

— А для этого у нас есть «антигрустин».

Ираида выпила еще. Голова у нее начинала кружиться, и она сказала, что пойдет спать.

Провалилась в тяжелый короткий сон, а проснувшись через час и поглядев на тихо лежащего рядом мужа, то ли спящего, то ли притворившегося таковым, с неожиданной злобой подумала, что у него-то есть дочь и внук — ровесник ее бедного Владика.

## 8.

Виктор Петрович пересчитывал два столь неожиданно свалившихся на него гонорара, и радость постепенно... угасала. Причина была банальна: почуяв деньги, мечты приобретали размах, выходили на новый уровень и для их воплощения суммы двух гонораров оказывалось недостаточно. Но ведь могут они быть и не последними, и не единственными! А вместо малоэстетичного отравления можно будет писать что-то более

благородное, даже героическое, и требовать соответствующее вознаграждение.

Виктор Петрович не был жадным. Скорее, он был скуповат. Ну а каким прикажете быть, если на хорошие гонорары могут рассчитывать хирурги, стоматологи, протезисты — те, чья помощь безусловно необходима. А кто такой патологоанатом? Чем он может помочь человеку, чей путь уже закончился?

Атеист, как большинство врачей, Виктор Петрович не верил в загробную жизнь. И не верил, что его более успешные коллеги, а среди них и бывшие однокурсники, действительно лечат такие недуги, как алкоголизм и наркомания. Как можно лечить то, что не является болезнью? В самом деле, это ведь не грипп — не хотел, а заболел. Никто пьяницам водку насильно в рот не льет.

Сам-то он не пьет, не курит, а денег все равно не хватает. А эти пропойцы готовы мать родную за стакан или дозу продать. За что же их жалеть? От чего же их лечить?

Господи, да теперь уже и убийц лечат. От убийств, что ли? В Америке какого-то людоеда-извращенца не посадили на электрический стул, а в силу особой изоциренности его преступлений отправили в больничку. Приучать к нормальной пище?

Виктор Петрович аж сплюнул, вспомнив статью об этом ублюдке. Но такому бы он не стал справку оформлять ни за какие коврижки. Совесть у него еще, слава богу, есть.

А сегодняшним? Тут другое. Тут убитые горем родители. Плюс к их горю — еще и позор? Нет, поистине, он сегодня выполнил гуманную миссию, не в чем, по большому счету, себя упрекать.

Виктор Петрович сложил деньги аккуратной стопочкой и завернул их в бумагу. Жене о них знать не обязательно.



Владимир ТИТОВ

**НОМО ВУЦЛА**

\* \* \*

паутинка на сетке оконной  
богословское лето в тиши  
затворяется зренью покорно  
малолетней души

дни молчат начинаются ливни  
ходит медленно небо в окне  
и осенний ложится и зимний  
свет на вещи вовне

и легко завершается личный  
ад событием простым  
и шуршат Августиновы листья  
водостоком пустым

\* \* \*

где мои улочки в одиноких  
районах центра  
кирпич завода  
закат тоскливый для тех немногих  
кто не на водах

где мои улочки то что мило  
когда-то было было когда-то  
девчонки стало быть  
чеслав милош  
глядит в окошко жиркомбината

в пыли последней в луче закатном  
в радости быстрой в пустом паденье  
солнца на стены все было правдой  
а стало тенью



\* \* \*

не свет а мотылек в котором меньше света  
чем в бабушкиной тьме не нужной никому  
не сходит со стекла ночного и за это  
ты плачешь перед ним и плачешься ему

за сажей сентября поломанные ветки —  
и прожито не так и прожили не те —  
и монастырский дождь осаживает ветхий  
и мягкотельный всплеск в стеклянном уголке

\* \* \*

как-нибудь оставайся  
в колючей своей темноте  
где созвездья не те  
опустевшие звезды не те

говорливые воды  
садов предвещают беду  
и стоит на виду  
нелюбовь твоя в темном саду

\* \* \*

у конфетной фабрики подышать  
детским дымом рюмки за полторы  
надыхаться вдоволь перемешать  
в снегопаде худенькие дворы

за горбом больничным спасти жену  
от развода покудова тишина  
навсегда обратившаяся в вину  
еще помнит что есть жена...

снегопад не схватишь за локотки  
не положишь голову на плечо  
и еще не плачешь но на пути  
у лучей Платоновых горячо

заверни в проулок под самый снег  
все не так бесспорно и все не то  
замирает в небе последний свет  
и фонарь мигает у ниито

\* \* \*

листья опали не ново не новое  
время проходит ребенок иной  
смотрит в пустое пространство дворовое  
в вязаной шапке цветной

дай заглянуть господин околесицы  
в осени хрупкой сухие ледки  
не вспоминая минувшие месяцы  
как бы ни были горьки

вот облака и собака и телится  
возле киоска уаз ментовской  
дяде по-прежнему в лучшее верится  
что же с такою тоской

все повторится и все образуется  
медленна жизнь словно белый ходок  
и безучастно приветствует улица  
тихой души холодок

\* \* \*

проживая непорядком  
в веке крепком и пустом  
за промасленным обрядом  
за ореховым постом

быть бы обер-камергером  
при царице смоляной  
и любить как кони ходят  
за высокою стеной

как летят раскинув полы  
по болотам мотыльки —  
золотой преображенный  
и семеновский полки...

а когда забаве долгой  
возвещается итог  
помнить смерть и бег счастливый  
на отравленный восток



\* \* \*

за рванью суетной за всем  
что вынося из подворотен  
дождь смахивает к полосе  
плешивой зелени напротив

и как русалки Сен-Желе  
жизнь окончанием тревожа  
восходит ветер на дворе  
судьбы непрожитой но все же

и нам еще как детворе  
хлбьщут вывески льняные  
в том ярмарочном сентябре  
где мы иные

\* \* \*

Goltzius, Homo bulla

жизнь которая осталась  
жизнь которая была  
чем тебе тогда казалась  
эта вздорная усталость  
эта участь в три угла

ветер вздернет занавеску  
догниет на солнце лук  
ветер выдернет как вешку  
рюмку белую из рук

хорошо на этом свете  
жить и помнить о конце  
на гравюре в черном цвете  
пузыри пускает мальчик  
пузыри пускает мальчик  
без мученья на лице



**Кондратий УРМАНОВ**

## **МОЙ ДНЕВНИК**

**К истории дорожного дневника 1926 года**

**К. Н. Урманова**

В Городском Центре истории Новосибирской книги имени Н. П. Литвинова хранится коллекция рукописей, документов и фотографий сибирского прозаика Кондратия Никифоровича Урманова. Первые произведения писателя печатались в периодических изданиях Якутска, Петропавловска, Кургана и Омска. Переехав в 1922 г. в Новониколаевск из Омска вместе с редакцией газеты «Советская Сибирь», он работал ответственным выпускающим газеты и Сибкрайиздата, печатался в журнале «Сибирские огни». Урманов — делегат Первого съезда писателей СССР 1934 г., автор произведений о Гражданской войне, о жизни казахской степи и Сибири. Его фонд в собрании Центра формировался на протяжении шестнадцати лет и отражает не только творческий и жизненный путь самого писателя, но и историю литературного процесса в Сибири первой половины XX в. Основная часть собрания определяется хронологическими рамками 1912—1950 гг. Историко-культурную ценность представляют прежде всего рукописи, дневники и записные тетради Урманова, из них 33 единицы хранения относятся к послереволюционному десятилетию (1918—1928 гг.).

Дневники пишут, как правило, для себя, и Кондратий Никифорович Урманов в этом не исключение. Он писал, не думая, что кто-нибудь прочитает о его горестях и надеждах, сомнениях и удачах. В дневниках, кроме подробных записей о событиях, особенно потрясших автора, встречаются цитаты из прочитанных книг и, конечно, наброски литературных замыслов. Эти пожелтевшие от времени тетрадные и блокнотные листы помогают понять глубину личности писателя, умевшего жить и меняться в сложных обстоятельствах, оставаясь самим собой. Записи с рифмованными агитационными текстами, полными революционного романтизма, сменяются размышлениями о неоднозначности и трагичности времени: «Я на распутье встал. Куда теперь идти?» Духовные искания Урманова приводят в 1921 г. к выходу из партии большевиков (он так и остался беспартийным). Принимая революцию, он не мог согласиться с жестокостью, неоправданным кровопролитием. Рожденный и выросший в крестьянской среде, Урманов видел планомерное разрушение крестьянской общины, с чем также не мог смириться. Вот как пишет о его творчестве этого периода в своей статье В. Я. Зазубрин: «Кре-

стьян писатель дает крепко. Они “настоящие” у него со всей своей узостью и ограниченностью, их видишь. Крестьяне Урманова дальше деревни и пашни ничего не знают и знать не хотят. <...> Но ведь была же Гражданская война в Сибири, были восстания, были белые, красные. Ничего или почти ничего этого мы не найдем в вещах Урманова. Писателя больше занимают маленькие люди в революции, их маленькие несчастья. <...> Мир героев Урманова не велик, он покоится на двух китах — на пашне и бабе» (Зазубрин В. Я. Проза «Сибирских огней» // Художественная литература в Сибири 1922—1927. Сборник статей. — Новосибирск, Сибирский союз писателей, 1927. С. 38—39).

Только в конце 1920-х гг. Урманов, пропустив все драматические события тех лет через себя, через свою душу, обратится к теме Гражданской войны в Сибири. В 1930 г. он начинает работу над оставшимся неоконченным романом «Последний рейс», названным литературным критиком Н. Н. Яновским «своеобразным и впечатляющим художественным документом эпохи». Собирая материал по Гражданской войне в Сибири для будущих очерков, рассказов и повестей, Урманов был очень внимателен к мельчайшим деталям времени. Это подтверждается большим собранием изданных документов и воспоминаний красных и белых в его библиотеке, неоднократными поездками по местам партизанских походов. В папках хранятся многочисленные черновые записи о 1918—1920 гг.

Внимание Урманова к историческим деталям отмечал Н. Н. Яновский: «Он остался в нашей памяти как талантливый старейшина сибирского литературного цеха, как писатель, для которого принцип историзма всегда был главнейшим и разносторонним в художественном постижении действительности» (Яновский Н. Н. Неопубликованные произведения Кондратия Урманова // Литературное наследство Сибири. — Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1988. — Т. 8. — С. 9).

Представленный к публикации дневник К. Н. Урманова относится к дорожным впечатлениям июля — августа 1926 г. и содержит записи о поездке в Бухтарминскую долину, в Убинский женский монастырь. Его интерес к старообрядческой культуре возник, вероятно, после знакомства с писателем-этнографом А. Е. Новоселовым. В личной библиотеке Урманова сохранились два экземпляра книги «Беловодье» (1918), а также копия отчета о поездке Новоселова на Алтай «У старообрядцев Алтая» (1912) с двумя снимками Убинской женской обители. Высоко ценивший творчество и личность Новоселова, Урманов в своих дневниках и записных тетрадях не раз вспоминал о нем\*.

Тема «земли обетованной» и старообрядчества отмечена в русской литературе 1920—1930-х гг. произведениями сибиряков: «Чураевы» Г. Д. Гребенщикова, «Алые сугробы» В. Я. Шишкова, «Бегствующий остров» Вс. В. Иванова, «Золотой клюв» А. А. Караваевой, «Беловодье» М. П. Плотникова, «Горы» В. Я. Зазубрина. Примечательно, что маршруты алтайских

\* К. Н. Урманов сохранил у себя рукопись последней книги А. Е. Новоселова «Лицо моей родины». В 1945 г. Кондратий Никифорович передал ее вдове писателя Галине Петровне и ее дочери, когда они возвращались в Ленинград после эвакуации. Эта папка стала единственной сохранившейся рукописью писателя, т. к. весь его архив погиб в дни Ленинградской блокады (Литературное наследство Сибири, т. 8, с. 129).



путешествий авторов совпадают. Они посещали места расселения старообрядцев в Уймонской и Бухтарминской долинах.

К. Н. Урманов в 1923 г. совершил поездку в Уймонскую долину и в газете «Советская Сибирь» напечатал свои дорожные впечатления «По Алтаю». Второй большой командировкой стала поездка летом 1926 г., о которой он писал другу, писателю А. Л. Коптелову, так: «В первых числах июля я, Пермитин, Пушкарев едем на Алтай: Бийск, Телецкое <озеро> и далее» (Литературное наследство Сибири, т. 8, с. 121).

Позднее маршрут поездки изменился, Пермитин предложил знакомые ему с детства места — Усть-Каменогорск и Бухтарминскую долину.

Общая тетрадь в линейку в черной дерматиновой обложке стала свидетельницей этого путешествия. Сделанные карандашом записи начинаются с 25 июля впечатлениями от посещения стадиона на Полковничьем острове в Семипалатинске. Но, судя по следам оборванных листов, дневник велся с начала поездки — с 20 июля. Почему удалены были страницы первых четырех дней — установить не удалось.

Кроме дневника, датированного 20 июля — 21 августа, тетрадь содержит наброски будущих рассказов из жизни староверов «Неделя метлы», «Повесть о солнечном покое», «Сверстники», «Федот Савельич» и сюжет «Враг» о Гражданской войне. На последних страницах тетради выписаны староверческие заговоры от зубной боли, от укуса змеи, как остановить кровь, от порчи, свадебные, хозяйственные и т. д., записанные А. Е. Власовым в 1887 г. на Алтае и в Томской губернии, обработанные и напечатанные в «Алтайском сборнике» (1912 г.) Я. Бирюковым.

Интерес к истории старообрядчества сохранялся у писателя и в последующие годы, что подтверждают сделанные им выписки из томской периодической печати второй половины XIX в. о странствующих старообрядцах, о гонениях на них со стороны государственных властей, об «архиепископе Аркадии» и его рассказе о Беловодье. В библиотеке Урманова сохранился сборник статей «Бухтарминские старообрядцы» (1930), подготовленный московскими учеными-этнографами Е. Э. Бломквист и Н. П. Гринковой по результатам экспедиции 1927 г. Среди коллекции фотографий — три снимка с одним названием «Изда Лыкова, старовера-отшельника», выполненные другом писателя, художником А. Шмаковым в 1928 г. (Спустя полвека, в 1978 г., геологи случайно обнаружили семью Лыковых, и в газете «Комсомольская правда» появились публикации журналиста В. М. Пескова.)

В 1927 г. в мартовском номере журнала «Сибирские огни» Урманов напечатал рассказ «Глушь», созданный на основе «Моего дневника». В нем были опущены записи о некоторых бытовых деталях поездки, дорожных встречах, о глубоком впечатлении, произведенном на него культурой и бытом староверов, и о женской обители.

Предлагаемый читателям дорожный дневник К. Н. Урманова при всей своей непритязательности является важнейшим документом эпохи. Он дает возможность восстановить детали быта алтайских староверов и ощутить атмосферу ушедшего времени.

*Наталья Левченко,*

*сотрудник Городского Центра истории Новосибирской книги*

**25 июля 1926 г., Семипалатинск**

Вместе с Е. Пермитиным<sup>1</sup> посетили стадион. Это зрелище захватило меня, и мне нужно, пока в памяти свежо о нем, записать хотя бы вкратце то, что видел.

Стадион — штука не мудрая, всякий горожанин знает. Но в Семипалатинске, в этом интернациональном городе Казахстана, он имеет особое значение. Во-первых, стадион — на острове, во-вторых, туда перекинут понтонный мост (худой-прехудой, стоящий уже городу более 10 000 рублей), и в-третьих, на острове — зелень и прохлада от высоких тополей.

На этот стадион по праздникам и ползет обыватель, обижаемый пещками в течение недели. Идет сюда «всяк язык — всяк иноплеменный». В этот день, находясь на острове, можно было забыть, что ты находишься всего-то в 200 саженьях от засыпанного песками Семипалатинска, наоборот, легко было представить живые места, хотя бы по «нациям», наводнившим остров.

Иду по тропе. Возле первого тополя, под благородной сенью, татарин, очень похожий на перса, жарит шашлык. Мы с Пермитиным съели по две палочки. Далее — киргизки с кумысом. Семья очень чисто одетых татар расположилась вокруг самовара. Черный киргиз, одетый в белое, гуляет с блондинкой — русской. Я был поражен. Русская женщина за последние годы так извертелась. Ужас! Были чехи — выходила замуж. В 20-м году — китаец — кумир. И вот в таком городе, как Семипалатинск, для женщины, вероятно, большое счастье выйти за киргиза, потому что в них сейчас вся сила и политическая, и экономическая. (Впрочем, бедняки до власти едва ли доберутся. У власти — проныры — сыновья богачей. У них нет ставки на бедноту.)

На стадионе в этот день было девическое «пастбище». Увидеть что-то ближе, оценить было трудно. Киргиз (а теперь он — казах) всюду. Он — в своем городе и, конечно, первый хочет все видеть. Для киргизов автономия — наиважнейший пункт существования Советской власти. Но мне, как с детства живущему в киргизском крае, кажется, что придет время, когда киргизы попросят удалить наших русаков за пределы киргизского края. Ничего не поделаешь, они в своих отцовских владениях... Мы, русские, давно уже забыли о национализме. Нас сейчас, пожалуй, упрекнуть никто не имеет права. Мы примирили очень многих, мы даем свободу развития многим малым нациям, жившим ранее не автономно в России.

В шуме, в гаме, в гортанном говоре хозяев провел я весь день. Вечером мы посетили отца Бориса Герасимова<sup>2</sup>. Какой это обаятельный, милый и какой все-таки культурный человек. Странно, что его до сих пор

<sup>1</sup> Ефим Николаевич Пермитин (1895—1971) — писатель, близкий друг К. Н. Урманова. Результатом поездки 1926 г. стал роман «Капкан», публикация глав в журнале «Сибирские огни» (1929), отдельно издан в 1930 г.

<sup>2</sup> Борис Георгиевич Герасимов (1872—1938) — православный священник, краевед, этнограф, член Западно-Сибирского отдела РГО, автор публикаций в журнале «Сибирские огни» (1924, 1926, 1927 гг.).

не могут оценить. Он много нам рассказывал о Достоевском<sup>3</sup>. Упрекал Зазубрина<sup>4</sup>, Ярославского<sup>5</sup> в неверности даваемых материалов.

## 26, 27, 28 июля 1926 г., пароход «Алтай»

Сели вечером, плыли сутки и на вторые, в 12 часов дня, пришли в Усть-Каменогорск.

Ничего замечательного в пути не было, кроме встречи с лицами разных вер. Путь мне известен был и ранее. Переспав ночь, я вышел на палубу и долго любовался раскинувшимися степями с одной стороны и холмистой местностью — с другой. Сзади меня на скамье послышался говор — слышу — бога поминают. Поворачиваюсь и вижу: Пермитин сидит уже среди духовных лиц и внимательно слушает. Забавная компания подобралась: православный священник, кержацкий начетчик<sup>6</sup>, баптист, адвентист и несколько довольно глупых людей с пятиконечными звездами на груди. Компания, как видите, интересная, чтобы спорить, чтобы решать давно тревожащие всех вопросы религии. Спор касался крещения, святых тайн и прочего. Как баптист, так и поп старались друг друга уязвить как можно поощутимее, чтобы видели и слышали люди. Весь спор был настолько догматичен, что сказать что-нибудь со стороны было нелепо. И все же к вечеру я не удержался и вступил в спор с баптистом по поводу Крещения Христа в 30-летнем возрасте. Он обозлился на попа и назвал его «лахудрой». Это обидело попа. Я попросил взять слова обратно. Только старик-кержак оставался в стороне. Он такой серьезный, вдумчивый. Лицо у него светлое, заросшее бородой, а белая шляпа с красным узором (на месте, где должна быть пришита лента) еще светлее делала его лицо. Одет он просто: длинная белая рубашка, черные штаны, нанбуковая<sup>7</sup> поддевка. Весь он страшно прост, и, когда слышишь слова священного писания от этого заросшего коряжистого мужика, становится как-то странно. Я в нем увидел старую Русь. Ту Русь, которая, прячась от преследований, ушла в далекую Сибирь, в дебри алтайских гор, чтобы в глуши блюсти в строгости заветы божеские. Крестьянин этот — Корнилий Николаевич Аникин из села Зевакино Семипалатинской губернии. Слез он где-то возле Красноярки. Интересный человек Корнилий Николаевич. Мы с Пермитиным долго с ним беседовали. Он хорошо отнесся к нашим начинаниям. Обещал дать материал:

— Вы приезжаете к нам. Мы вас по-простому примем. О слове божьем поговорим. Все вот говорят о корне. А в чем есть корень наш? Сказано в священном писании: лист бо есть ты на ветке, а ветка — на

<sup>3</sup> Статья Б. Г. Герасимова о Достоевском была напечатана в журнале «Сибирские огни».

<sup>4</sup> Владимир Яковлевич Зазубрин (1895—1937) — писатель, редактор журнала «Сибирские огни», автор романов «Горы», «Два мира» и др.

<sup>5</sup> Емельян Михайлович Ярославский (1878—1943) — революционер, партийный и общественный деятель, один из организаторов журнала «Сибирские огни».

<sup>6</sup> Начетчик — особый человек в старообрядческой среде, выполняющий роль богослова и проповедника.

<sup>7</sup> Нанбук — плотная и прочная разновидность хлопчатобумажной ткани.

древе. Корень же наш Христос. И нельзя говорить, что я веду корень, что корень во мне.

Это он обиделся на слово — «откуда корень их веры». Удивительно стойкий мужик. Он рассказывал мне удивительные вещи. Я был обрадован такой постановкой управления. У них нет попов (беспоповцы), но они одно уважаемое всеми лицо выбирают как наставника, и он задает тон всему селу. Кто может встать во главе села? Думаю, что не только догматист. Нужно все тяготы, все «бразды правления взять на себя и вести так, чтобы это было сообразно с верованием». Вот что он сказал мне о хулиганстве, пьянстве и прочем в советской деревне:

— А все это от нас зависит. В нас все это...

— Конечно, в нас. Надо было с детства не позволять этих благоглупостей.

— Не то... Детство их прошло. И наша жизнь пройдет. А прикрутки им сделать надо.

— Как вы его прикрутите, когда он вас потом обидит, зарежет, убьет?

— Ничего. Мы миром, по закону, высылаем. Худое слово сказал на миру — заметка тебе, другой раз повторил — другая заметка, а на третий — собирай манатки и иди с богом, свет велик... Так-то оно и другим неповадно...

И это не одни слова. С Корнилием Николаевичем сидит рядом односельчанин, с бородой, огромной и спутанной, с лицом, заросшим пестрыми клочьями, и с совиными глазами. Он подтверждающее говорит:

— И паче-то, что с имя? Ничо не поделаешь. Ноне сказывают, по новосельским деревням худо стало — стариков не в счет, не уважают.

Есть еще и третий мужик. Все они такие почтенные, в годах и такие крепыши. Не только физически, но и нравственно. За все время спора я не услышал из уст Корнилия Николаевича, чтобы он обидное слово сказал. Тихий, мягкий. Он очень долго допытывался об истинной цели нашей поездки. Вот растолкуешь ему все. Ну, кажется, понял, согласился, ан нет. Посидит, посидит и снова пальцем лезет в затылок:

— Сумлительно мне все как-то вы что-то сказываете. Опять же, простите, у вас вот креста нету.

Это он меня урезал. Была такая оплошность со мной. Собрался ехать к кержакам, а про крест забыл. Пришлось виновато сознаться, что крест у меня вообще был с детства.

Расстались мы с ним дружелюбно. Очень приглашал заехать. Беседы свои обещал нам отдать для вразумления заблудшим. Нам очень важно побывать у них. Книги старинные посмотреть и прочее. Время будет — заедем.

## 29 июля — 3 августа 1926 г., Усть-Каменогорск

Задержались мы здесь не на шутку. С одной стороны, Пермитин с родней давно не виделся, у всех надо побывать, с другой — то погода скверная, то желдороги нет на Риддер<sup>8</sup>. Удивительно здесь ставится

<sup>8</sup> Риддер — районный центр Восточно-Казахстанской области.

вопрос. Не дорога для пассажиров, как мы привыкли все-таки думать, а пассажиры для дороги. Дело в том, что дорога горнозаводская, а она выполняет свои задания — и кончено, а до пассажиров ей дела нету. В свободное время я отдавался прекрасному купанию в Ульбе.

«Ах ты, Ульба, ты быстрая река!» Ах, какая это прекрасная река, с какой мягкой, шелковой, прозрачной водой! Регулярно два, а то и три раза в день я отдавал свое тело водам Ульбы. И чувствовал, как день за днем она укрепляла мои нервы, давала силу.

В Усть-Каменогорске за все время мне только удалось встретиться с Борисом Лапиным<sup>9</sup>. Интересный, еще молодой человек, любит свой край, изучает его по мере сил и пишет. К осени он даст в «Сибирские огни» одну-две вещи. Жаль, что он болен. Долго ли продюжит? Туберкулез штука серьезная. Он жил лето в Крутихе, а поправка плохая. Там же жил Ерошин<sup>10</sup> и Зазубрина Варвара Прокопьевна с Игорем<sup>11</sup>.

Жаловался Лапин на захоlustье. У них даже в малом кружке литературном (Лапин, Алтайский<sup>12</sup> и Волков<sup>13</sup>) бывали раздоры. Зазубрин в письме обмолвился, что председателем группы будет Лапин, Алтайский обиделся. Он, видимо, себя считает достаточно выявившимся — издавшим книжку (на свои деньги), и вдруг он только секретарь литгруппы. В общем, маленький скандал, и Лапин просил, если можно, не считать его председателем группы.

В Усть-Каменогорске глубоко пустило корни уездное зло. Тут этикет соблюди, чести не замарай и знай, кто есть ты. Как во всякой провинции. Когда я приехал — мне казалось, что город имеет большое будущее. Во-первых, река Иртыш, во-вторых, рядом — Риддер, железная дорога, богатства Риддера. Где-то еще рядом несколько рудников. Словом, не зная обстановки, его можно считать удивительно счастливым городом в будущем. Но, присматриваясь к нему, к темпу его жизни, замечаешь, что в нем уже что-то тихо отмирает, что мещанство крепнет, строит домики, обзаводится садами, беседками, самоварами, граммофонами.

После мне удалось узнать, что Усть-Каменогорск судьба поставила под удар — Риддер хочет связаться железной дорогой с Рубцовкой, тогда линия Усть-Каменогорск — Риддер (96 верст) будет мертвой и сам город замрет.

Во время моего пребывания в городе на площади были поставлены две карусели. На этих каруселях с утра до поздней ночи вертелся весь Усть-Каменогорск (утром и днем дети, а вечером, впотьмах, чтобы не стыдно было целоваться, катались большие). Там был флирт и посерьезнее кое-что. Серый, в камнях город, и развитие его тоже — каменное.

<sup>9</sup> Борис Николаевич Лапин (1897—1943) — писатель, организатор литературного объединения «Звено Алтая» (Усть-Каменогорск), арестован в 1939 г., репрессирован.

<sup>10</sup> Иван Евдокимович Ерошин (1894—1965) — поэт, печатался в журнале «Сибирские огни» с 1922 г., близкий друг К. Н. Урманова.

<sup>11</sup> Варвара Прокопьевна Зазубрина (1898—1983), Игорь (1921—1942) — жена и сын писателя В. Я. Зазубрина.

<sup>12</sup> Михаил Федорович Иванусьев (1903—1937) — поэт, писатель, журналист. Репрессирован в 1937 году. Алтайский — псевдоним Иванусьева.

<sup>13</sup> Александр Мелентьевич Волков (1891—1977) — писатель, драматург, автор знаменитой серии книг «Волшебник Изумрудного города».

#### 4 августа 1926 г., железная дорога Усть-Каменогорск — Риддер

Об этой линии я имел такое же представление, как и вообще о всякой железнодорожной линии, но здесь дело совершенно иное. Здесь во всем есть свое.

Начнем с начальника станции. Коротыш, здоров, крепок, лицо большое, серое, с густыми бровями и длинными серыми усами. Говорит — как кобель старый лает: бух-бух-бух... Пассажиры по несколько раз спрашивают — не поймешь. Так вот, от этого начальника, пожалуй, и зависит все дело. Расписания никакого нет. Пришли на станцию в 8 часов, прождали до 12, в первом часу в поезде провел собрание и ушел. Мы остались, хотя и была у нас на руках бумажка от помзава Федорова: «Предлагается изыскать способ отправки в Риддер сотрудников “Советской Сибири” Урманова и Пермитина». Этот начальник станции долго водил нас по линии возле вагонов, потом вдруг исчез. Где начальник? А шут его знает. Пермитин идет к нему на квартиру (скоро 12 часов) и видит: он задрал ноги и отдыхает. Устал. Всякие меры он изыскивал, но отправить нас не удалось — все 5 вагонов шли с отгруженной какой-то глиной, а на глину человека сажать нельзя. Глину может принять.

Это было вчера. Но сегодня мы все-таки уедем. Уже билеты куплены. Далее роль начальника-кассира, казалось бы, кончилась, ан нет. Еще ключ от единственного пассажирского вагона в его руках — кондуктора тут ни при чем. Мы ждем, когда он соблаговолит нам открыть дверь. Выдвигается гроза, будет большой дождь. Но и открывши вагон, он по-кобелиному загавкал:

— Эй, чей? Не разрешу. Кадки, повозки... Не разрешу ручной багаж.

Науськал кондуктора и ушел. Беда прямо. Кондуктор оказался исполнительный. Много крику было, пока сели. Полил дождь, да такой сильный! Мы вскоре сдвинулись, и я в последний раз посмотрел на начальника, на его фельдфебельские усы и складку губ, точно они вот-вот выкрикнут:

— Пузо подбери! Ешь начальство глазами! — и короткий тяжелый кулак приложится к уху солдата.

Этой дорогой я еду первый раз, и мне очень хочется видеть из окна все окрестности, горы, скалы, обрывы и шумливую здесь, в частых гребешках — Ульбу.

Весь путь в 96 верст мы сделали в 8 часов, и я ни на минуту не отрывался от окна, смотрел за красивейшими, открывавшимися ежеминутно пейзажами. Вся дорога идет по берегу русла Ульбы. Подрылась она под скалы, проложила себе две стальные линии и по ним катится. Порой нависающие камни угрюмо смотрят на вас. Конечно, в случае обвала на поезд, тут и думать не приходится, что мы уцелеем. 96 верст горного пути.

Везде видишь, что работал на стройке не только человек, но и динамит. Тяжелая стройка, но зато какая красота. Дорога вьется под скалами, как змея, порой вагоны так качаются, что кажется, вот выпадешь, и невольно хватаешься за что-нибудь руками.

В Риддере есть еще дорога конная — 84 версты ровного сравнительно грунта при одном мосте. Кто же тогда заставил расчетливых англичан строить такую дорогу? Ведь это ни с чем не сообразно, но факт фактом, дорога построена, а рядом грунтовая дорога на 12 верст короче. Оказывается, что тут многое темно и непонятно. Но некоторые склонны думать, что заставили так строить дорогу русские инженеры, чтобы больше получить денег от хитрой и расчетливой англичанки. Русские надули.

Маленький, единственный вагончик с пассажирами забит битком. Некоторые, устроившись на скамье, прислонились головой к стене и дремлют. У женщины, пожилой уже, плачет ребенок. Мать — блондинка, лет 45, простая крестьянка, живет в Риддере. Едет с мужем — он старик, весь седой и крикливый:

— Задержу! — кричит он на плачущую девочку.

Женщина, глядя на славного ребенка матери, соседке-интеллигентке дружелюбно хвалит:

— Вот родила, и ничего тебе не подеялось, как маков свет вон горит, а абарту ежели сделала — кажут бы тебе, навек не баба — черт-те что. У меня их вон, слава богу, десятеро было, а я здорова, — с гордостью заявляет она, — пуцай даже одиннадцатый родится, а городских я баб даже ругаю. Драть бы их надо — во как! Гуляют, гуляют, а после абарт — тады скрипит всю жисть, как иссохшая ива. Кому такая баба нужна? Сделает абарт, а через две недели опять иди. Так дурочки себя в гроб и загоняют. Опять же — это убивство. Пошто убивцу в тюрьму садят, ежели он человека убил, а бабу пошто нет? Пороть их надо за такое дело. Десяток, сказываю, принесла и, ежели бог одиннадцатым благословит, тоже рожу, а на абарт не согласна, не пойду.

Соседка-интеллигентка крутится от ее правдивых слов, прячет глаза.

На станции Бутаково — встречный поезд. Он подходит, а мы отходим. В окне мелькает красенький платочек с горошком — «Шкапская»<sup>14</sup>, — мелькает у меня в голове, и в то же время эту же догадку высказывает Пермитин. В Риддере мы убедились потом, что это была именно она. Удивительно энергичная женщина. За это лето она объездила черт знает сколько. Правда, она свободна. Это дает ей возможность пребывать в определенном месте сколько хочет. Но все-таки она женщина.

Риддере нас поразил своей грязью и дождем. От станции до квартиры (куда мы имели посылку) нам потребовалось потратить не менее часа времени. Все промокли. Я промочил ноги и был очень рад, добравшись до покоя и стакана чая.

<sup>14</sup> Мария Михайловна Шкапская (1891—1952) — журналист, поэт, переводчик. В 1926 г., после поездки на Алтай, напечатала в газете «Правда» очерк «Сама по себе».

## 5 августа 1926 г., Риддер

Сидя где-нибудь в центральных городах Сибири, мы представляем себе Риддер (если к тому речь пойдет), что это горное такое возвышенное место и будто бы весь Риддер на горе, как на ладони, и будто люди в этой же горе копают прямо лопатами золото, серебро, свинец, цинк.

Во всяком случае, у меня было таким представлением, что в Риддере сухо и немного холодновато. В последнем я не ошибся, так как Риддер находится на изрядной высоте над уровнем моря и в нем холодно. В его районе хлеба еще зеленые и нет намека на скорый сбор. Но самое главное, в чем я ошибся — это в сухости климата. Сидит Риддер в котловине, и мне кажется, что над Риддером вершины гор прорвали хлябь небесную, и оттуда дождик льет и льет без конца. На улицах такая грязь, что в ботинках пройти нет возможности. Никакие калоши не помогают. Я походил до двух часов дня с утра и все ноги промочил. Боюсь возвращения ревматизма. Но все-таки в этот злополучный день мне пришлось познакомиться с инженером Стольным — крепким, упорным человеком. Он на Риддере большое лицо. Все постройки главные (рассчитанные на 5 лет) строятся под его наблюдением. Под его же наблюдением будет строиться электростанция на Громотухе в 40 000 тысяч лошадиных сил. Сейчас построена в 300 сил — турбина работает. Старая паротурбинная в 500 сил ставится. В общем, намечено 4 электростанции на 60 тысяч лошадиных сил. Тогда для всего завода хватит электроток. Вообще, инженер Стольный произвел на меня впечатление крепко сколоченного человека — у него изобретательный здоровый ум.

— Если только у русских хватит терпения и капиталов, — говорил он при нашей встрече, — мы покажем миру, как надо работать. Мы в один год покроем все расходы, затраченные на восстановление и развитие завода. Сейчас мы пока пустим в ход обогатительный завод. Добываем понемножку золотишко, чтобы мало-мало оправдывать расходы. Руды у нас готовой хватит на несколько лет для обработки.

С ним вместе мы прошли на электростанцию. Посмотрели цинковый завод. Он пока еще опытный и не работает, но добыча цинка, руды, качество цинка — прекрасны. 95 % и более чистого получается из первого продукта (Московская лаборатория). Говорят, что здесь мировые залежи цинка и свинца. В свинцовой руде очень высокий процент свинца. Руды наготовлено много. Строятся новые дома для рабочих и служащих. В этом году будет построено 60 домов. Вообще, возможности у Риддера колоссальны. От Стольного же я под секретом узнал, что возможности постройки линии Риддер — Рубцовка утверждаются, но разрешать пока нельзя.

Очень жаль, что не удалось побывать на обогатительной фабрике. К 2 часам с большим трудом добрались до квартиры — перемокли, усталые и голодные. После обеда долго спали, а ночью я сидел и работал.



## 6 августа 1926 г., Риддер

Мы остались в Риддере на день. Ехать дальше нельзя. На горах и коней замучим, и себя убьем. Сидим и смотрим в окно.

В церкви звонят. Оказывается, здесь недавно была прекрасная погода, и вот надо было умереть одной женщине — и это бы еще ничего — да положили с ней икону и забыли. Так с иконой и закопали. Вот от этого и дождь. Уже льет третьи сутки и будет лить до тех пор, пока земля не промокнет до гроба и пока икона не умоется дождевой водой, пока не смоет грехи с грешницы. Суеверие народное, но зачем же попы служат? Непонятно. Ведь они все-таки люди с образованием. Смешно как-то смотреть на такую комедь.

Ефим Николаевич поехал к вечеру к Гусякову (кержак). Он, возможно, проведет нас напрямки на реку Банную в монастырь. У него, возможно, достанем лошадей. Вернулся Пермитин с Гусяковым Макаром Кирилловичем. Гусяков дал адреса, и, кажется, завтра утром тронемся в монастырь.

## 7 августа 1926 г., Риддер

Мы в плену у грязи. Не помню уже, какие сутки идет дождь. Липкая грязь. В окно видно, как тонут по колено в грязи босоногие киргизы. Целый день они топчутся на базаре, по виду они безработные, и черт их знает, когда они работают.

Есть маршрут. Пара лошадей, нужна лошадь для проводника. Ура! Все найдено, мы едем.

В 2 часа мы покинули Риддер, эту поистине грязную дыру, и вскоре втроем (проводник Овечкин) поднялись на горы. Если там, на Иртыше, по степи люди на тройках, в удобных фаэтонах, то здесь, кроме как верхом, ехать никак нельзя. Не дорога, а узенькая тропа ведет вас с горы на гору, через ручьи и речки. Вот мы поднялись и спустились несколько раз по небольшим горкам, перебрались <через> речку Журавлишку и снова покарабкались кверху. Дорога здесь, как черный шнурок, наискось перехватывает гору, чтобы на другой стороне так же круто, уступью, как по лестнице, спустить нас в небольшую долину.

По пути нам встречаются заимки и пасеки: м. Журавлиха — 15 в<ерст> — пасека Полторанина Пахома, 1-ая Чесноковка — 5 в<ерст> Голованов Григорий, Большая Чесноковка — Зуев Фил <ипп> Ив<анович>, Кондрушиха — Зуев Григор<ий> Макс <имович>, пасека Федора Савельевича — 3 в<ерсты> — монастырь.

Перед вечером мы берем страшно крутой подъем и не менее круто спускаемся. На большой долине (сравнительно) стоит Большая Чесноковка. Здесь у нас есть пристанище, собственно, должно быть, по совету Макара Кириллыча Гусякова. Мы остановились у Зуева Филиппа Максимыча. Подъехав к заимке, мы скоро находим нашего благодетеля. Люди они тихие. Приняли нас ласково, накормили из отдельных чашек,

хранящихся у них для такого случая. У них есть работник — ест отдельно из своей посуды. Мне пришлось наблюдать, как они молились и ужинали. Зуевы. На столе уже все собрано, подана пища, но никто не садится за него, даже малыши. Наконец приходит глава семьи и говорит:

— Становитесь молиться.

Все чинно в ряд выстраиваются и чинно же, не путаясь, быстро начинают креститься, поклон они делают дружно, все за раз. Отчего получается как бы легкий шум. Молитва долгая — все усердно стоят, пока стоит глава семьи. Глава семьи кончит, и все кончили, спокойно садятся за стол. Едят они помногу, уж так помногу, что я диву дался: это куда же этакая прорва помещается? А они все едят, едят. Питаются они хорошо. У них много разных кушаний подается: щи, каша, мясо, молоко, малина с медом или красная смородина с медом. Едят все старательно и много.

После ужина они так же старательно и много молятся. Сам старик, еще крепкий кержак с апостольской бородой, крепко держит семью в руках. Здесь нет совершенно хулиганства, какое есть по нашим селам. Здесь глава семьи — действительно глава, а не только старший. Он всюду и везде у них еще и духовный глава, а уже над ним где-то есть начетчик (мало их, в этом звании — Нифантий Иванович Егоров). Здесь впервые мы с Ефимом Николаевичем молились.

## 8 августа 1926 г., в пути к монастырю

Утром Зуевы нас напоили чаем. Правда, наш чай они пить не стали. Да и вообще был праздник (воскресенье), а у них всякий праздник соблюдается очень твердо. Выехали мы в 8 часов утра. Ехали сначала очень тихо, случилось несчастье. Подо мной лошадь при переезде через мост упала и ободрала всю заднюю ногу. Поэтому пришлось тихо ехать. Мы хоть и залили рану йодом, но все же лошадь долго хромала. Наш ранний путь лежал все теми же хребтами. Опять подъемы, спуски и новые подъемы.

Дорогой я вспоминал наше риддерское пребывание. Остановился с нами на квартире у Литвиновых один инструктор комсомола. Ну, батеньки! Это же все-таки тип, мимо которого пройти нельзя! Во-первых, это, конечно, тип — шваль, у него нет ничего своего. Он обследование ячеек ведет по программке, как бы не ошибиться. Ну, разве такой инструктор вскрыет какие-нибудь язвы, конечно, нет и никогда. Он спит 12 часов, мало образован. Вообще, это тип для новых Гоголей. Второй приходил местный. Коля Самойлов. Весь ходячий лозунг, ходячая фраза — это удивительно, как партия держит вот эту шваль и для чего она ее держит?

Я вспоминаю, а между тем наши кони взбираются все выше и выше. Наконец мы поднимаемся на гору, и, оглянувшись назад, я вижу, что туман внизу, как молочное озеро, стоит, непоколебим и настолько плотен и густ, что кажется, что поплыви по нему — удержит. Ах, эти молочные туманы!

Мы долго едем по глухим, безлюдным тропам. Проехали Кондруши-ху. Наконец навстречу нам попадает человек. Разговариваем, оказыва-

ется, у них в Кондрушихе сегодня собрание. Со всех заимок съезжается народ и представители, и обсуждают свои общие дела.

Часов в 12 мы попадаем на пасеку Федота Савельевича Андропьева. Он стоял на коленях в своей избушке под образами и, склонившись над старинной книгой, молился. Мы вошли. Он очень радушно нас принял. Это удивительно светлый старик. От этого белого лица, обрамленного льняными волосами, исходит какой-то свет радости и любви. Мне многое в нем понятно. Им прожита уже вся жизнь, ему 78 лет, и теперь на старости, когда родные сыновья обижают, ему ждать нечего. Единая у него надежда и утешение — бог. Он живет со старухой — сыновья, бывает, грабят его, даже подкупали человека, чтоб он его убил. Но тот пришел к Савельичу, взглянул в глаза и признался, зачем пришел, говорит:

— Убить ведь я тебя, дедушка, пришел. Сыновья твои подкупили.

Дал ему дедушка бадеечку меда, и он пошел.

Живет дедка тихо. Ах, какая тут тишина! Несмотря на то, что ревут реки. Остановишься и слушаешь — тихо, тихо! Только желна где-то свищет. Худая это птица. Пророчит она часто худую погоду. Простившись с дедкой, мы начали спускаться с горы, и вскоре перед нами открывается прекрасная картина. Кольцо гор и среди него белые чистые домики и церковь. Это монастырь.

## Монастырь

Часа в 2 дня мы перевалили через последнюю возвышенность к монастырю — подол Б<ольшого> Теремка и сразу же нам открылся вид на монастырь. Правда, сразу он мне показался давно виденной и уже позабытой лубочной картиной с наших родных монастырей, но, спустившись вниз, я сразу же почувствовал сибирскую особенность, а главное, особенность убинских людей — осторожность и допытывание. Об этом потом. Мне хочется, пока свежо все в памяти, хотя бы вкратце записать расположение монастыря.

Недалеко от Карагонских белков, там, где сливается речка Банная с Убой, всего в версте от слияния, в глубокой впадине, окруженной горами, с юго-востока — Большим Теремком, с юго-запада — Малым Теремком, с севера — Средним Теремком, расположена старообрядческая женская обитель. Подолы всех Теремков настолько круты, что огромные, стройные, как кипарисы, пихты кажутся маленькими кустарниками, и на фоне всей этой богатой зелени белые бревенчатые стены строений обители — вырисовываются настолько красиво, что сам как-то притихаешь от этой красоты и становишься кротким, как эта божественная тишина. Яркое солнце ослепительными мазками на зелени бросило пятна на строения. Эта ясность, эта тишина настолько пролилась мне в душу, что хотелось невольно, став на пригорке, помолиться и этому солнечному покою, и тишине, и монастырю. Мне хотелось остановиться, не идти в монастырь, а задержаться на этой возвышенности в светлом покое солнца. Как же несказанно я был удивлен, когда подъехали к монастырю: ни одной души

в ограде не было, словно бы обитель вымерла. Ефим Николаевич зашел в маленькую келью, стоящую отдельно, и, когда он входил туда, я видел, как невозмутимо и спокойно перелистывались страницы книги (лица я не видел), и подумал тогда, как люди не ценят солнце, как люди отрекаются от радости жизни!

Ефим Николаевич вышел со старичком, доживающим в монастыре свои остатки дней, и тот указал нам, куда и к кому обратиться.

Привязав лошадей к загородке, мы прошли на конный двор, и здесь нас встретила матушка Фиония, довольно простая и добродушная. Она у матушек работает как эконом: заготавливает хлеб и все необходимое, ездит в города и села, общается с миром, но человек она уже не от мира сего. Бледное, но довольно красивое продолговатое лицо с синими глазами обращено к вам свободно и открыто. Одеты все, принявшие мальи́й постриг, в темные холщовые платья (есть и в синих, за недостатком материи) с пелеринкой, отороченной красным материалом, грудь охватывает черный передник, на голове хохолком черные платки или же схимы. Не принявшие постриг носят сейчас разные платья, но преобладают черные. На ногах у всех монахинь самодельные «бутылы» (сапожник у них матушка Надежда). Ознакомившись о цели нашего приезда, мать Фиония сходила в монастырь и привела оттуда старенькую, сгорбленную семидесятипятилетнюю матушку Аполлинарию.

Обитель эта основана в 1899 г. приехавшими из-под Уфы 8 сестрами поморского согласия. Тяжелые, долголетние труды, болезни — унесли всех, и только осталась одна в живых — матушка Аполлинария. Матушка Аполлинария вела с нами очень длинный, политичный разговор: выспрашивала, кто мы да откуда:

— Дивно это, чтобы к нам такие дальни гостеньки были. В 12 году, однако, был же у нас Гребенщиков<sup>15</sup> — писатель. Все у нас выспрашивал да выпытывал, что да как, а потом, сказывают, в книжку<sup>16</sup> все пропечатал.

Мы сообщили, что книжка эта с нами, и, если матушка желает, то мы им прочтем то, что касается обители. Мать Аполлинария, точно тщеславием задетая, начала нас уговаривать прочесть:

— При матушке Ираиде и при матушке Ирине (дай бог царство небесное) я все экономом ходила, гостей принимала. Прежде-то гостей приветить было чем, а ноне ково? Сами так пробиваемся еле-еле.

Мы стали просить разрешения где-нибудь переодеться, вымыться, да и вообще прожить где-нибудь дня два-три.

Мать Аполлинария извиняется:

— Ночевать у нас в обители добрым молодцам не полагается. Я уж про это твердо сказать могу. Еще мать Ирина, когда умирала прошлую зиму, наказывала никою не принимать на ночлег, разве родственников да старцев древних. А так, уж будьте, добреньки молодцы, мы вас на заимку отправим, в версте тут. Федор Евсеич Егоров тама зимит. Он парень до-

<sup>15</sup> Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1884—1964) — писатель, журналист. Автор романа «Чураевы», очерков «По Алтаю», «Река Уба и убинские люди».

<sup>16</sup> Речь идет о «Алтайском сборнике» (вып. 11, Барнаул, 1912 г.), в котором напечатан литературно-этнографический очерк Г. Д. Гребенщикова «Река Уба и Убинские люди».

брой. А сейчас, дорогие гостеньки, может, не обедали, так уж откушайте, чем уж богаты. Умойтесь вот сходите на речку, да и к столу. Мать Фиона, собери-ка гостенькам чево покушать.

Более получаса, однако, мы умывались в прохладной, беловатой воде речки Банной. Видимо, где-то выше монастыря речка размывает известняк, отчего окрашивается в беловатый цвет, но вода на вкус прекрасная и мягкая, будто даже со щелочами. После омовения мы довольно хорошо закусили: огуречным квасом, рыбкой, кашкой, малинкой, залитой медом, и, в конце концов, запили прекрасным квасом. Во время обеда часто суетливо проходили в кельи монашки, снова выходили, чтобы мельком кинуть на нас взглядом.

В этой снующей толпе монашек я остановился особенно пристально на молодом прекрасном тонком лице, но уже имеющем какую-то, свойственную монашкам, бледность. Когда она входила в келью, я положил ложку, чтобы лучше разглядеть. Она так же быстро выходила из кельи, как вошла. А вошла она бойко, как 20-летняя девица, только что вступившая в жизнь. Спускаясь по ступенькам, она взглянула на нас прекрасными черными глазами в теневой поволоке. Что это была за поволока, не знаю, но она как-то особенно одухотворяла лицо. Одета она была отменно: чисто, во всем черном — шерстяном, в прекрасном черном платке, повязанном под подбородком, а над глазами платок гогольком опускается. На ногах у нее тонкой вязи (городские) чулки под цвет сандалий (между тем как все матушки-сестры ходят в «бутылах»).

Мне не пришлось после жалеть о потраченном времени на расспросы о ней, да и от Гребенщикова я узнал (из книги «Алтайский сборник», том XI), кто такая эта девушка, так рано покинувшая мир и запершаяся в эти тихие стены монастыря, стены, в которых так близко чудится дыхание смерти. Имени ее мне узнать не удалось. Правда, расспрашивать посторонних об этом как-то неловко было в тот момент, но кто она, я узнал.

Она дочь усть-каменогорского прасола<sup>17</sup>, теперь живущего в Риддере, спекулянтка небольшого диапазона — Ивана Никифоровича Федорова. Родилась она приблизительно в 1906—1907 годах, так что ей сейчас лет 20. История ее жизни пока несложна, но любопытна во всяком случае.

Когда девочке было 4 года, ее родители в дар богу, за какое-то согрешение свое, а может, и по большой глупости, отдали девочку в монастырь на вечное служение. Девушку очень и очень охраняют от мирских соблазнов. Нам ее видеть потом пришлось только мельком, в церкви во время обедни, а у старообрядцев такой закон, что во время молитвы никто не оглядывается, следовательно, лицо видно было только в самый узкий профиль. Во всяком случае, эта девушка мне может служить героиней рассказа. Тема у меня навертывается, и, придет время, я ее разверну.

Вечером нам разрешила матушка Аполлинария присутствовать на вечерней молитве в моленной<sup>18</sup>. В моленной нас поразила абсолютная чистота и опрятность. Большой иконостас, занимающий всю восточную

<sup>17</sup> Прасол — скупщик мяса и рыбы для розничной продажи.

<sup>18</sup> Моленная — помещение для богослужения.

часть моленной, горит золотым гладким багетом. На боковых стенах икон нет, они занимают только место над двумя клиросами, отгороженными большими старинными иконами и хоругвями. Здесь же чтец, молодая — по голосу, лица я не видел, — девица читает часы. В иконостасе меня поразило богатство окладов старинных икон. Часть окладов сделаны из серебра, они все усыпаны драгоценными цветными камнями. Многие из этих икон живут уже столетия, ревностно хранимые кержаками и перевозимые с места на место при тяжелых условиях. Каждую икону, каждую книгу старинную они, как святыню, донесли из России в эти глухие дебри, отгороженные высоченными горами, куда не всякому любопытствующему есть доступ. Посередине перед иконостасом — возвышение. Здесь престол и распятие со спущенными по бокам креста мягкими хоругвями с начертанием. Здесь же на престоле стоит рукописное евангелие, оправленное в малиновый бархатный переплет с серебряной чеканкой. Вечером мы видели неугасимые лампы перед ликом спасителя.

В моленной, на случай — кто устанет, а также для слабосильных, стоят скамьи и маленькие косые (с наклоном) табуретки для поклонов, в облегчение тем, кто не может класть земных поклонов. У каждой монахини своя лестовка и подручник. Лестовка — это тесьма, с нашитыми на ней рубчиками. Она необходимая принадлежность на молитве. Бывает, поют они «Господи помилуй» 12 раз, бывает — 40. Есть моменты, когда голос надо повысить. Считая по пальцам, собьешься, а по лестовке как раз, причем привыкшие пальцы делают это машинально. На конце лестовки — ладанками три кисти. Бывают лестовки сделаны из мелких цветных бисеринок и вообще украшены изысканно. Подручина же из себя представляет небольшую, тонкую подушечку для подстилки под руки, когда молящийся кладет земные поклоны. Подручники тоже часто бывают разными по своему внешнему виду и по цене. Многие из них от долгого употребления замаслились и блестят.

На окнах есть легкие занавесочки из коленкора. У двери две круглые печки и с правой стороны келья для одевания матушек.

У престарелых матушек, неспособных на тяжелый физический труд, есть свои обязанности — читать, молиться по заказу. Они ежедневно должны сделать не менее 1500 поклонов — 300 земных и 700 поясных, остальные могут быть легкие<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Когда мы читали это монашкам по Гребенщикову, то из них никто не запротестовал. Все, значит, верно, и слова Гребенщикова правильные. От этого сходит к вам на душу какая-то тихая и грустная минута. Поднимаешь глаза к светлым образам, а глаза через окна тянутся к далекой вершине Теремка, к синему, в вечерних красках небу. Я облегченно выходил из молельной под прекрасный перезвон колоколов на колокольне. Звонила молодая монахиня (еще не покрытая), но звонила она, надо отдать справедливость, звонила искусно. Ранее колокольня была над церковью, при перестройке (в этом году) они снесли колокольню и поставили на землю. Низка колокольня, и звону очень трудно выплеснуться по ущельям — к рассыпаным по Убе и Банной займакам.

Когда мы шли к вечерне, мы видели, что отовсюду, из каждой кельи, из каждого окна, из-под занавесок на нас глядели любопытствующие глаза. При возвращении я чувствовал на себе это множество взоров. С матушкой Аполлиinarieй условились, что к концу трапезы мы придем читать записки Г. Д. Гребенщикова об обители. Это известие было принято радушно. Вычеркнув несколько мест в этих записках, чтобы не задеть чувства верующих, мы пришли в трапезную. Все монашки сидели за двумя столами. В переднем углу сидели матушки, уже принявшие малый постриг, а у двери в кухню за большим столом шумливой семьей сидела молодежь и те, кто еще боится посвятить себя богу и живут по 20 лет в монастыре сестрами. — *Примечание К. Н. Урманова в тексте дневника.*

Простояли мы целую вечерню, послушали пение. Это не то, что у нас в православии. У нас слишком много вложено ухищрений в пение. У нас в пении — целые концерты, мировые композиторы писали для православной церкви ноты, а у них все просто, конечно, тоже есть ноты (ирмосы), но пение их одноголосое, похоже часто на завывание, на какой-то надрыв и плач.

Когда началось чтение, все, кончив ужин и прочитав молитву, чинно и тихо сидели. Может, они сидели тихо еще и потому, что многие из них впервые слышали мирское слово, мирское чтение. Я смиренно сидел сзади Пермитина и смотрел в книгу. Трудно было мне поднять глаза. Я чувствовал, как нас обоих оглядывали со всех сторон, и стоило только мне вскинуть глаза, как сестры сейчас же поднимали тихий шум: все куда-то старались спрятать свои лица, свои глаза, чтобы не глядеть на мирского. Все написанное Гребенщиковым об обители было выслушано с большим вниманием. После чтения нас снова кормили, и затем мы пошли отдыхать на заимку к Ф. Е. Егорову, где нас также ждал ужин и добрый бокал медовухи.

### 9 августа 1926 г.

Целый день мы провели в горах, на Б<ольшом> Теремке. Собственно, лезли к его вершине. Хотелось взглянуть на окрестности, но что увидишь с горы средней величины в горах с белками? Часов до 5 мы лезли россыпями к вершине Теремка. Устали, у меня были мокры обе рубашки. И когда остановились на одной из вершин Б<ольшого> Теремка, подул ветерок, и я замерз изрядно.

Монастырские здания и заимка, где мы живем, кажутся большими белыми камнями, скатившимися с гор. Здесь очень много черники, малины, красной и черной смородины. Но здесь же есть и медведь. Я побаивался с ним встретиться, хотя у Е<фима> Н<иколаевича> было с собой ружье.

### 10—11 августа 1926 г.

Сегодня мы посетили монастырь и получили разрешение присутствовать на обедне. Мы немного проспали после вчерашнего подъема на Теремок и поэтому опоздали к обедне. Матушки Аполлинария и Фиония нас провели в церковь. Было много народу. Были приезжие мужчины и женщины. Мужчины стояли в углу с правой стороны возле печки, а женщины занимали всю левую сторону, а также стояли впереди по правую сторону. Служба длилась недолго. После службы мы решили посетить старца Ивана Иваныча (кажется) Мякотина, раньше довольно крупного мельника, имевшего в Кургане или около одного мельницу, стоившую 40—50 тысяч рублей. Теперь, конечно, у него ничего не осталось, но он все же не производит на вас впечатление бедняка. Одет он хорошо, живет в отдельной келье, саженьях в 60—80 от зданий монастыря, под склоном

М<алого> Теремка. Главное занятие его пока — переплет старинных книг, их высылка знакомым и продажа. Есть что-то от торгаша в нем, да простит он мне мое заключение скороспешное.

Мы просидели с ним порядочно, купили у него две книги. Я — Псалтырь, а Е<фим> Н<иколаевич> — о Выговской обители, кажется. Деньги старик любит и счет им ведет по старой привычке, хотя жить ему остается не так-то много.

У старика очень много интересных книг, но он их или не продает, или просит страшно большие деньги. После посещения Ив. Иваныча мы зашли к матушкам «отобедать чево бог послал».

Мы сидели, «питались», а матушка Аполлиария рассказывала нам о разбойниках, нападавших на монастырь в 1916 году:

— Сестрицы, быстро, на огороде с картошкой возились, весна, сеяли. Ну и всякую там овощ. Гляжу, бежит одна сестричка:

— Матушка Аполлиария, там каки-то прохожие. — Ну, я и скрываю:

— А прохожие, так и пусть пожалуют. — Допрежь-то мы всякого человека потчевали хорошо. Через время мало гляжу, а они идут, навроде бы, как вот вы: в пиджачках, с сумочками: «Здравствуй, бабушка».

— Пожалуйте, говорю, гостеньки, что вы хотите от обители?

— Продайте, — сказывает один, — нам хлеба.

— Нет, мол, продать мы не продадим, а так вам дадим.

— Так нам, бабушка, много, — говорит, — надо. Нас 8 человек.

— А где же, мол, у вас остальные?

— Да они там, — говорит, — в лесу. Прислали нас хлеба купить.

Ну, я побежала тогда к матушкам Ираиде и Ирине и все им обсказала.

— А ну так что. Дай им всем по калачику и пусть идут с богом.

Я так и сделала, а через мало время прибегает одна сестрица и говорит, что эти люди неладные, в лесу чё-то прячутся.

— Да что ты, говорю ей, бог с тобой.

И самой волнение так ни с чего запало. Хожу будто спокойная, а сама все мучаюсь. Не стерпела под конец и пошла к матушкам:

— Так, говорю, и так, неладные люди это были, в лес утянулись, сама видела.

— Да сиди ты, не болтай молодым-то, — говорит мать Ираида.

Мое дело како, давит сомнение, и вечер накрывает. Скосила я на коня, да к Евсею Иванычу на пашню, он с Федюшкой, у которого вы стоите, пахали. Прибегаю к нему, рассказываю.

— А, дак что же, — говорит покойник, — мы вот с Федюшкой пошабашили на сегодня дело, можем и ехать.

Оседлали коней и едем. Гляжу, а между прошлогодней травы человек лежит. Я толк Евсея Иваныча — гляди, мол, человек лежит, чё он прячется? А этот-то разбойник, видно, услышал да и сказывает:

— Проезжай, проезжай, старушонка...



Я так и обомлела. Подъезжаем к поскотине<sup>20</sup>, а у ворот 8 коней привязано и караул. Кинуться куда-нибудь нельзя — убьют. Ну, нас задержали. Евсею Иванычу руки связали, Федюшка забился во дворе под сваленные сани и оттуда глядит. Нас всех согнали в келарию<sup>21</sup>, матушкам караул поставили и весь наш монастырь изрыли, все золото, похоже, допытывались, да так ничего и не нашли. Ну, перепугались мы тогда. Нет, слава богу, нас не тронули. Только все изрыли, да разве малость какую взяли, одеяло у богатой сестры да коня с конюшни. Потом мужики утром-то за имя погнались — отняли все, а задержать не удалось.

Матушка Аполлигария и сейчас, рассказывая, все еще словно боится, что двое пришедших — это мы, а там, за поскотиной, в лесу еще шестеро добрых молодцев ждут ночи, чтобы потом поискать богатства, скрытые в монастыре. Мы смеялись, об этом говоря.

— Не обидьтесь, гостеньки, на меня, стару, не думаячи таку штуку сказала.

Мы благодарим за обед и идем к себе на заимку, чтобы потом с ночевой отправиться к Ванифатию Ивановичу Егорову, по дороге бросаем в омуток Банной лесу с удочкой, и четвертовый харьюзишка выскочил на берег. Мы увлеклись и проловили очень долго. Поймали пять добрых харьюзишек. После на печке на палочке жарили и ели. Пермитин говорил, что так очень вкусно, но мне не понравилось.

## У Ванифатия Ивановича Егорова

Заимка Ванифатия Ивановича, или, как его здесь зовут, Нифантия Ивановича, стоит на Убе, в двух верстах ниже впадения речки Банной. Идти все время приходится берегом, по гладко обточенным цветным галькам. На половине пути в Убе есть небольшой порожек, впрочем, даже не порожек, а несколько глыб некогда скатились в ее русло, и теперь она ревет и мечет зверем. Ах, как она недовольна этими препятствиями! Интересно бы взглянуть на ее пороги. Говорят, она на расстоянии 7 верст зажата в камни, как в тиски, и ревет, конечно, невообразимо.

Приблизившись к заимке, мы на пути встретили скалу, которую никак не обойти, она круто и отвесно опускается в зеленую воду Убы. Начинаем кричать, чтобы подали лодку. Вся семья была дома, и старший сын, еще недавний женатик, с шестом в руках перегнал лодку к нам, и через 10 минут мы уже стояли на кухне пред лицом самого хозяина.

Ванифатий Иванович — громадный круглолицый детина 60 лет, а ни одной седины. Одет в грубую пестрядину домашней работы, а по верх рубахи — пиджачишка домотканого сукна. На ногах старые чирки. В лице как-то трудно прочесть его служение богу. Оно полное и наливное. Такое лицо часто бывает у мясников, единственное привлекает — синие глаза и ровный голос.

<sup>20</sup> Поскотина — место для выгона скота, окруженное изгородью, рядом с домом.

<sup>21</sup> Келария — помещение в обители, где хранятся припасы.

Весь вечер проговорили о божественном. Рассказывал Ванифатий Иванович свои скитания в поисках веры. Видно, что молодой он искал, побродил по земле за правдой. Поэтому он снисходителен к нам, поэтому ему хочется вернуть в нас веру такую же, какой когда-то горел сам.

— Давно это, чтоб за столь верст люди ноне веру правую искать ходили. Ну, а пошли, так и бог на помощь. Пейте из этого родника — в нем бо жизнь и радость человеческая. Что человек без веры? Пустое место, трава сорная, которую хозяин придет и вырвет, как ненужную... А Хозяин придет вот-вот. Чудится мне, что пришествие Христа близко. Гуляет по земле антихрист. В книге Кирилловой<sup>22</sup> читали? 25 неделя... Вот оно все сбывается: рыбы в реках стало мало, птица исчезат, зверь, бог его знает, куда уходит — все готовится к суду божию...

Томительно слушать целый вечер наставления и божественные цитаты. Перебрали много книг. Добре угостил нас Ванифатий Иванович пивом (розовым, как шипижник). Пермитин после двух стаканов — постель попросил, ну а я долго еще сидел и говорил. С отцом вместе накинулась на меня, как на человека утопающего, его дочь. Уж она пичкала-пичкала меня разными догматическими вещами: отчего таинство на 7 просфорах совершается, отчего сейчас у нас православная церковь болтается из стороны в сторону, что безбожие и хулиганство, какое есть в наших селах, — результат трудов самих наставников-попов. Это они не углядели свою паству. А когда пастырь спит — овца хлеба зорит. Так и тут. Теперича вон жида всей Россией управляют, а православным русским людям хоть бы что. Разве это дело?

Ну до чего же она злая в писании. Страх! Такая баба пойдет, ей-богу, перекрестит по-своему. Правда, наутро нам хозяин втер свое пожелание:

— Приезжайте-ка на будущее лето. Я вас тогда прямо крещу, и кончено. Дело это благое. Думайте-ка...

Утром мы более занимались перелистыванием старинных книг. Есть рукописные. Но купить их нет никакой возможности. Кержаки за каждую книжку держатся во как.

Жаль, не записал я родословную его и все касавшее его жизни. Надо взять у Гребенщикова. Человек он интересный.

Вернулись после доброго обеда. Ванифатий Иванович покормил нас тайменем. Ах, какая красота эта рыбка, да на пудик так весом! Он показывал нам, как надо производить ловлю тальмешка. Ефим Николаевич поймал тут одного харьюза. Вечером сборы, завтра рано в путь. Коней не нашли — идем пешком.

## 12—13 августа 1926 г.

Встали с солнцем. Где-то недалеко в болоте кричал сторожевой журавль. Ах, как он, шут, кричит громко! Как шаркнет, так мне все казалось, что такой крик можно слышать в Новониколаевске.

<sup>22</sup> «Кириллова книга» — религиозный сборник, изданный в 1644 г. в Москве. Один из главных текстов старообрядческой книжности.

Хозяйка уже сготовила чай и на стол поставила по бокалу (кружка) пива. Оно-то меня после и вгоняло в пот. Медовое — от этого, видно, человек страшно потеет. Позавтракав и поблагодарив хозяйку за гостеприимство (Федор уехал куда-то к пильщикам), мы направились в путь, решив проститься с матушками.

В монастыре мы захватили очень немного людей. Все были на сенокосе. Они часто делают так, по особой договоренности с тем или иным заимочником. Они, например, скосят его траву, а он им смечет ихнее сено в стога. Но в этот день они косили свое. Ранняя косовица не принесла пользы. От дождей все сено погнило. Сейчас устанавливается ведро, и они решили «подвинуть остатную траву». Кроме своих коней, у них зимой часто бывают гости, а где же человек столько корму наберет, чтоб прожить два-три дня? Вот и пользуются монашеской добротой.

Но сейчас нас встретила мать Аполлинария и мать Фиония. Мать Аполлинария просила подождать, пока мать Васса выйдет. Послала за ней, но та пришла неспешной походкой. Дело было у матушки Вассы такое: написала она письмо, а свезти в «мир» его некому. Мы, конечно, взяли его опустить в Усть-Камане в почтовый ящик. Мать Васса предложила коней до Кондрушихи — 10 верст. Мы категорически отказываться начали. Нам хотелось поразмять ноги, хотелось походить по Алтаю, а не только ездить верхом.

— Нехорошо нам этак-то гостей провожать. Встретили-то мы по платью, так хоть проводить-то хочется по уму.

Но мы отстояли свое желание идти пешком. Простились, пожелали друг другу всяческих благ, и мы, вскинув мешки на плечи, покинули тихое священное место, где живет еще старая древняя Русь, и пошли пешком по склону.

Поднявшись на первый взлобок Б<ольшого> Теремка по тропе, я выразил желание остановиться, запечатлеть в памяти монастырь и, если можно, — зарисовать. Художники мы не гарные, но все-таки каждый чертил.

В то время, когда я неумело наносил штрихи, показалась верхом матушка Васса. Она догоняла нас, чтобы еще раз предложить услуги. Мы увидели, что противиться их желанию неловко. Мать Васса взяла наши сумки и увезла до сенокоса. На сенокосе нам представилась такая картина: человек 25 монашек, бросив работу, шли к балагану завтракать. Какая это все же дружная семья. И когда я слышал предложения Кизилова — вопреки Риддера — о разгоне «монашеской банды», мне казалось, или он глуп, как пуп, или тут говорит власть на местах. Разгонять такую коммуну просто глупо. У них надо учиться многому, чтобы строить жизнь по-коммунистически.

Нам оседлали пару лошадей, дали проводником мать Надежду (в миру Наталья). Дорогой она нам многое поясняла неясное. Например, что есть малый и большой постриг. Первый — когда постригают, но монахиня может жить в среде монашек, с ними работать и т. д. Второй — когда человек после пострига уходит от мира в келью и его труд —

пост и молитва. Волосы, обрезаемые при постриге, хранятся в монастыре до смерти, и, когда монахиня умирает, ее волосы кладут с ней в гроб.

Работы у них разделены: есть сапожник, мельник, шорник и т. д.

Заезжали к Федоту Савельевичу, старик растерялся, плакал. Прибежал с покоса внук. Ох, много он ему доставляет хлопот. Все почти сваливает с себя на него. От этого дедушка кряхтит, хозяйствишко у него малое: лошадь да 30 хохлаток. Живет со старухой. Он прекрасен как тип. Надо его написать.

В Кондрушихе остановились у Григория Максимовича Зуева — их начетчик. Очень неплохой человек. Болел, что не может дать своих коней. Здесь такой обычай: весь гулевой скот пускают в лес — и бог знает, где он ходит. Никто не знает. По этой причине мы не получили коней. Рабочие же лошади все на пашнях, в лесу и вообще в работе. Мы решили идти до Б. Чесноковой пешком. Ах, что это был за путь! Четырехверстные подъемы взяли без передыху. Во время спуска встретили людей. Те нас испугались, побежали, но когда догнали мы их, то подружились сразу. Мальчик Терентий (Тереха) сразу выдал страх старших:

— Это тетенька Аксинья испугалась, а я за ней.

Разговорились, и сразу дружба. Они взяли наши сумки и увезли, а мы долго еще бродили по реке в поиске уток, к ужину. У ворот нас, как дорогих гостей, встретил старик — хозяин дома. Он так и выразился:

— Пожалуйте, дорогие гости.

Поражаешься гостеприимству этих людей. Нигде сейчас на Руси не сыщешь такого гостеприимного народа. Нам поставили ужин, и, как везде, разговоры о боге и антихристе.

Терешка (9 лет). Его мы приласкали, и он раскрылся. У него были отец и мать. Отец помер, а мать убежала к другому. Ему же с братишкой — 7 лет, оставила по рубахе и по штанам, все остальное забрала. Живет она где-то далеко, Терешка ее не видит. Он о ней говорил так мне, когда ехали в Риддер:

— Дяденька! А что, матери ничо не будет, что она нас бросила? Неужто бог не накажет?

Его вопрос заключает в себе — требование этой кары, и я соглашаюсь:

— Обязательно накажет.

— Разе мысленно так: бросила и ушла? Сначала брат к ней приехал. Айда, рассказывает, Марья домой, мать на смертном одре лежит. Ну, дедка ее и отпустил. А она забрала все и уехала. Этого бог не простит.

— Да, да... Не простит... — твержу я за ним. Мне не хочется возмущать детскую душу так рано.

— Не хочу я здесь жить. Вот подрасту, и нога моя здесь не будет.

Пришли мужики. Лошадей до Риддера нет, но одни берутся нас доставить, только с условием 6 рублей за трех лошадей.

— Да что у них, креста нету, что ли? — крикнул вдруг Пермитин. Хозяин тоже не прочь был взять 6 рублей, но, услышав такие слова, закрутился:

— Разе мысленно эдакая сумма?

Утром он дал нам лошадей. К Пермитину повесили сумку, а сзади меня посадили Терешку. Вот какой доверительный здесь народ. Дали двух лошадей и послали всего-навсего с нами мальчика. Прекрасный парень Терешка, я ему на прощание дал 15 копеек на конфеты.

В Риддере на этот раз было сухо. Но он настолько опротивел раньше, что мы решили не оставаться в нем ни минуты. Даже обедать не остались. На станции закусили колбасой.

Ночевали с поездом на станции Черемшанка, недалеко от деревни Черемшанки, откуда Ваня Ерошин вывез столько прекрасных стихов, а с ними вместе и боль на всю жизнь.

Село стоит на красивом месте.

#### 14 августа 1926 г., Усть-Каменогорск

Кончен путь в горы, и как-то не хочется писать последние страницы. Так много было прекрасного в моем коротком путешествии. Ведь одни встречи с такими старыми людьми, с такими благородными, как Федот Савельич Антропьев. Мысленно не хочется с ними расставаться. Долго еще будут стоять они перед взором. Но путь вперед окончен, теперь только один путь остался — назад, по городам, селам, к тому городу, где начинает биться мысль края.

Не хочется прощаться с просторами, с этим чистым воздухом и добровольно отдавать себя в кошмарный плен, в сырость и вонь нашей сибирской столицы. А приходится. Прощай, Алтай! К. Урманов.

#### 15, 16, 17 августа 1926 г., Усть-Каменогорск

Пароход сел на мель, и я сижу в Усть-Камане. Скучно. Хочется уже к семье, к сыну. Вырос, вероятно, уже теперь, лепечет, поди.

А пароход, несчастный «Алтай», сел на мель ниже Гусиной пристани и сидит. Пошел ему на помощь «Казахстан», не знаю, скоро ли выручат.

Ближе познакомился с Лапиным, с его женой Екатериной Филипповой. Зазубрина у них остановилась. Почему она не остановилась у Пермитиных? Это дело тонкостью пахнет. А шут с ними.

Мне удалось кое-что узнать о Пермитине. Он ведь учился у Бориса. Это мне теперь ясно. Об этом сказал и сам Борис, а также об этом говорят те отрывки, какие мне прочел Борис. Пермитин вышел из Бориса. Язык пермитинской «Уба дурит» — язык Лапина. В этой вещи часто видишь все пейзажи, разговоры, да много чего, вплоть до Рахметки, — все принадлежит больше Лапину, нежели Пермитину.

Хотелось бы ближе узнать Лапина. Он в творчестве страшно осторожен, по 10 раз вещи переделывает. Все черпает непосредственно из жизни. Он был очень тронут, при моем присутствии, когда услышал от Варвары Прокопьевны похвалу рассказу о Биче, герое, убитом самосудчиками.

Написал он большую вещь «Леска», пошлет в «Сибирские огни». Ванька Ерошин на Алтае, в Крутихе, — клеит свои немудрые октавы, тогда как у самого лирический тенор. Не за свое дело Ванюха взялся. Для мудрых октав еще не слишком мудр Ванюха.

Когда Борис Лапин читал отрывки у себя на дому — Пермитин вдруг потерял настроение и целый вечер был убит. Неужели он чувствует себя виноватым? В чем?

### **18 августа 1926 г., Иртыш**

Наконец «Алтай» снялся с мели. Хотел я уехать один, но едем все — я, Пермитин и Варвара Прокопьевна с Игорем.

На пароходе теснота, скучища, сонь всех долит. Пьют чай, потеют, обтирают мокрые лица полотенцем и пьют, пьют.

### **19—20 августа 1926 г., Семипалатинск**

В 4 часа утра уходит поезд, а до 4 часов некуда себя девать. Сидим на станции. Кто дремлет, кто уже уснул. Я борюсь со сном.

В пути встретил чудиков, которые верят в скорое пришествие земного коммунистического рая. Любопытно бы было их спросить, не принадлежат ли они к оппозиции. Слишком им почему-то хотелось рая, и скорого.

### **21 августа 1926 г.**

Мелькают родные места. Вот Бердск, вот Иня, а там далее мост через Обь и на правом берегу Новосибирск.

В половине второго колеса вагона догрохотали свою чугунную песню для меня и смолкли. Станция Новосибирск.



Александр ШЕКШЕЕВ

## **«ДА ВОЗДАСТЯ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО»: МИФЫ И РЕАЛИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ**

Одной из легендарных личностей отечественной истории XX столетия является участник Гражданской войны и советский писатель Аркадий Петрович Голиков (Гайдар). Его жизненный путь получил широкое освещение в научно-справочных, литературоведческих и биографических трудах. Родился он в 1904 году, был родом из семьи учителя и уроженцем города Льгова Курской губернии. Окончил пять классов реального училища. Летом 1917 года Голиков стал рассыльным в клубе большевиков, а в начале 1918 года вступил в Первую арзамасскую большевистскую дружину. С июля того же года он служил секретарем в редакции газеты «Молот», органа арзамасских совета и комитета большевиков, с сентября — делопроизводителем в партийном органе.

27 августа 1918 года большевики приняли Голикова в свои ряды, но из-за молодости — лишь с совещательным голосом. Полноправным членом РКП(б) он стал только 15 декабря того же года. Тогда же Голиков начал службу адъютантом командира Арзамасского коммунистического батальона, затем начальника охраны железной дороги. С марта 1919 года он был слушателем Московских (позднее Киевских) пехотных курсов комсостава РККА им. Н. И. Подвойского, в составе которых выступал против украинских повстанцев. С сентября того же года Голиков в качестве командира роты сводного курсантского полка защищал от петлюровцев Киев, воевал с белополяками, был ранен и контужен. В феврале — марте 1920 года он продолжил учебу в школе комсостава, воевал, командуя ротой 34-й Кубанской дивизии, на Кавказском фронте. С февраля 1921 года Голиков был командиром 23-го запасного полка в Воронеже, с июня — исполняющим обязанности начальника 5-го боевого участка и командиром 58-го Нижегородского полка на Тамбовщине, где при подавлении крестьянского восстания получил ранение. Зачисленный в Военную академию Генштаба, он в сентябре 1921 года был отозван в Башкирию на должность командира коммунистического батальона. По приказу штаба частей особого назначения (ЧОН) республики 9 февраля 1922 года он прибыл для прохождения дальнейшей службы в Иркутск, а затем был направлен в ЧОН Енисейской губернии.



Через два года большой чоновский командир был демобилизован, а с 1925 года начал публиковать свои произведения, стал журналистом и одним из основоположников советской детской литературы. С началом Великой Отечественной войны Гайдар добился направления спецкором газеты «Комсомольская правда» на Юго-Западный фронт. Попав в окружение и сражаясь пулеметчиком партизанского отряда, он осенью 1941 года у села Лепляво Полтавской области погиб. В 1947 году прах Гайдара был перезахоронен в городе Каневе. Он был награжден орденами «Знак Почета» и Отечественной войны I степени<sup>1</sup>.

Вместе с тем сибирский период жизни Гайдара, богатый трагическими событиями, круто изменившими биографию и духовный мир будущего писателя, был длительное время неизвестен общественности, а затем быстро заполнился сведениями противоречивого характера. Радикально разные и несовместимые друг с другом взгляды авторов были напрямую связаны с их мировоззренческими установками, с эмоциональным приятием или неприятием ими тех или иных аргументов и интерпретаций событий. Когда жажда однозначности перебарывает знание — рождаются мифы.

### Миф первый. «Победитель Соловьева»

Первыми, обнаружив некоторую архивную информацию, в 1965 году сообщили о нахождении Гайдара во время Гражданской войны в Ачинско-Минусинском районе историки Г. Д. Вдовенко и И. А. Прядко<sup>2</sup>. Своими воспоминаниями о встречах с Гайдаром, которые якобы имели место в ряде мест Ачинского уезда, поделился назаровский пенсионер Н. К. Казанцев<sup>3</sup>.

Но самый существенный вклад в создание его облика как героя, ликвидировавшего местный «бандитизм», внес собкор газеты «Красноярский рабочий» Г. Ю. Симкин. Обнаружив в подмосковном Загорске бывшего чоновца П. М. Никитина (Паша Цыганок, Батя), дослужившегося до звания капитана госбезопасности в отставке, он с его слов создал цикл статей, в которых впервые рассказал сибирскому читателю о борьбе Гайдара с «бандами», и в частности о штурме чоновцами под его руководством штаб-квартиры повстанческого вожака И. Н. Соловьева на Поднебесном Зубе (на хакасском языке — Тигір Тізі), а также о его разведчице Анастасии Кукарцевой<sup>4</sup>.

Данные сведения, дополненные воспоминаниями бывшего чоновца Т. Г. Швецова, приводились затем также в статьях Г. Д. Вдовенко и в книге Б. Н. Камова<sup>5</sup>. В дальнейшем выступавшие в периодической печати краеведы, журналисты, партийные работники и бывшие чекисты, тиражируя рассказ о ликвидации Гайдаром местного «бандитизма» и дополняя его не существовавшими в действительности деталями, например о разгроме соловьевцев в Туве,

<sup>1</sup> Камов Б. Н. Обыкновенная биография (Аркадий Гайдар). М., 1971; Он же. Рынок в неведомое. М., 1991; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983. С. 139; Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия. М., 1985. С. 199; Енисейский энциклопедический словарь (ЕЭС). Красноярск, 1998. С. 123; Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. П-42. Оп. 6. Д. 180. Л. 5.

<sup>2</sup> Прядко И. Комбат шестого сводного // Красноярский рабочий, 1965, 22 октября; Вдовенко Г. Всадник, скачущий впереди // Там же, 1965, 5 декабря.

<sup>3</sup> Казанцев Н. К. «Тот самый Гайдар» // Советское Причулымье, 1966, 11 декабря.

<sup>4</sup> Симкин Г. Гайдар в Сибири // Красноярский рабочий, 1967, 14, 17, 19, 25, 26 февраля.

<sup>5</sup> Вдовенко Г. Боевая дивчина // Советская Хакасия, 1968, 29 сентября; Он же. Память в народе. Страницы из жизни А. Гайдара // Там же, 1970, 24 февраля; Камов Б. Н. Обыкновенная биография. С. 79, 85, 88, 94, 97.



продолжали преувеличивать его роль в этой истории<sup>6</sup>.

Героический облик Гайдара был представлен в ленте советских кинематографистов и на страницах художественных произведений. На киностудии им. А. М. Горького создали приключенческий фильм «Конец императора тайги» (1978), главным героем которого являлся молодой Гайдар. Образ его в лице комбата Д. Горохова воплотился на страницах романов А. И. Чмыхало «Отложенный выстрел» (1981) и «Седьмая беда атамана» (1994).

Однако наступившая с перестройкой деидеологизация общественных представлений о советской эпохе способствовала освещению ранее сокрытого в облике и деятельности ее героев, и в частности Гайдара. Обратившись к сибирскому периоду его жизни, Камов поведал о трудностях военного времени, переживаемых молодым командиром в далекой и провинциальной Хакасии, о болезненных явлениях в его поведении и расстреле им людей<sup>7</sup>. Лучший на тот момент специалист по истории красноярской милиции Д. А. Бугаев, традиционно рассказав о победах Голикова, якобы одержанных в схватках с соловьевцами, счел необходимым указать, что причиной его отъезда с занимаемой должности послужили допущенные им расстрелы пленных «бандитов»<sup>8</sup>.



И. Н. Соловьев, 1910-е гг. Архив автора

## Миф второй. «Каратель»

Между тем настоящей сенсацией для сибирской общественности явилось появление книги В. А. Солоухина<sup>9</sup>. Подбор использованных автором источников не был значителен. В основном это были некоторые биографические публикации, художественное произведение, известные специалистам газетные материалы начала 1920-х годов, незначительные архивные изыскания местного историка, воспоминания людей о фактах преступной деятельности коммунистов и даже реферат школьницы. Однако для отдельных представителей хакасской общественности это не было значимым. Важным было то, что Солоухин во весь голос озвучил сокрытое в памяти коренного населения преступное отношение к его предкам со стороны советской власти и назвал автором всех карательных

<sup>6</sup> Владимир Н. В шестнадцать мальчишеских лет // Красноярский комсомолец, 1973, 1 марта; Кожевников Г. Всадник, скачущий впереди // Красноярский рабочий, 1974, 22 января; Шорохов М. Вспоминая минувшие дни // Восточно-Сибирская правда, 1984, 14 февраля; Полежаев В. Здесь жил и воевал Гайдар // Советская Хакасия, 1987, 21 августа; и др.

<sup>7</sup> Камов Б. Испытание // Литературная газета, 1990, № 5. С. 12.

<sup>8</sup> Бугаев Д. А. На службе милицеейской. Кн. 1. Ч. 1. Красноярск, 1993. С. 29, 238—239.

<sup>9</sup> Солоухин В. А. Соленое озеро. М., 1994.





деяний, совершенных ею в Хакасии, известного русского человека. Он обвинил Гайдара в убийстве конкретных лиц, массовых расстрелах от 76 до 134 коренных жителей и в организации утопления множества людей в местных озерах. Согласно этой книге, ярким событием оказалось ледовое пиршество красноармейцев, будто бы отмечавших день рождения своего командира на телах невинных людей, приготовленных к казни в ледяной купели.

Информация, изложенная в книге Солоухина, вызвала массовые отклики читателей, опубликованные как в центральной, так и местной периодической печати. Целому ряду авторов она позволила вспомнить ужасы и невзгоды, пережитые коренными жителями во время Гражданской войны, и негативно высказаться о деятельности «Аркашки». Среди этих публикаций глубиной проникновения в тему и замыслом привести высказанные мнения к какому-то общему знаменателю выделялся цикл статей, написанных журналистом В. В. Полежаевым<sup>10</sup>. Рассказывая о происхождении имени Гайдара, о якобы особых отношениях его с М. Н. Тухачевским, И. В. Сталиным и следуя в фарватере солоухинских инсинуаций, этот автор попытался подтвердить их убедительным аргументом — воспоминаниями о зверствах «гайдаровцев», записанными у жителей одного из хакасских селений.

Одновременно множество авторов, с ностальгией вспоминая советское прошлое и пользуясь возможностью критиковать современную им действительность, с возмущением отвергли обвинения Солоухина в адрес Гайдара и сочли эту книгу лживой и безнравственной. Нами же тогда была опубликована статья, в которой обосновывалась необходимость более взвешенного подхода к оценке деятельности всех участников тех событий<sup>11</sup>.

С сильными эмоциями, несомненно воздействующими на читателя, был создан захватывающий материал о Гайдаре Н. Ольховой. Он поражал показом болезненного состояния и нервного истощения чоновского командира и будущего писателя. Однако автор, справедливо объясняя этим его поведение в Гражданскую войну, загрузил статью доводами, не имевшими документального подтверждения. Заверяя, что в красноярских архивах документы о жестоких расправах чоновцев над местным населением не сохранились, она сообщила о встрече в 1960-е годы сына Гайдара с проживавшей тогда в абаканском доме престарелых А. А. Кожуховской, у которой когда-то в Форпосте, или Соленом озера, квартировал его отец. Она-то якобы и рассказала о неровностях в характере и поведении молодого человека, о записках Соловьева с приглашением встретиться, погостить у него и о несбыточной мечте ее квартиранта поймать «Ваньку». Впервые этот автор заявил и о том, что «атаман» Соловьев добивался отделения Хакасии от России<sup>12</sup>.

### Красный бандитизм

Сопутствующим элементом установления советской власти на территории Сибири, а более всего в бывших партизанских районах стал красный бандитизм. Его феномен нашел отражение в партийно-советских документах, выступлениях коммунистических вождей и лиц, возглавлявших советские правоохранитель-

<sup>10</sup> Полежаев В. У злого времени в плену // Хакасия, 1995, 5, 6, 7 июля.

<sup>11</sup> Шекшеев А. Да, то время было трудное и противоречивое, ужасное и счастливое одновременно! Но мы и тогда жили! Как историческую действительность утопили в «Соленом озере» // Хакасия, 1995, 23, 25 марта.

<sup>12</sup> Ольхова Н. Военная тайна Аркадия Гайдара // Комок, 1998, 23 декабря.



ные органы, а затем получил освещение в трудах отечественных историков<sup>13</sup>. Для понятия «красного бандитизма» в 1920-е годы было характерно расширительное толкование и переадресация его проявлений отдельным лицам, что снижало уровень возможных обвинений государства в осуществлении зачастую антинародной политики. Например, весной 1922 года Енисейский губернский комитет РКП(б) относил к нему попытки коммунистов созвать различного рода партийные собрания, направленные на срыв продовольственных заготовок, а в 1925-м о вхождении Сибири в новую полосу красного бандитизма сообщал Ф. Э. Дзержинскому сибирский полпред ОГПУ И. П. Павлуновский<sup>14</sup>. Но и современные историки считают, что факты, собранные ими, подтверждают предположение одного из исследователей о том, что красный бандитизм существовал все 1920-е годы. Пережив в своей эволюции этапы «классовых» расправ, «красной уголовщины», массового возрождения на базе деформации и свертывания новой экономической политики (нэпа), это явление, по их мнению, оказало большое влияние на осуществление сталинской «революции сверху».

Первую брешь в этих утверждениях пробило заявление еще одного автора о том, что красный бандитизм не являлся государственной политикой<sup>15</sup>. На наш взгляд, историки чрезмерно расширили сущность красного бандитизма, его временные рамки и влияние на судьбы деревни. Преступления, осуществленные представителями советской власти при продовольственной разверстке и раскулачивании, в основном не были самочинными, а являлись составной частью репрессивной государственной политики. Более правильным было бы представить красный бандитизм как действия революционно настроенных отдельных бывших партизан, представителей власти и бедняцких масс, членов первых коммунистических ячеек, которые по собственной инициативе совершали грабежи, тайные убийства и расправы над категориями якобы «общественно вредных» граждан, а потом объявляли свои действия «борьбой с контрреволюцией».

Красный бандитизм, прямым предшественником которого являлось так называемое деструктивное поведение партизан во время Гражданской войны, был обусловлен, во-первых, жестокостью белой армии и крестьянских повстанцев, за которую сторонники советской власти мстили. Носителями радикальных настроений были люди с низким уровнем культуры и материального достатка, избравшие в работе с населением лишь методы принуждения. Причины их появления заключались в психологическом состоянии общества, воспитанного на экстремизме военного времени и равнодушного к чужой и собственной жизни. Само существование широкого слоя вооруженных людей, для которых война стала единственной профессией, в совокупности с «огрублением» общественных нравов делало красный бандитизм неизбежным. Его распространению способствовала атмосфера борьбы в партийно-советском руководстве различных группировок и лиц за власть, «кризис сознания», который при переходе к нэпу переживали многие коммунисты, обвинявшие своих вождей в предательстве революционных идеалов.

<sup>13</sup> Шишкин В. И. Красный бандитизм в советской Сибири // Советская история: проблемы и уроки. Новосибирск, 1992. С. 3—79; Он же. Шарыповское дело // Октябрь и Гражданская война в Сибири. Томск, 1993. С. 153—174; Угроватов А. П. Красный бандитизм в Сибири (1921—1929). Новосибирск, 1999; Тепляков А. Красный бандитизм // Родина, 2000, № 4. С. 81—85; и др.

<sup>14</sup> Государственный архив Новосибирской области (ГАОНО). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 361. Л. 39; Павлова И. В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 2001. С. 92.

<sup>15</sup> Шуранова Е. Н. К вопросу о предпосылках «красного бандитизма» в Сибири // История Белой Сибири. Кемерово, 2003. С. 238.



Наконец, красный бандитизм порождался обстановкой вооруженной борьбы правительственных войск с крестьянским повстанчеством, когда они для собственного выживания занимались «самоснабжением» и, в сущности, подвергали разграблению целые территории. Чаще всего жертвами красного бандитизма становились сельская интеллигенция, более удачливые в жизни соседи из крестьян и ачинско-минусинские инородцы.

Вопреки сложившемуся представлению о том, что красный бандитизм начался в Сибири в ноябре-декабре 1920 года, его проявления отмечались и ранее. Еще весной с передвижением частей Красной армии и роспуском по домам партизан в деревнях Красноярского и Ачинского уездов под угрозой расправы происходили захваты крестьянских лошадей, подвод, имущества, денежных знаков и незаконные аресты жителей, а также пьяные безобразия. При зачистке территорий от остатков колчаковцев чекистами, красноармейцами и милиционерами изымались у крестьян продукты и вещи, ликвидировались «подозрительные» лица. В Ирбейской волости Канского уезда красноармейцы 152-й бригады убили учителя. Посещая с целью обысков улусы Кызыльской волости Ачинского уезда, население которых было заподозрено в сокрытии «бандитов», и угрожая расстрелом, милиционеры арестовывали, избивали и грабили инородцев. Прочесывавший Усть-Есинскую волость Минусинского уезда и обнаруживший местных жителей, справляющих Ильин день, отряд уничтожил араку (хакасскую молочную водку), перепорол и избил участников этого праздника. Выдавая себя за белых и конфискуя продукты и лошадей, разъезжал по улусам в районе рудников «Юлия», «Улень» и железнодорожной станции Сон отряд Кормилина, расстрелявший там же семь человек. 10 октября от рук красноармейцев отряда ВОХР во главе с П. Л. Лыткиным погибли 34 хакаса из улуса Большой Арбат, заподозренные в «казачьем бандитизме»<sup>16</sup>.

Новая и более сильная волна насилия над деревней со стороны коммунистов и бывших партизан, обусловленная их активизацией в связи с призывом в Красную армию и необходимостью подавления крестьянских восстаний, началась с ноября 1920 года. В ночь на 7 ноября в селе Рождественском и ближайших деревнях Канского уезда бывшие партизаны расстреляли 69 членов «контрреволюционной организации» — служащих советских, кооперативных органов и представителей интеллигенции. 17 ноября, после отбытия отряда, искавшего оружие, жители села Нижне-Игнатьевского того же уезда обнаружили в проруби задушенными пятерых односельчан. Самосудами, незаконными конфискации и убийствами арестованных отличались минусинские милиционеры. Сотрудники местного политбюро в декабре 1920 года были вынуждены двоих из них арестовать, а на других завести 15 дел. Однако в ночь на 14 января 1921 года в селе Новоселово местные милиционеры во главе со своим начальником Ардашевым убили и бросили в полынью продовольственного работника и семерых членов семьи священника<sup>17</sup>.

Частыми стали случаи, когда лица, арестованные по подозрению в отсутствии лояльности к новой власти и обладавшие какими-то ценными вещами, умерщвлялись конвоем якобы при попытке к бегству. В августе 1920 года трое милиционеров из села Усть-Абаканского Минусинского уезда самочинно

<sup>16</sup> ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 152. Л. 10; Ф. П-1. Оп. 2. Д. 161. Л. 288; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 50. Л. 6, 37; Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 29. Л. 82; Ф. Р-49. Оп. 2 с. Д. 2. Л. 46; Ф. П-64. Оп. 5. Д. 336. Л. 1; Муниципальное казенное учреждение «Архив г. Минусинска» (МКУ «АГМ»). Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 334. Л. 304.

<sup>17</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 50. Л. 52; Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 459. Л. 58; Д. 284. Л. 3; ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 151. Л. 53.



**Группа представителей советской власти в Минусинске.**  
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартыанова

расстреляли четверых арестованных. Начальник милиции 9-го района, сопровождая арестованных, одного из них убил, а другого — ранил. Через месяц красноармейцами, пытавшимися ограбить задержанного, при конвоировании из села Покровского в Красноярск был ранен советский служащий. Абаканские коммунисты при сопровождении из Форпоста в Минусинск застрелили и ограбили шестерых задержанных продовольственных работников. Конвоем были убиты вывезенные из селений Агинское и Кобинское в Канск более двадцати советских, кооперативных служащих, священник, агроном, учитель и крестьяне<sup>18</sup>.

Начиная с февраля 1921 года отряды красноармейцев, милиционеров и коммунистов, преследуя и уничтожая прорвавшихся в Хакасско-Минусинскую котловину сержских и зелеевских повстанцев во главе с бывшими офицерами Базаркиным и Олиферовым, одновременно преследовали местных жителей. Распространяя слухи о нахождении в каком-нибудь селении «банды», они врываются в него, подвергая инородцев арестам и расстрелам, а их имущество — разграблению. В ночь на 15 февраля в селе Шарыпово по инициативе начальника Ачинской уездной милиции П. Е. Пруцкого и под руководством партизанского вождя М. Х. Перевалова были удушены и брошены в полынью несколько десятков местных крестьян. По приказу председателя Кызыльского волисполкома А. А. Тартачакова в улусах Малое и Черное Озеро расстрелу и удушению подверглись от 23 до 28 хакасов, на которых пало подозрение в снабжении «бандитов» оружием и продуктами. Волостной комиссар Л. Тартачаков лично душил людей и спускал их в озеро, насиловал арестованных женщин и заставлял коммунистов, угрожая наганом, топить людей. В июне 1921 года в озерах у селений Божье Озеро и Парная всплыли восемь трупов, опознанные жителями как односельчане, исчезнувшие еще зимой. Выяснилось,

<sup>18</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 170. Л. 88; Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 2566. Л. 14; Д. 256е. Л. 16; МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 130. Л. 14; Д. 262. Л. 8; Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.



что коммунисты в водоем у села Божье Озеро «загнали», а значит, и утопили, вероятно, до ста человек коренного населения<sup>19</sup>.

Передвигаясь по улусам Кызыльской волости и требуя в кратчайшие сроки выдать «банды», коммунистические и милицейские отряды весной 1921 года совершили множество преступлений, в частности, умертвили пятерых инородцев, конфисковали у коренного населения имущество, продукты и лошадей. Имели место и случаи изнасилования женщин. Такое поведение представителей власти заставляло не только инородцев, но и русских искать укрытия в тайге, что механически превращало их в «бандитов». Оно обострило национальные отношения до такой степени, что собравшийся 5 июня 1921 года в одном из улусов Объединенный инородческий съезд постановил с целью обособления от русского населения создать в Минусинском уезде новую Черно-Подкаменскую волость с собственной милицией, состоявшей из «белых партизан»<sup>20</sup>. Между тем грабежи и убийства в инородческом районе продолжались. В июле 1921 года отрядом Гусева был разграблен улус Малый Тайдонов, а по приказу командиров Ковригина и Елизарьева коммунистами и красноармейцами вблизи улуса Половинка и деревни Парной были убиты четверо человек.

Подобными же преступлениями была отмечена деятельность представителей советской власти и в других местностях Енисейской Сибири. В январе 1921 года массовый характер приобрели расстрелы коммунистами так называемых «спецов» в Красноярском уезде. В Минусинске «неизвестные» лица расстреляли бухгалтера отделения Губсоюза и девять агрономов, кооператоров и бухгалтеров. Весной того же года более двадцати членов комсостава коммунистических частей, заподозренные в контрреволюционности, погибли во время конвоирования из селений Усинское и Каратуз в Минусинск, а восемь таких же лиц — при отправке из села Кежда в Канск. В мае — июне застреленными якобы при попытке к бегству оказались семеро арестованных в Енисейском уезде, в мае и июле — столько же служащих агрономического пункта, четверо инженеров и техников в Канском уезде. В августе за убийство «бандитами» одного из командиров коммунистического отряда были расстреляны и выпороты двадцать крестьян села Курбатово Ачинского уезда. В селе Нижний Ингаш Канского уезда конвой по указанию бывшего партизана и председателя волостного исполкома Тесли задушил пятерых арестованных. Тогда же в Минусинском уезде убитыми оказались семеро специалистов земельного отдела, а в октябре похищенными — тринадцать служащих и крестьян<sup>21</sup>.

Период с весны по осень 1921 года в Енисейской губернии стал, как и в целом в Сибири, временем максимального распространения красного бандитизма. Начиная с лета того же года появились первые признаки осознания властью опасности, исходившей для нее от этого явления. Вопрос с красным бандитизмом был легализован, с августа в практику борьбы с ним вошли расстрельные приговоры. Но коммунисты с сочувствием относились к своим товарищам, подвергнутым уголовному преследованию за красный бандитизм, и для облегчения их участи даже пытались воздействовать на власть. Советское

<sup>19</sup> ГАКК. Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 256а. Л. 150; Д. 256б. Л. 3, 18, 24 об. — 25, 27; Д. 256е. Л. 5, 26—30; Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 10. Л. 113; ГАНО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 10. Л. 101.

<sup>20</sup> ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 271. Л. 83; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 140. Л. 15; Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 256в. Л. 20.

<sup>21</sup> ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 271. Л. 95; Ф. П-302. Оп. 1. Д. 151. Л. 37, 52—53; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 160. Л. 60; Д. 170. Л. 21, 30; Ф. Р-448. Оп. 2. Д. 326. Л. 12; Ф. Р-49. Оп. 2 с. Д. 6. Л. 48; Шишкин В. Находка в партийном архиве (И. Павлуновский. Обзор бандитского движения по Сибири) // Земля Сибирь, 1992, № 4. С. 69.

правосудие, в свою очередь, устраивало процессы театрального, профилактического характера. Наказуемые им вскоре освобождались по амнистии. Уже с 1922 года местные власти перестали рассматривать красный бандитизм как угрозу коммунистическому режиму и перешли к еще более мягкому наказанию преступников.

Последнее способствовало тому, что красный бандитизм оставался заметным явлением сибирской действительности. Массовый характер ему в это время придавало сосредоточение в районах активного повстанчества частей особого назначения. В начале 1922 года в уезды Енисейской губернии были направлены три роты и две пулеметные команды 6-го сводного отряда. Этот ограниченный контингент войск, размещенный в десяти селах и деревнях и используемый даже на охране ссыпных пунктов, не смог вести эффективную борьбу с повстанчеством. Но его красноармейцы заметно терроризировали мирное население. Прибыв в улус Чарков, отряд П. Комшина открыл стрельбу, заставившую жителей прятаться. Избивая их, бойцы требовали продукты и самогон, реквизировали имущество. Не обнаружив «банды» в селениях Сырского общества, Комшин с целью получить о ней сведения приказал гонять 25 мужчин по степи, а затем их выпорол. Красноармейцы и местные коммунисты, обнаружив десять ведер араки и перепившись, согнали жителей и начали избивать их поголовно, насиловали женщин (за это преступление Комшин и двое его товарищей были исключены из списков ЧОН и отданы под суд).

Сменившие их красноармейцы из отряда Торгашина были по поведению лишь немногим лучше своих предшественников. 7 апреля пьяными они заявили в улус Маковский Биджинского общества. После распития самогона в помещении сельсовета они стали заменять загнанных лошадей свежими, отбирая последних у жителей, а кое у кого конфисковали хлеб и одежду.

Незаконные действия чиновцев напугали население настолько, что власти были вынуждены 7 марта 1922 года арестовать в селе Аскиз 27 таких мародеров. Однако этого было недостаточно: уже в апреле изъятие имущества у некоторых инородцев (с убийством одного из них) улусов Больше-Уленьского общества и других селений Синявинской волости осуществляли красноармейцы отрядов Романова и Рудзевича. Позднее о ряде случаев гибели инородцев из-за произвола красноармейцев и милиционеров, расстреливавших и топивших арестованных, рассказал один из участников III беспартийной конференции национальных меньшинств Минусинского уезда (июнь 1922 года)<sup>22</sup>.

Весной 1922 года поддерживаемое населением повстанчество в инородческом районе заметно оживилось. В этой обстановке власти были вынуждены усилить ЧОН. Для рационального использования сил приказом командующего ЧОН губернии от 29 марта 1922 года были созданы три боевых участка<sup>23</sup>.

В это время в Ачинско-Минусинском районе и появился новый молодой командир по фамилии Голиков. Он не имел отношения к описанным случаям распространенного в то время красного бандитизма, которые ему после выхода книги Солоухина приписывали многие авторы. Но и поведение его в тех условиях не могло отличаться от действий других красных командиров.

<sup>22</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 141. Л. 137; ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 475. Л. 57; МКУ «АГМ». Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 166. Л. 136; Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 490. Л. 6; Ф. Р-191. Оп. 1. Д. 29. Л. 133—135; Д. 143. Л. 139.

<sup>23</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 145. Л. 9, 147, 177; Д. 496. Л. 4; Д. 685. Л. 2, 4.

## Начальник Второго боевого участка

В том, что Гайдар не принимал участия в этих преступлениях, прежде всего убеждают хронологические рамки его нахождения в Енисейской губернии. Вопреки фантазиям некоторых лиц, пишущих о том, что Москва вместо подкрепления людьми, продовольствием и боеприпасами прислала в Красноярск молодого командира, отличившегося в подавлении антоновщины, ситуация с его появлением была более житейской и простой.

Еще в 1975 году свою версию появления Голикова в качестве начальника боевого участка предложил один из авторов. Согласно его сообщению и опубликованным письмам Гайдара, в феврале 1922 года он прибыл в Иркутск, где находился штаб Восточно-Сибирского ЧОНа. Повидавшись с отцом, который служил в местном военном ведомстве, Голиков направился в Красноярск, где проживали родители женщины, которая должна была родить их общего ребенка. В Хакасию, на должность начальника Ачинско-Минусинского боевого района, он попал 24 марта 1922 года. Дела Голиков принял 27 марта, а 1 апреля отправился в свою первую разведку<sup>24</sup>.

Почти о том же говорят обнаруженные в архиве документы: комбат Голиков 19 марта 1922 года получил назначение на должность начальника Второго боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района, 26 марта выехал из Ужура в село Божье Озеро, а с 29 марта принимал командование участком<sup>25</sup>.

В распоряжении Голикова сначала находились 102 красноармейца 2-й роты 6-го сводного отряда с четырьмя пулеметами и 26 кавалеристов, но с прибытием небольших отрядов Измайлова, Васильева, Галузина и Барсукова численность его бойцов увеличилась до 165 человек. Выделив сорок красноармейцев для охраны курорта «Озеро Шира» и десять — в качестве гарнизона села Соленоозерного, Голиков основные силы держал при себе<sup>26</sup>.

Сводки событий, посылаемые чоновцами в свои штабы, позволяют создать следующую хронику деятельности Голикова и возглавляемого им отряда. Уже 31 марта Голиков с пятью красноармейцами выехал для обследования района. 1 апреля 1922 года, получив сведения от крестьян о нахождении в селе Новопокровском «банды» Родионова, чоновцы выступили для ее ликвидации. Однако «бандиты», забрав лошадей и продукты, успели скрыться.

Второго-третьего апреля разведка обнаружила места стоянок повстанцев вблизи села Божье Озеро. 4 апреля Голиков с 40 красноармейцами выдвигается в тайгу. 8 апреля он со штабом перебрался в Соленоозерную. Посланная вновь разведка выяснила, что «бандиты» на лыжах ушли в тайгу. С 18 апреля чоновский отряд вел поиски «банды» Кулакова в районе бассейна рек Белый Июс и Черный Июс, с 16 по 23 мая — «банды» Соловьева на саралинском направлении. В ночь на 25 мая отряд Шевелева, подчиненный Голикову, отбил нападение повстанцев Кулакова на село Чебаки<sup>27</sup>. Судя по этим документам, отряд Голикова в основном занимался разведкой, поиском и преследованием «банд», не приносящими положительных результатов.

<sup>24</sup> Осыков Б. И. Аркадий Гайдар. Литературная хроника. Воронеж, 1975. С. 50—51.

<sup>25</sup> ГАКК. Ф. П-42. Оп. 6. Д. 179. Л. 23; Д. 180. Л. 1.

<sup>26</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 49, 66; Ф. П-42. Оп. 6. Д. 179. Л. 5, 11—12; ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 434. Л. 145; Д. 495. Л. 28.

<sup>27</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 434. Л. 145, 159, 201; Д. 495. Л. 28; Ф. П-1. Оп. 2. Д. 200. Л. 148, 207; ГАКК. Ф. П-42. Оп. 6. Д. 179. Л. 7—10, 18—19, 22.



В отчете проверяющей комиссии приводились факты отсутствия оперативности в действиях Голикова и его отряда. В погоню за шестью-семью повстанцами «сажались на конь» все наличные красноармейцы. Сам же Голиков, гоняясь за «бандой», «стрелял белок» и на замечания своих товарищей почти не реагировал. Констатируя его «инертность», комиссия сделала вывод о необходимости применения к Голикову соответствующих мер<sup>28</sup>.

Уже 10 июня 1922 года Голиков был снят с должности и в дальнейшем находился при губернском штабе ЧОН<sup>29</sup>. В том же месяце, например, Минусинский уездный исполком был извещен, что комбат Голиков произвел расстрелы людей, побросал их трупы в реку, а дело, заведенное на него, расследуется уполномоченным губернского отдела ГПУ<sup>30</sup>.

Из этих данных следует, что в Ачинско-Минусинском районе в качестве чоновского командира Голиков находился с конца марта по первую декаду июня 1922 года, два с половиной месяца. То есть начавшиеся следом бои между чоновцами и повстанцами происходили уже без него.

### Мифотворчество продолжается...

Продолжая писать краеведческие труды или «художественные произведения», местные авторы не могли устоять от соблазна выразить свое отношение к Гайдару и Соловьеву и украсили их облик новыми небывшими. Для примера укажем, что, согласно одной из публикаций, Соловьеву, ставшему вдруг обладателем Георгиевского креста всех четырех степеней и «махровым монархистом», мог противостоять, конечно, только еще один герой — Голиков, почему-то назначенный автором в кавалеры ордена Красного Знамени. Оказывается, что еще в 1921 году чоновцы, находясь под командованием Голикова и Н. И. Заруднева, которых тогда и не было в Ачинско-Минусинском районе, «крепко потрепали» Соловьева<sup>31</sup>. В другой брошюре повторяется сообщение о «кровавом следе» Голикова — расстреле в бане на краю какого-то села шестнадцати хакасов, так и не выдавших убежища повстанческого вожака<sup>32</sup>. В то же время была совершена попытка реабилитации Голикова: его вина за расстрелы людей была приписана автором другому чоновцу. Этой же цели в дальнейшем способствовало сделанное данным краеведом сообщение о якобы имевшейся письменной связи чоновского командира и повстанческого вожака и нахождении у Соловьева пуда золота, конфискованного при налете «банды» на одном из рудников<sup>33</sup>.

Прозвучавшее во время юбилейных торжеств по случаю 100-летия со дня рождения писателя А. П. Гайдара (2004 год) и исходившее от членов его семьи признание в том, что по приказу их деда были «пущены в расход» от двух до четырех соловьевцев<sup>34</sup>, в какой-то степени снимало вопрос о его преступлениях в Хакасии. Нами после этого была высказано мнение, которое вело к консенсусу взглядов на данную проблему<sup>35</sup>. Однако публикация солоухинским последова-

<sup>28</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 49.

<sup>29</sup> ГАКК. Ф. П-42. Оп. 6. Д. 180. Л. 1.

<sup>30</sup> МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 490. Л. 9.

<sup>31</sup> Урман А. Золотое столетие. Исторические очерки. Абакан, 2001. С. 107, 109, 117.

<sup>32</sup> Комлев О. И. Черный Июс. Очерки. Красноярск, 2003. С. 41.

<sup>33</sup> Егоров К. Сумка с золотом. Абакан, 2003. С. 7, 14; Он же. Командир чоновцев Аркадий Гайдар // Шанс, 2004, № 4. С. 3.

<sup>34</sup> Добровольский А. Властелин детства // Московский комсомолец, 2004, 22 января; Гайдар Е. У меня корни, которыми можно гордиться // Известия, 2004, 23 января.

<sup>35</sup> Гайдар против Солоухина и Егорова. Беседа с канд. ист. наук Шекшеевым А. П. // Хакасия, 2004, 17 февраля.

телем материалов, вновь разоблачавших «злодейство» «пролетарского террориста», якобы убившего в названном регионе 300—400, а по другим данным — 80—90 человек<sup>36</sup>, показала живучесть прежних представлений.

Еще более эту проблему обострило появление весной 2005 года на телевизионном экране фильма О. Вакуловского «Возвращение героя», созданного будто бы с целью открыть «зловещую тайну» — выяснить причины исключения красного командира Голикова из РКП(б) и его демобилизации из рядов Красной армии. Фильм насыщен домыслами и фактами, не имеющими отношения к действительной истории. Например, в нем, согласно сообщению гайдаровского биографа Б. Н. Камова, рассказывалось о неизвестной историкам «войне» белых партизан, возглавляемых якобы «атаманом» и хакасским «национальным героем» Соловьевым, за отделение Хакасии от России и о наличии у Соловьева «золотого запаса». В фильме утверждалось, что проводившие расследование дела Голикова четыре комиссии не нашли в его действиях признаков преступления. Одной фразой упомянув о расстрелянных чоновцами соловьевцах, писатель сенсационно заявил, что причина профилактической акции, осуществленной чекистами, — снятия Голикова с должности заключалась в «огромных деньгах» — золоте, которым якобы обещал с ним поделиться боявшийся расстрела Соловьев.

### Архивные поиски. Последняя тайна

Ощущение несостоятельности прежних и новых рассказов о жизни Гайдара, понимание слабости аргументов, которыми объяснялось многими авторами поведение чоновского командира, заставили нас начать поиски первоисточников. Получив поддержку у местных архивистов, организовавших письмо от администрации Республики Хакасии в адрес коллег из красноярского архива с просьбой предоставить для ознакомления соответствующие документы, автор этой статьи выехал в город, где когда-то находился губернский штаб ЧОНа. Здесь, после недельного ожидания, в специальной комнате наконец и состоялось знакомство с делом, тем самым делом, о котором столько ходило слухов.

Так что же происходило в апреле — мае 1922 года в ширинских степях, почему имя Голикова длительное время воспринималось коренным населением Хакасии с таким страхом и ненавистью? Архивные документы рассказывают...

Оказавшись с небольшими силами в районе, где, по его мнению, половина населения поддерживала «бандитов», Голиков уже в начале апреля 1922 года информировал командующего губернским ЧОНОм о необходимости (по опыту Тамбовщины) введения против «полудиких инородцев» жестких санкций, вплоть до полного уничтожения «бандитских» улусов. Заверяя командование в своей готовности ликвидировать «банды», он просил направить к нему для этой цели дополнительно восемьдесят красноармейцев<sup>37</sup>. С появлением 18-летнего командира, все более в условиях бесконтрольности и из-за бессилия покончить с «бандитизмом» одержимого вспышками надвигающегося недуга, участились случаи жестокого отношения чоновцев к хакасскому населению. Избиениям и поркам подверглись некоторые жители улусов Барбаков, Подкамень и Балахта. В начале июня 1922 года врачом курорта «Озеро Шира» были зафиксированы побои у более чем пятидесяти жителей улуса Малый Кобежииков. Только по этой причине в «банду» Кулакова бежали двенадцать хакасов<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Полежаев В. Белый и красный бандиты или народные герои? // Абакан, 2004, 10, 17 марта.

<sup>37</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 66, 68.

<sup>38</sup> Там же. Л. 13, 33, 115, 140.

С недоверием Голиков, как представитель военной власти, относился к местным Советам, «изводившим» его, как сообщал он потом, «кипами жалоб и приговоров». Не сложились у него отношения и с уполномоченными губернского отдела ГПУ, которые, по его мнению, больше следили за поведением чоновских командиров и не занимались своими прямыми обязанностями — созданием агентурной сети. Голикову пришлось лично вербовать себе лазутчиков, действуя методом устрашения, что в свое время позволило Камову указать на наличие в его поведении «ненормальностей». 19 и 27 апреля комбат по подозрению в связях с «бандой» арестовал Ф. Н. Ульчигачева и И. В. Итенева, которые после избияния согласились стать его разведчиками. Им были выданы удостоверения, написанные на кусках материи и скрепленные кровавой печатью, а затем устроен побег<sup>39</sup>.

Согласно объяснению Голикова, для обеспечения агентурной работы материальными средствами он в Балахтинском улусе конфисковал шестнадцать «бандитских» коров, в обмен на которых Чебаковское отделение Губсоюза выдало пятьдесят аршин дефицитной тогда мануфактуры. С разрешения местных властей и под расписку его красноармейцы для своих нужд в улусе Сулеков изъяли девять овец<sup>40</sup>.

Между тем, судя по другим документам, чоновцы запомнились местным жителям своим мародерством. Сам будучи кем-то «раздетым», красноармеец П. Мельников в свою очередь отбирал одежду, деньги, часы и табак у населения улуса Большой Арыштаев и рудничных поселков. Если верить заявителям, таким же способом «самоснабжался» и его командир. Угрожая сожжением жилищ и расстрелом сопротивлявшихся, Голиков с красноармейцами в одном из улусов Сулековского общества конфисковал у якобы «бандитских» семей самовар, швейную машинку, пальто, шаль, трех коров, двух лошадей и девять овец, которые затем были отправлены в Чебаки, Сютюк и Подкамень для передачи местным коммунистам. Из заявления жителя Соленоозерной В. Терскова следовало, что Голиков, требуя сознаться в связях с «бандой», арестовал его и, имитируя расстрел, заставил заплатить за свободу 250 рублей золотом. Свидетели также показали, что комбат, появившись 8 мая в селе Старая Дума, откуда чоновцы накануне выбили «банду», и осуществляя обыски, угрожал жителям расстрелом. Пятьдесят же его красноармейцев в поисках «бандитов» обыскали все юрты улуса Сулеков и за два дня отняли у населения продукты, подвергли аресту и порке четырех жителей, отобрав у них предварительно мануфактуру и изделия из серебра. Они же 15 мая в улусе Подкамень изъяли у одного из хакасов три кольца из драгметаллов<sup>41</sup>.

В свои молодые годы комбат, жаловались очевидцы, часто появлялся пьяным среди красноармейцев и гражданских лиц, неоднократно посылал своего адъютанта Галеева в ближайшие селения за самогоном. На Пасху красноармейцы три дня пьянствовали, гуляя под гармошку, отобранную у инородцев. Сложные отношения сложились у Голикова и с подчиненными. Шестеро красноармейцев из вернувшегося с оперативного задания взвода, выказавшие недовольство его поведением, были арестованы и при отправке в Форпост лишены своих вещей. 22 апреля командир этого взвода подал вышестоящему командованию рапорт, в котором обвинил комбата в развале своего подразделения<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 49, 74.

<sup>40</sup> Там же. Л. 19—20, 28, 124.

<sup>41</sup> Там же. Л. 13, 34, 56, 119—120, 150, 156, 160.

<sup>42</sup> Там же. Л. 31, 34, 59, 84—85.

Но главное — документы подтверждают информацию о причастности Голикова к расстрелу лиц, заподозренных им в «бандитизме». Согласно заявлению сдавшегося «бандита», в улусах Малый Кобежиков и Кобяков аресту были подвергнуты жители С. Кобежиков, П. Рудаков и Кобяков. Будучи выпоротыми, первый и последний признались в хранении двух ящиков патронов и участии в «банде» в качестве «наводчиков».

Шестидесятилетнего и полуслепого Рудакова же склонили к признанию в связи с «бандой» не только физическим воздействием, но и обнаружением зарытых в земле вещественных доказательств: якобы полученных от Кулакова мануфактуры и ценных вещей. Благодаря заступничеству местных властей Кобежиков спасся, а Рудаков и Кобяков по приказу Голикова были расстреляны.

Десятого мая по заявлению жителей одного из улусов чоновцы арестовали секретаря сельсовета Ф. Сулекова, который якобы снабжал «банду» бланками документов. После избияния он согласился вывести их к становищу «бандитов». Но при попытке к бегству был ранен лично Голиковым и утонул в реке.

Пятнадцатого мая комбатом с двадцатью красноармейцами из улуса Подкамень в улус Итеменев был вывезен И. В. Янгулов, который будто бы, проживая по подложным документам, выдавал себя за советского работника. Подкаменский сельсовет, заявив о его невинности, опротестовал эту акцию чоновцев. Однако арестованный, сознавшись, что знает о местонахождении «штаба банды» Аргудаева, и пообещав Голикову вывести его отряд к нему, сумел бежать.

По информации, исходившей от арестованного «бандита», на заимке были арестованы отец и сын Костюки, а в улусе Воротжул — Г. Поросенов. Чоновцы заставили избитого старшего Костюка показать место, где находилась «банда». Когда же выяснилось, что она давно его покинула, Голиков приказал старика расстрелять. Младший же Костюк и Поросенов, претерпев избияния и согласившись показать «бандитскую» стоянку, ночью совершили побег. При этом последний был застрелен.

В целом за май 1922 года по приказу и с участием Голикова подчиненные ему красноармейцы расстреляли и убили при попытке к бегству пятерых человек<sup>43</sup>.

### Расследование и наказание

Такое отношение к населению со стороны этой воинской части вызвало паническую озабоченность за судьбы людей у представителей местной общестственности и советской власти. Жалобы на деятельность «Аркашки» поступали в соответствующие учреждения Ужура, Ачинска и Красноярска от инородцев Спириных. Телеграмму с просьбой о принятии мер по спасению людей от насилия красноармейцев прислал заместитель председателя Усть-Фыркальского волостного исполкома Коков.

С целью расследовать поступившие жалобы чекистами особого подразделения губернского отдела ГПУ 3 июня 1922 года было начато дело № 274 по обвинению Голикова в злоупотреблении служебным положением. В местах его службы побывала специальная комиссия во главе с комбатом Я. А. Виттенбергом, которая, собрав жалобы населения, заключила свой отчет требованием расстрела бывшего начальника боевого участка. Прибывший в Красноярск Голиков

<sup>43</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 13, 20—21об., 25—26, 39.

14 и 18 июня был допрошен в ГПУ. Показав, что все расстрелянные являлись «бандитами» или их пособниками, он признал себя виновным лишь в несоблюдении при осуществлении данных акций «законных формальностей». Согласно его объяснению, писать протоколы допросов и оформлять расстрельные приговоры было некому. Начальник особого отдела Коновалов нашел Голикова виновным в самочинных расстрелах и подлежащим заключению под стражу<sup>44</sup>.

Однако к тому времени в ГПУ уже знали об отношении к дальнейшей судьбе Голикова его командования. Еще 7 июня из штаба губернского ЧОНа в особый отдел была передана резолюция, начертанная командующим В. Н. Какоулиным: «Арестовать ни в коем случае, заменить и отозвать». Следуя указанию президиума Енисейского губернского комитета РКП(б), губернский отдел ГПУ 30 июня передал дело Голикова в контрольную комиссию (КК) при губкоме для рассмотрения его по партийной линии<sup>45</sup>. 18 августа данный орган решил обсудить его на совместном заседании президиума губернского комитета и КК РКП(б). Состоявшееся 1 сентября 1922 года заседание постановило перевести Голикова на два года в разряд испытуемых с лишением возможности занимать ответственные посты<sup>46</sup>. Столь мягкий приговор свидетельствовал не об отсутствии в действиях Голикова состава преступления, как заверял Камов, а лишь о наличии в общей практике наказания красных бандитов оправдательной тенденции.

Обнаруженные архивные сведения были опубликованы автором в специальном разделе книги<sup>47</sup> и в статьях на страницах краеведческого альманаха «Абакан» (2006, № 2) и газеты «Хакасия» (2005, 10, 14, 16 декабря). Однако, если судить по продолжавшимся публикациям и появляющимся периодически в интернете выдумкам, широкая российская общественность так и осталась в неведении о действительном положении дел в этом, тогда глухом, углу Сибири и таинственном участии в них Гайдара.

### Новый поворот в «гайдароведении»

Более того, стали появляться новые небылицы, квинтэссенция которых обнаружилась в новой сенсационной книге Б. Н. Камова. Будучи биографом Гайдара, он в 2009 году завершил свое «спецрасследование» его жизненного пути, а в 2018 году издал о нем книгу уже «без всяких мифов»<sup>48</sup>. В отличие от солоухинского «Соленого озера», эти труды не нашли большого отклика среди местной общественности, уже привыкшей к поверхностным и «сенсационным» писаниям различных авторов.

Прежде всего Камов разделался с Солоухиным, которого назвал «бывшим дезертиром кремлевского полка, платным осведомителем КГБ СССР и литературным хулиганом», «одурачившим» своей книгой все население страны («Мишень для газетных киллеров», с. 280). Там же он отметил и Шекшеева — как «публикатора», «внесшего реальный вклад в изучение трагических событий Гражданской войны в Хакасии», но «придирчиво-жесткого» в отно-

<sup>44</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 812. Л. 21 об. — 22, 27—28.

<sup>45</sup> Там же. Л. 2—3, 15, 43.

<sup>46</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 266. Л. 55; ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 467. Л. 106.

<sup>47</sup> Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побежденные. Абакан, 2006. С. 195—216.

<sup>48</sup> Камов Б. Н. Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров. Спецрасследование. М., 2009; Он же. Аркадий Гайдар без мифов. М., 2018.

шении к самому Голикову и «приписавшего в избытке строгости ему проступки, которые содержались в лживых доносах» (с. 316). Теперь уже и сам писатель согласился и стал использовать версию о кратком сроке нахождения Голикова в Хакасии и его соучастии в убийстве коренных жителей, даже увеличив численность погибших до восьми человек.

Между тем Камов значительно расширил версию о какой-то неизвестной историкам длительной войне коренного населения, якобы происходившей в этом регионе под командованием «народного вожака» Соловьева, против коммунистов. Дескать, за его спиной стояли некие политические структуры, которые строили обширные и далеко идущие планы. Получив титул «императора тайги» и находясь под влиянием своей жены, красавицы хакаски, Соловьев будто бы притеснял и расстреливал русских, а «малообразованным хакасам» сулил создание Хакасской независимой парламентской республики (с. 280, 389, 409, 440—442).

Заявив об этой войне, которая проходила, согласно сообщению автора, одновременно с Тамбовским восстанием, задуманным в парижских эмигрантских кругах, и была связана с ним (с. 397, 402), Камов тем самым уверил читателя в том, что в этой обстановке Голикову было не до соблюдения законности, и, в сущности, оправдал его поведение.

Вольно пользуясь отрывочными и выдернутыми из контекста фактами прошлого, не удосуживаясь подтверждать написанное документами, а часто просто додумывая, этот новоявленный «историк» не удержался даже от оскорбительной риторики в адрес героев того времени. Без всяких на то оснований Соловьев предстает у него человеком, от которого «хакасское население прятало девочек-малюток, до которых он якобы был особенно лаком» (с. 407). Организовавший гибельный удар по соловьевцам командующий губернским ЧОНОм В. Н. Какоулин, оказывается, был «слабым командиром», но оставался «хорошим интриганом» (с. 464). Председатель хакасских уездных советских органов Г. И. Итыгин, неоднократно организовывавший переговоры с Соловьевым, на страницах книги назван «горячим и смелым командиром», бравшимся его ликвидировать (с. 528).

Согласившись с тем, что Голиков и трех месяцев не был в Хакасии, Камов так и не отказался от идеи освещать его миссию как героическую. В ответ на то, что Соловьев и один из его помощников, Астанаев, создали особую систему разведчиков, якобы прошедших специальную подготовку (ха-ха-ха!), Голиков будто бы предложил сменить «стратегию» борьбы с «атаманом». Он начал перевербовывать повстанческих агентов и засылать таких «двойников» в соловьевский стан. Повторяя прежнюю романтическую историю об отношениях своего героя с местными жительницами, Камов рассказывает о трагической участи голиковской разведчицы Насти Кукарцевой, якобы замученной Соловьевым. Такая деятельность Голикова, счел наш историк, вызвала недовольство чекистов и доносы завистливых товарищей (с. 429—430, 439, 484—485, 487), которые и вылились в расследование.

Затем в этой истории, излагаемой Камовым, личность Голикова как бы раздваивается. Вот он отстранен от борьбы с повстанчеством, но в то же время, как выяснилось, оказывает решительное влияние на дальнейшее существование Соловьева. Москва вдруг согласилась на предложение Голикова и выдала главному повстанцу, поклявшемуся на кресте не вести боевые действия против советской власти, охранную грамоту (с. 504, 509). Такое завершение повстан-

чества хакасским народом было признано за победу Соловьева, отмечаемую в таежной глуши «грандиозными пьянками». Согласно объяснениям Камова, оставшееся не у дел чоновское командование, заверив центр в том, что огромные сокровища Соловьева пойдут на подъем народной экономики, добилось отмены гарантии неприкосновенности этому человеку и его людям (с. 511, 527). Данный исторический детектив заканчивается неожиданным выводом автора: действуя без Голикова, местные красные, не сумев сохранить бывшего повстанческого вожака живым, операцию по его ликвидации, конечно, провалили (с. 542).

«Слышал звон, да не знаю, где он» — такой сентенцией мог бы закончить свой труд человек, взявшийся освещать неподъемную для него тему. По своей исторической достоверности представленная Камовым книга оказалась не лучше солоухинской.

### Соловьев и «неизвестная хакасская война»

Повстанчество впервые в енисейской деревне возникло на территории так называемого инородческого района<sup>49</sup>. Ее тогда заселяли 50 000 хакасов и 10 000 русских<sup>50</sup>. Это явление прежде всего было обусловлено издержками русской колонизации и — вследствие немногочисленности интеллигенции — вылилось в своеобразную форму поведения местного населения со слабой политической окраской. Сначала волнения возникли среди верхне-аскизских инородцев, когда на их землях осенью 1919 года появились наступавшие и преследовавшие белых красные партизаны. Организованный властями красноармейский налет на один из улусов и произведенный чекистами весной 1920 года расстрел авторитетных среди коренного населения братьев Майнагашевых привел к тому, что с лета того же года окрестности этого селения стали для советских активистов местом постоянных засад. Осенью в Ачинско-Минусинском районе, наряду с «бандой» Майнагашевых, действовали мелкие группы инородцев, успешно грабившие население, кооперативные и советские учреждения и исчезающие при появлении вооруженных представителей новой власти.

Еще одной повстанческой силой, возникшей под влиянием дискриминационных мер победивших коммунистов, стали так называемые «белые банды», которые появились на территории Хакасско-Минусинской котловины с возвращением домой бывших военнослужащих белой армии или представляли собой сообщества лиц, пробивавшихся за границу.

Наконец, третьей силой явились возникшие осенью 1920 года под воздействием продразверстки и мобилизации молодежи и бывших унтер-офицеров в Красную армию повстанческие отряды крестьян, действовавшие сначала на территории Ачинского, Канского и Красноярского уездов Енисейской губернии. Под давлением воинских, милицейских и коммунистических частей они были вынуждены отойти на территорию инородческого района, где и потерпели поражение.

<sup>49</sup> Более подробно о Соловьеве и инородческом повстанчестве см.: Шекшеев А. П. «Мы в родной тайге, Соловьев, с тобой...» // Белая гвардия. Казачество России в Белом движении, 2005, № 8. С. 256—263; Он же. Гражданская смута на Енисее... С. 217—236; Он же. Инородческие банды на юге Приенисейской Сибири в начале 1920-х гг. // Крестьянский фронт 1918—1922 гг. М., 2013. С. 698—715; Он же. Военно-политические события в Ачинско-Минусинском районе в 1920—1921 гг. // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 10. Саратов, 2014. С. 291—307; Анненко А. Н. Триумф и трагедия «императора тайги»: документальная повесть. Абакан, 2012; и др.

<sup>50</sup> ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 152. Л. 8.

Но, уничтожив крупные силы повстанцев, правительственные войска ликвидировать инородческие «банды», которые поддерживались обществом, оказались не в силах. Более того, проявляемый ими красный бандитизм способствовал распространению массового бегства инородцев в горы или тайгу. В одном из документов губернских органов отмечалось: «С приходом в Сибирь советской власти, несмотря на ее благожелательную политику к национальным меньшинствам, взаимоотношения между русскими и туземцами... обострились... В результате многие из инородцев, побросав свои хозяйства, начали уходить в тайгу, и у большинства из них появилась даже мысль перекочевать в родственный им Урянхайский край»<sup>51</sup>. Вместе с мужчинами в труднодоступные таежно-гористые места уходили женщины, которые являлись не только участниками вооруженной борьбы и ограблений, но и хранителями семейного очага. Поэтому повстанцы, называемые коренными жителями «хасхылар», то есть словом, которым обозначались лица, вынужденные бежать от преследования коммунистов в тайгу, какое-то время выступали в качестве защитников местного населения от очередного насилия и гарантией сохранения его традиционного образа жизни.

Известными «бандами», кроме соловьевской и майнагашевской, в начале 1921 года на территории Хакасии являлись группы Аргудаева, Карачакова и братьев Родионовых. Они состояли из подтаежной кызыльской и сагайской бедноты, а также русских беглецов. Наиболее организованной и успешно действующей была «банда», возглавляемая Иваном Николаевичем Соловьевым.

Соловьев родился 30 сентября (по старому стилю) 1890 года в семье казака в станице Соленоозерной Минусинского уезда, окончил сельскую школу. Военную службу проходил в отдельной казачьей сотне, затем в Красноярском казачьем дивизионе. Сошелся гражданским браком с А. Г. Осиповой, которая, возможно, была инородкой. Во время Гражданской войны он служил в 1-м Енисейском казачьем полку, участвовал в боях на стороне белых, был ранен и произведен в старшие урядники, но никогда не избирался атаманом. С возвращением домой он был арестован милицией Ачинского уезда и содержался в 1-м Красноярском концентрационном лагере. Оттуда он бежал и возглавил борьбу таких же беглецов с произволом коммунистов. Очевидцы оставили такую его портретную характеристику: «Соловьев плотный, среднего роста... Худощавое лицо с копной русых волос, аккуратный рот, обрамленный небольшой подстриженной бородкой и усами, закрывающими крепкие зубы. Улыбка на лице его была редкая гостья, а если появлялась — была неприятна для говорившего с ним, что-то ласково-хищническое было в ней»<sup>52</sup>.

Широкая распространенность и большая живучесть так называемого «бандитского движения» в инородческом районе были обусловлены не только этническими, но и географическими, природно-климатическими особенностями региона, а также методами партизанской борьбы, используемой повстанцами. Ряды их не были постоянными. По требованию обстановки, из-за климатических условий или личных побуждений вожakov группы повстанцев, соединившись, образовывали крупную «банду», затем вновь расходились, скрываясь и действуя порознь. Как правило, численность повстанцев увеличивалась к лету. Так, в мае 1921 года в «банде» Соловьева было 180—200 человек. Затем его

<sup>51</sup> Отчет Енисейского губернского экономического совещания Совету Труда и Оборона с мая по октябрь 1921 г. Красноярск, 1922. С. 290.

<sup>52</sup> Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее... С. 219.





**Особый отряд по борьбе с бандитизмом. Минусинск, начало 1920-х гг.**  
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартыанова

отряд, расширившись до 650 повстанцев, организованных в роты, взводы, пулеметную и разведывательную команды, стал, по мнению чекистов, самой крупной «бандой» в этом районе.

Именно для времени с мая по сентябрь, когда степной ландшафт позволял совершать быстрые конные переходы и налеты, а тайга надежно укрывала повстанцев от преследования и могла при необходимости их прокормить, был характерен очередной всплеск «бандитизма». Порой повстанчество выливалось в захваты промышленных предприятий и крупных селений, а также обозов с продовольствием, доставляемым на рудники. Но вновь выдвинутые в инородческий район пограничные войска и войска внутренней службы начали одерживать победы над его участниками.

В начале июля 1921 года губернские власти для выяснения причин «бандитизма» в инородческом районе и ознакомления с нуждами его жителей создали чрезвычайную полномочную комиссию в составе представителей советского, партийного руководства и военного командования. Ко второй декаде июля комиссия прибыла на место, где выявила массу жалоб со стороны населения на деятельность всяческих отрядов. Мероприятия, организованные ею, способствовали налаживанию отношений между властью и коренными жителями, сокращению случаев красного бандитизма, возвращению к мирной жизни многих «бандитов», а также организации переговорного процесса с повстанцами<sup>53</sup>.

Деятельность комиссии показала, что мирное сосуществование инородцев с русскими и советской властью было возможно лишь на платформе национального строительства. Обратившись в Сибревком с письмом от 13 августа 1921 года, заведующий губернским отделом управления информировал его о том, что борьба с «бандитизмом» вылилась в «кровавую расправу» над населением, а

<sup>53</sup> ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 10. Л. 113.



специальная комиссия поставила перед губернским руководством вопрос об организации инородческого района с собственными органами управления. Но одобренный Сибревкомом процесс создания новой административно-территориальной единицы был временно прерван начавшимся взиманием продовольственного налога, отнимавшего все силы партийной организации и Советов<sup>54</sup>.

Вскоре комиссия, не уполномоченная вести переговоры с повстанцами, была обвинена в создании на местах «нездоровой обстановки», а мирные инициативы советской власти, оказавшиеся недостаточно эффективными в ликвидации повстанчества, сменила военная доктрина. Приказом командующего 5-й армией и Восточно-Сибирским военным округом И. П. Уборевича от 22 сентября 1921 года было указано воинским силам, милиции и ЧК до 15 октября того же года подавить повстанчество. Специально разработанная инструкция требовала уже не рассеивания, а уничтожения «банд»<sup>55</sup>. Однако выполнение этих указаний оказалось сначала невыполнимым. Губернское партийное руководство на своем заседании 11 ноября 1921 года объясняло, что «ликвидировать банду Соловьева своевременно не удалось, так как кавалерийские силы в 400 сабель подошли в Ужурский район только к 25 октября...». А далее признавалось: «Бандитизм имеет почву из-за безобразий со стороны милиции и комячеек»<sup>56</sup>.

Осенью «банды», часто под напором противника, распадались, их участники, порой объединявшиеся на один-два налета, расходились по улусам, сбывая награбленное и ведя разведку. Ядро же, состоявшее из 20—30 человек, приискав себе надежное место, оседало на зимовку, чтобы весной, вновь обретя сторонников, начать активные действия. Так, к осени 1921 года «банда» Соловьева уменьшилась до 200 членов, а в октябре распалась на группы. В декабре 1921 — январе 1922 года численность ее сократилась с 200 до 40 человек. Однако на учете у Карачакова, одного из помощников Соловьева, состояли 200 хакасов, проживавших в это время в своих улусах и готовых по сигналу взяться за оружие<sup>57</sup>.

С вводом кадрового состава и мобилизацией в части особого назначения деревенских коммунистов проявления красного бандитизма на территории Ачинско-Минусинского района еще более усилились. Они вызвали острое недовольство среди коренного населения, а следом и расширение масштабов повстанчества. К лету 1922 года на территории Енисейской губернии действовали 11 «банд» — Кулакова (60 человек), Родионова (35), Марьясова (30), Мотыги (15), Карелина (15), Колтышева (15), Мосина (10), Майнагашева (5), Самкова-Друголя (7), Саломатова (35—40) и Соловьева (40). Авторитетный среди повстанцев Соловьев объединил часть отряда Родионова, «банды» Кулакова, Астанаева, Мотыги и Кийкова. В созданном его окружении и действовавшем под монархическим знаменем Горно-конном отряде им. Михаила Александровича Романова насчитывалось одно время около 500 человек, организованных как воинская часть. У Соловьева находили пристанище инородцы — подростки, бежавшие с лесоповала, охотники, лишенные своего промысла, и конокрады, активно преследуемые властями. Здесь же скрывались немногие русские — бывшие казаки и офицеры, красноармейцы-дезертиры и даже советские служащие и коммунисты, недовольные деятельностью своих товарищей или повязанные их кровью.

<sup>54</sup> ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 152. Л. 8, 44.

<sup>55</sup> МКУ «АГМ». Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 12. Л. 491; Д. 35. Л. 190; Д. 153. Л. 2—4.

<sup>56</sup> ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 271. Л. 132.

<sup>57</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 374. Л. 32; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 170. Л. 104; Д. 311. Л. 10.



Судя по чоновским документам, обеспокоенные собственной легитимностью и пополнением своих рядов, повстанцы выдвигали множество лозунгов. Исходя из них, современные историки зачастую представляют бывших «бандитов» и «кулацких мятежников» белыми, чуть ли не монархистами, носителями идеологии социалистов-революционеров и анархистов и даже националистами. На самом деле в чистом виде они не были ни теми, ни другими, ни третьими. Согласно наблюдениям современников, большинство из них, как и сам Соловьев, политических убеждений не имели<sup>58</sup>. Какого-то влияния на повстанчество национальная интеллигенция, вероятно, не оказывала, и лозунги за самостоятельность инородцев или независимость Хакасии не воплощались в конкретной деятельности повстанцев. Но по всем признакам она являлась осознанно антикоммунистической. В сохранившейся записной книжке Соловьева имелись поселенные списки местных коммунистов, которые, по образному выражению очевидца, представляли «жалкую картину затравленных зверей», при случае вырезаемых «бандой». По мнению противника, с лета 1922 года деятельность соловьевцев осуществлялась под лозунгом «За беспартийные советы и против коммунистов»<sup>59</sup>. Однако к советской власти повстанцы относились по-разному. Порой они громили сельские и волостные исполкомы, тут же ликвидируя их служащих. Но почти одновременно велись переговоры между гражданскими, военными властями и Соловьевым о переходе повстанцев к мирной жизни. При этом некоторые акции «банды» носили уголовный характер.

Когда повстанчество достигло своего апогея, Военно-политическое совещание Енисейской губернии создало чрезвычайную тройку по проведению карательных мер среди населения южных местностей региона. В результате арестов при гарнизонах были собраны заложники, представлявшие в основном женщин и детей из семей активных повстанцев. За деяния, совершенные повстанцами против советской власти, по постановлениям тройки были расстреляны 40 заложников<sup>60</sup>. Ее деятельность, говорилось в январе 1923 года в докладе командующего губернским ЧОНОм региональному партийному руководству, «поставила грань между бандитами и мирным населением»<sup>61</sup> и тем самым содействовала ликвидации повстанчества.

Осенью 1922 года на зимовку, организованную в Белогорье, с Соловьевым ушли, вместе с женщинами и детьми, лишь 140 лиц его личной «банды». Организуя ее, вожак разрешил брать у населения лишь самое необходимое для поддержания жизни, потребовал от взводных командиров и бойцов вежливого отношения к населению. Двоих насильников даже расстреляли. Отличившихся повстанцев поощряли объявлением благодарности. Оценивая воинские способности Соловьева, чоновцы считали, что он был «хорошим воином в партизанских действиях», а его ближайший помощник отмечал присущие ему храбрость и собранность в боевой обстановке. Однако он же свидетельствовал, что его командиру, не обладавшему общим и военным образованием, было трудно руководить массами в бою. В то же время Соловьев был ревностен в исполнении командирских обязанностей. Повстанцы отмечали характерные для него скромность, скрытность, мягкость и любезность в отношениях с населением<sup>62</sup>.

<sup>58</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 493. Л. 44.

<sup>59</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 369. Л. 8; Д. 493. Л. 44; Ф. П-1. Оп. 2. Д. 199. Л. 172; ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 299. Л. 22.

<sup>60</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 369. Л. 89.

<sup>61</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 480. Л. 79.

<sup>62</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 685. Л. 148; Д. 687. Л. 143, 193, 237.



**Отряд истребителей банд в Минусинске, начало 1920-х гг.**  
 Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова

К этому времени части особого назначения подверглись реорганизации и пополнились бывшими партизанами и инородцами, было налажено боевое снабжение. Часть коренного населения, устав от угроз, грабежей и поборов, осуществляемых как представителями власти, так и повстанцами, решила помочь советской власти. Обеспечив добровольцев продуктами и фуражом, инородческие общества выставили в поддержку ЧОНа 1080 человек и подарили 120 лошадей<sup>63</sup>. К зиме 1922/1923 годов отряды истребителей захватили главное зимовье повстанцев.

Конец повстанчества был предопределен рядом факторов. Утрата в зимних условиях главной базы и бегство из района, контролируемого красными частями, имели для повстанчества крайне отрицательные последствия. За ноябрь 1922 — январь 1923 года были убиты 30—50 соловьевцев. В целом по губернии потери повстанцев составили 249 человек погибшими и 153 — пленными<sup>64</sup>. Событием, приветствуемым хакасами и совпавшим с ликвидацией повстанчества, стало образование, согласно постановлению ВЦИК от 14 ноября 1923 года, Хакасского уезда.

Некоторые свободы, дарованные нэпом, и признание коммунистами права хакасов на суверенность лишили оставшихся в живых повстанцев народной поддержки. Численность их сокращалась. В Енисейской губернии к 1921 году насчитывалось 800—900, к сентябрю того же года — 550, летом 1922 года — 500 и к 1923 году — лишь чуть более 100 «бандитов»<sup>65</sup>. Соловьеву удалось реанимировать повстанчество с участием лишь нескольких десятков человек.

<sup>63</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 369. Л. 8; Д. 480. Л. 74.

<sup>64</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 480. Л. 79—80; ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 666. Л. 28; Д. 685. Л. 8.

<sup>65</sup> ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 480. Л. 80.

На переговорах, организованных военными властями в мае 1924 года, он был схвачен и во время поднявшейся суматохи застрелен охранником.

Следовательно, соловьевщина не являлась масштабным в рамках страны и Сибири явлением. Не была она, сочетавшая в себе политические и уголовные деяния, и сугубо национальным движением.

Сам Соловьев, выступавший незадолго до своей гибели на одном из районных съездов Советов и переживший, по мнению одного из авторов, состояние «триумфа»<sup>66</sup>, не стоит, конечно, такой идеализации хотя бы потому, что виновен в пролитой крови. Только, к примеру, летом 1921 года его «банда» «выбила» в инородческом районе до 100 коммунистов и 10 милиционеров. В Чебаках в братскую могилу легли зарубленные и расстрелянные 87 коммунаров. Большие потери понесла Усть-Ербинская комячейка: из 120 ее членов живыми остались лишь 25 человек<sup>67</sup>. Терроризируя через год население, «банда» А. Кийкова в селе Коксина предала смерти шестерых мирных жителей, а «банда» Кулакова на приисках и в селе Усть-Бирь — 15 человек. На руднике «Улень» убитыми оказались фельдшер и его жена, на станции Шира — трое служащих. 25 июля 1923 года при нападении на почту «бандиты» застрелили бойца, 6 августа — землемера, 10 сентября — инженера и старшего охраны одного из рудников, а еще троих охранников зарубили<sup>68</sup>.

### «Золото Соловьева»

Российское общество падко на сенсации. Вспомним, что длительное время интерес наших современников вызывало так называемое «колчаковское золото». Согласно же заверениям Б. Н. Камова, существенное воздействие на события в Хакасии имело «золото Соловьева». Конечно, оно присутствовало в жизни тех повстанцев, которые не были способны удержаться от грабежа своих соплеменников. Но это был совсем не тот драгоценный металл, что, как увлекательно рассказывается в уже упоминавшейся книге Камова (с. 520—522), пришел к Соловьеву с обнаружением клада крупного владельца золотых приисков К. И. Иваницкого или был привезен к нему остатками отряда Олиферова.

После событий 1917 года Иваницкий эмигрировал в Маньчжурию и обосновался на жительство в Харбине. В конце 1920-х годов бывший золотопромышленник обратился в Государственный банк СССР с письмом, в котором предлагал купить у него спрятанное на территории советского государства золото в количестве пяти пудов. Условия банку показались выгодными, и он заключил с заявителем специальное соглашение. Осенью 1930 года из Харбина в Красноярск приехала его жена — О. Е. Иваницкая. Чекисты, которым было поручено сопровождать ее в бывшую резиденцию — село Чебаки Хакасского округа, разыскали местного охотника-хакаса Муртаха — Е. Г. Качаева, когда-то устраивавшего охоту для Иваницкого. С его помощью сотрудники ОГПУ откопали в местечке Азыргай тайник с несколькими ящиками золота. Приве-

<sup>66</sup> Анненко А. Н. Триумф и трагедия «императора тайги».

<sup>67</sup> ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 96. Ч. 1. Л. 154; Д. 2566. Л. 53, 26; ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 369. Л. 8; Д. 685. Л. 151об.

<sup>68</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 685. Л. 151об.; Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив» (ГКУ РХ «НА»). Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 2. Л. 146, 172; Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 3. Л. 117.

зенное в Красноярск, оно было в соответствии с условиями договора поделено между сторонами<sup>69</sup>.

Что же касается членов «банды» Олиферова, которые якобы доставили Соловьеву ящики с золотом, то, как свидетельствуют архивные документы, их воссоединение происходило следующим образом. Окруженные наступающими советскими войсками в селе Сорокино Ачинского уезда, олиферовцы в ночь на 14 февраля 1921 года, оставив до 20 человек убитыми, вырвались с помощью местного крестьянина. На лошадях, захваченных в пути и покрытых вместо седел овечьими шкурами, повстанцы численностью от 110 до 200 человек группами уходили от преследования в сторону Минусинского уезда, намереваясь затем достичь Урянхая и Монголии.

Встретив разведку соловьевской «банды», они не соединились с нею. Лишь после разгрома олиферовцев в бою под селом Уты Бейской волости остатки их 1 марта объединились с повстанцами во главе с Майнагашевыми, а в июле 1921 года оставшиеся в живых 18—20 олиферовцев на недолгое время перешли в отряд Соловьева<sup>70</sup>. В этих условиях, когда рядом с каждым из них стояла смерть, надо полагать, везти с собой ящики с золотом у них не было ни сил, ни возможностей.

Действительно, в одном из документов было засвидетельствовано, что на Федоровском руднике повстанцы изъяли 14 фунтов 75 золотников, то есть более шести килограммов промышленного золота. Кроме того, у них имелись награбленные у населения изделия и золотые рубли, которыми «бандиты» рассчитывались при игре в карты. У самого Соловьева было два золотых кольца — обручальное и «с семью камнями белого цвета». Из металла, конфискованного на руднике, пять фунтов было спрятано соловьевцами Н. В. Кулаковым и Л. А. Талкиным вблизи улуса Улень. В декабре 1922 года Кулакова убили, а Талкин, сдавшийся в июле 1923 года и пообещавший чекистам показать тайник, при выезде на место сумел бежать. В конце марта и начале апреля 1924 года кузнецкими чоновцами была обнаружена и разгромлена последняя стоянка Соловьева, где скрывались «бандитские» семьи и было припрятано имущество на черный день. Найденный здесь «клад» состоял всего из 40 долей (доля — около 44 миллиграммов) золота в трех кусках, золотого кольца, пары золотых и трех сережек из серебра<sup>71</sup>.

Скорее всего, большое золото Соловьева было таким же мифом, как и многое другое, что окружало эту личность.

### Необходимое послесловие

После решения партийными инстанциями вопроса о его судьбе Голиков осенью 1922 года покинул Красноярск. Учитывая переживаемое им состояние травматического невроза, Реввоенсовет 18 ноября предоставил больному командиру полугодовой отпуск. В январе 1923 года Голиков по семейным обстоятельствам вернулся в Красноярск. Об этом свидетельствуют письмо, адресованное арзамасскому приятелю, и празднование в Красноярске очередного юбилея Красной

<sup>69</sup> Бушуев В. Операция «Золото» // Чекисты Красноярья. Красноярск, 1991. С. 253; Урман А. Золотое столетие. С. 55.

<sup>70</sup> Шекшеев А. Неизвестный «сибирский Корнилов» и его поход // Сибирские огни, 2016, № 10. С. 169—172.

<sup>71</sup> ГАНО. Ф. П-302. Оп. 1. Д. 685. Л. 29, 151об.; Ф. Р-20. Оп. 3. Д. 3. Л. 118об.; ГКУ РК «НА». Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 3. Л. 72; Архив Управления ФСБ по Красноярскому краю (АУ ФСБ). Д. 021837. Т. 5. Л. 30.

армии, на котором ему как ветерану 26-й Златоустовской дивизии были вручены денежная премия и малиновые галифе. Известным письмом от 17 января 1923 года своей сестре из Красноярска он сообщал: «Мне приходится уехать на месяц в Физиобальнеотерапевтический институт в Томск. На днях по поручению губкома был созван консилиум, и врачи определили: истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии, с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности».

Еще дважды РВС давал ему полугодовой отпуск, в течение которого Голиков проходил лечение в лефортовской военной больнице — 1-м Красноармейском Коммунистическом госпитале. Но болезнь не отпускала. 1 апреля, а по другим данным — в ноябре 1924 года Голиков, к тому времени переживший еще и семейную драму, в звании командира полка был уволен в резерв<sup>72</sup>.

Отношение же представителей советской власти к населению, схожее с поведением Голикова, после его наказания не изменилось. Например, в сентябре 1922 года коммунисты, арестовав по подозрению в связи с «бандой» четырех крестьян Перовской волости Канского уезда, одного из них убили во время избияния, а другого — расстреляли. В очередной раз красный бандитизм получил распространение во время формирования и деятельности так называемых истребительных отрядов. Осенью того же года красноармейцы из отрядов Овчинникова и Дерябина самовольно изымали фураж у населения, совершали грабежи, а их командиры, пьянствуя, безобразничали. Взводный В. А. Кудрявцев вблизи рудника «Улень» с целью ограбления расстрелял двоих инородцев, подлежащих призыву в ЧОН. Но мародерство чоновцев продолжалось и после расформирования истребительных частей. Виновные предавались суду ревтрибунала, однако наказание их не было справедливым.

С ликвидацией крестьянского повстанчества, заставлявшего держать на определенных территориях воинские силы, красный бандитизм утратил характер массового явления. Но почва для него продолжала существовать. Например, в апреле 1923 года среди бывших партизан Ачинского уезда заметными были попытки возложения всех налогов на «контру» и создания фиктивных контрреволюционных организаций, члены которых провоцировались на антисоветские выступления и уничтожались. 1 августа того же года милиционеры, избившие заключенных Канского местзакза и заставлявшие их сознаться в убийстве, во время следственного эксперимента застрелили одного из них. Уже в 1925 году прокурор Сибирского края П. Г. Алимов, совершая с комиссией поездку по Ачинскому и Минусинскому округам, обнаружил, что «значительная часть членов и кандидатов (в члены ВКП(б). — А. Ш.) вооружена и без оружия не мыслит себе работы». Тут же он указывает и на наличие террористических акций по отношению к «спецдам» и случаев «брожения» среди бывших партизан, недовольных отсутствием льгот и недостатком внимания к ним со стороны местных властей<sup>73</sup>. Поэтому рецидивы красного бандитизма, все более приобретававшего признаки заурядной уголовной преступности, продолжали периодически возникать.

В этих условиях трагичной оказалась не только судьба Соловьева, но и его семьи, ближайшего окружения. Рассмотрев дело участников его «банды», по которому обвинялись 106 человек, Енисейский губернский суд 23 ноября 1923 года приговорил девять подсудимых к смертной казни, а многих — к тю-

<sup>72</sup> Письма Гайдара // Смена, 1970, № 10. С. 31; Камов Б. Н. Обыкновенная биография. С. 79, 111.

<sup>73</sup> Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее... С. 205.

ремным срокам и конфискации имущества. 24 ноября 1924 года тот же суд приговорил одиннадцать соловьевцев и членов их семей, в том числе отца и жену Соловьева, к расстрелу. Вторичное слушание этого дела, проходившее, согласно постановлению Верховного суда РСФСР, в марте 1925 года, закончилось для десяти подсудимых, в том числе и Осиповой, лишением свободы. Дело престарелых родителей Соловьева за нецелесообразностью было прекращено<sup>74</sup>.

\* \* \*

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. За столь короткий срок нахождения в Ачинско-Минусинском районе А. П. Голиков не мог быть руководителем и «героем» ликвидации здесь «бандитизма». Не являлся он также и «карателем», автором преступлений, которые совершили до него иные лица. В то же время Голиков не отличался от других представителей красной армии, способных механически переносить свою ненависть к ведущему боевые действия противнику на окружающее население. Будучи психически истощенным и находясь в состоянии постоянного стресса, он являлся инициатором и участником расстрелов и прочих преступлений, характерных для Гражданской войны.

Вместе с тем Гайдар, в отличие от многих лиц со сходным поведением, оказался болезненно совестливым человеком, для которого совершенное им в Хакасии обернулось жизненной трагедией. Подвижнический труд на литературном поприще и принятая за Родину сравнительно ранняя смерть на полях Великой Отечественной войны во многом искупили несправедливые поступки его молодости.

На долгие годы имя другого героя этого очерка — Соловьева, несмотря на то, что его помнили среди хакасов, было предано забвению. Затем о нем стали говорить лишь как о бандите, жестоком враге советской власти и, в лучшем случае, «императоре тайги». Не будучи сугубо отрицательным персонажем, Соловьев обретает справедливое к себе отношение только сегодня...



---

<sup>74</sup> ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 3. Д. 3. Л. 119; АУ ФСБ. Д. 021837. Т. 6. Л. 126, 190, 231.



Станислав САВЧЕНКО

## НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ И «СИБИРСКИЕ ОГНИ»

*Словно молоты громовые  
Или волны гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.*  
Н. Гумилев

...Дважды кавалер Георгиевского креста прапорщик Гумилев, знаменитый русский поэт Серебряного века, был расстрелян в ночь на 26 августа 1921 года. Имени палача, места расстрела и захоронения мы не знаем до сих пор.

А в 1922 году в журнале «Сибирские огни» (№ 4, сентябрь-октябрь, стр. 197) была опубликована рецензия на последние сборники Н. Гумилева за подписью «В. И.» (Вивиан Итин, член редколлегии) — небольшой и достаточно сдержанный отзыв для журнала, четко заявившего о своей советской ориентации, заканчивался так: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией».

На громадной территории от Урала до Дальневосточной республики «Сибирские огни» были единственным «толстым» литературным журналом — и вторым после «Красной нови» во всей коммунистической России. При этом два издания хоть и придерживались схожих творческих позиций, но явно конкурировали. «Красная новь» сегодня известна только заядлым литерату-

ведам, а «Сибирские огни», очередной номер которого читатель сейчас держит в руках, — теперь единственный российский журнал, выходящий без перерыва сто лет.

\* \* \*

Рецензия Итина не была случайной. Современные «итиноведы» пишут о его ориентации на личность, судьбу и творчество Гумилева в работе в редакции «Сибирских огней» — это оттенок, который Итин привнес в сибирскую творческую среду. Но рецензия обошлась ему дорого...

В 1928 году на пленуме Сибирского краевого комитета партии в связи с докладом о «культурной революции» возник вопрос о «Сибирских огнях», и выводы были таковы: «Сибирские огни»... неблагонадежны в политическом отношении, например, пять лет назад (sic!) в журнале было высказано мнение, что Гумилев оказал большое влияние на современную поэзию.

Вивиан Итин был исключен из партии 11 ноября 1937 года, позже аресто-

ван и расстрелян в Новосибирске 22 октября 1938 года.

Эту историю я узнал лет сорок тому назад — благодаря знакомству с Николаем Николаевичем Яновским (1914—1990), который в максимально смягченном для цензуры виде опубликовал ее в «Литературном наследстве Сибири». Я горжусь, что много лет общался с этим великим историком сибирской литературы, и мне обидно, что и через тридцать лет после смерти Яновского не написана его биография и нет даже памятной доски на доме, где он жил. А ведь Николай Николаевич вывел из забвения добрую сотню имен сибирских писателей и большая часть его творческой биографии связана с «Сибирскими огнями»!

Имя Гумилева, как, впрочем, и других поэтов и писателей Серебряного века, постоянно мелькало в наших беседах с Яновским: по каким-то причинам ему не давали допуска в спецхраны библиотек, а у меня были или подлинники «запрещенных» книг (Н. Гумилев, «К синей звезде»; М. Волошин, «Стихи о терроре»), или их фотокопии. Также Николая Николаевича интересовали газеты и листовки периода Гражданской войны в Сибири, что было предметом моего собирательства в те годы. Кстати, я храню первые пять номеров журнала «Сибирские огни», полученные от Яновского из его дублей в обмен уже не помню на что, храню и несколько его почтовых карточек с просьбой зайти (у меня тогда не было домашнего телефона, и почта была единственным способом связи).

Поэзию Гумилева, к своему стыду, я узнал достаточно поздно, попав в 1963 году из глубоко провинциального Барнаула в летнюю физматшколу Новосибирского университета, — эти убивающие наповал, приводящие в непонятный экстаз стихи читал нам преподаватель физики Борис Найдорф, через несколько лет с большим скандалом уволенный. Раньше,

в Барнауле, весь Серебряный век был для меня цветным и в основном небесных оттенков: синий двухтомник Блока, темно-синие Брюсов, Анненский и Саша Черный в «Библиотеке поэта», голубой Есенин в пяти томах и голубая Цветаева 1961 года издания, которую мечтал достать и переписывать от руки, начиная с первой страницы: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед...» Лишь Анна Ахматова была вишневою («сурковская», 1958 года издания) и зеленой (1961 года издания, «лягушка», как говорили библиофилы). Имелись еще голубой пятитомник Бунина и фиолетовый Куприн — «Яма», которую читали на уроках через щель в парте...

А в 1964 году, на первом курсе физфака НГУ, вернувшись с сельхозработ, с «картошки», из села Морозово, мы ринулись в читальный зал переписывать только что вышедшее «чудо советской цензуры»: «Русская литература XX века. Дооктябрьский период. Хрестоматия». Составил ее Николай Алексеевич Трифонов, человек с героической биографией (война, плен, побег, участник Сопротивления в Италии), беззаветно любящий русскую литературу, — составитель нескольких томов «Литературного наследства» и пяти стереотипных изданий хрестоматии, которую переписывали от руки по всему СССР. Кроме обязательного Горького, Серафимовича, Скитальца и Демьяна Бедного в этой хрестоматии были Мандельштам («На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло...»), Цветаева и Гумилев: «Жираф», «Капитаны»... Всего семь стихотворений — и все первоклассные!

До сих пор не знаю, как это удивительное пособие для пединститутков прошло цензуру. Хотя полный запрет Гумилева в послесталинском СССР — миф, ведь с 1964 года была вполне легальная и доступная в любой библиотеке хресто-

матия, да и сами книги Николая Степановича входили в каталоги-прейскуранты букинистической литературы, а значит, их можно было купить легально (конечно, «по блату», но это уже детали), была прижизненная библиография Гумилева, опубликованная в книге А. К. Тарасенкова «Русские поэты XX века», вышедшей в 1966 году и изменившей всю мою жизнь — я захотел иметь все (!) прижизненные издания любимого поэта и с того момента стал коллекционером...

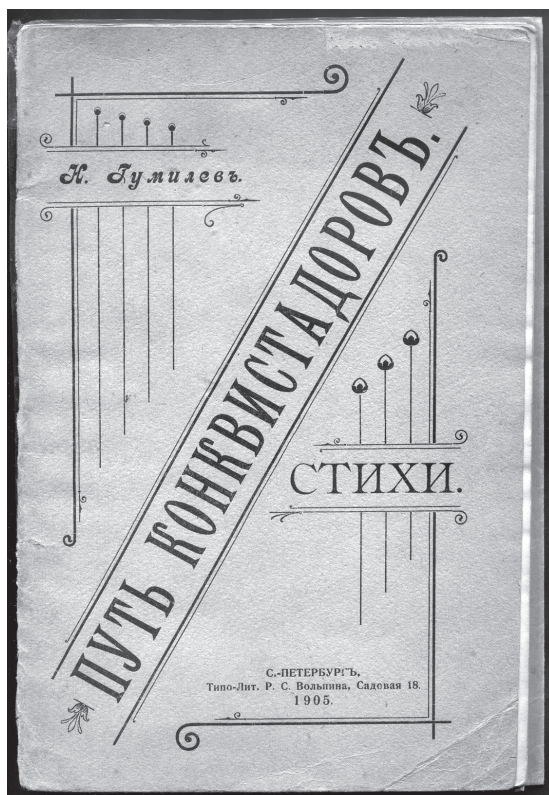
Вообще говоря, коллекционерами можно считать подавляющее большинство людей: мужской набор инструментов в квартире, подборка женских украшений в шкатулке, несколько шкатулок или вазочек в квартире... Собирательство — естественная черта человека, это у нас в крови от первобытных предков...

Мне судьба назначила собирать книги и автографы Серебряного века вдалеке от мест, где они «водятся», и это сильно сказалось на качестве коллекции. Но если посмотреть с другой стороны, то когда вы, например, решили собирать русские монеты — у вас в конкурентах Эрмитаж, где они хранятся в идеальном состоянии, полученные в момент выхода с монетного двора, если вы решили коллекционировать русскую живопись — все шедевры давно собраны Русским музеем и Третьяковской галереей, а остальное в региональных музеях. У библиофила же в конкурентах — библиотеки, которых, конечно, много, но все они стали государственными в 1917 году, и книги в них предназначены для чтения, поэтому безобразно переплетены за десятки лет тысячами непрофессиональных переплетчиков, книги должны быть защищены от кражи, поэтому изуродованы многочисленными штампами на титуле, «кармашками» и ярлыками, наклеенными канцелярским клеем («жидкое стекло»), который разъел страницы... Только ис-

тинный библиофил может наслаждаться первозданным видом своих находок, зная, что таких больше нигде нет. Книги нельзя читать — они от этого портятся, это библиофильская аксиома, и сегодня даже в руки книги берут в белых перчатках.

А прижизненные книги Гумилева я собрал все, в провинции для этого понадобилось больше тридцати лет. Но сначала хотелось иметь тексты.

В областной библиотеке и в ГПНТБ книг поэта не было. В 1972 году в Новосибирске на улице Чаплыгина (быв. Асинкритовская) сносили дом присяжного поверенного Григория Ивановича Жерновкова, расстрелянного в 1937 году. В подсобных помещениях дома хранился большой архив юриста, при сносе выброшенный на улицу под октябрьские дожди — среди документов было много редких новониколаевских брошюр и листовок, в том числе времен Колчака. Я был молод и глуп, но и времена были «вегетарианские», и я предложил набор из этих изданий в Москву, в библиотеку имени Ленина (и мне ничего за это не было, никуда не вызывали!) — а Ленинка по моей просьбе прислала мне целую посылку с микрофильмами прижизненных книг Гумилева, Волошина и Шершеневича, исключив только «Стихи о терроре» Макса Волошина (книга спецхранения, о чем я тогда не знал). Я и мой товарищ тогда дружили с девушками, работавшими в одном из НИИ и имевшими доступ к множительным аппаратам «Эра»; хорошо помню цену: две копейки за страницу Гумилева, полтора рубля за сборник. До сих пор в новосибирских домашних библиотеках мне попадают, вызывая ностальгию, эти «издания», примитивно переплетенные нами ночами перед субботними встречами книжников на задворках магазина «Букинист» (Красный проспект, 31). Таков мой своеобразный «личный вклад» в культуру любимого Ново-



Обложка сборника стихотворений  
Н. Гумилева «Путь конквистадоров», 1905.  
Собрание С. А. Савченко

сибирска в 1970-е годы: редчайшие первые издания Гумилева, Волошина, Шершеневича, Мариенгофа, из «запрещенки» — «Реквием» Ахматовой...

Из полутора десятков прижизненных книг Гумилева реально очень редки только две: «Путь конквистадоров» (Спб., 1905) и «Романтические цветы» (Париж, 1908), а в состоянии коллекционной сохранности (как мои экземпляры) их считанные единицы.

Свой первый сборник «Путь конквистадоров» поэт выпустил на средства матери. Тираж в 300 экземпляров не был раскуплен, продавался только в Гостином дворе Царского Села (по другим источникам — уничтожен автором).

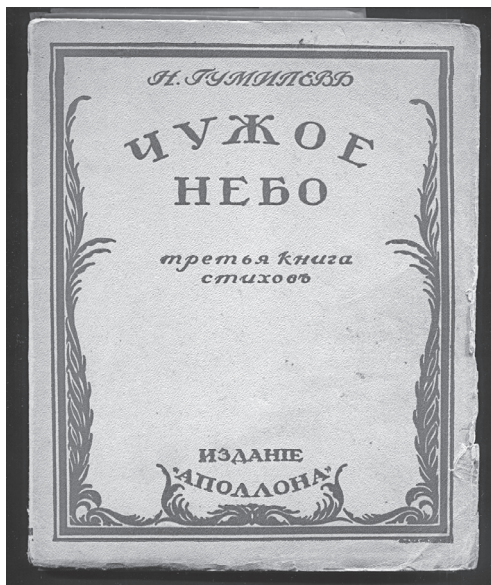
Сам Гумилев считал первой книгой парижские «Романтические цветы» и вел отсчет от нее. В Париже, где поэт учился в Сорбонне в 1906—1907 годах, налаженные связи помогли в 1908-м выпустить этот сборник стихов и даже получить за него гонорар. В России сборник не продавался и, по моему опыту, встречается еще реже, чем «Путь конквистадоров».

Следующий, очень красиво оформленный художником Кардовским, сборник «Жемчуга» (1910) встречается на рынке, но в моей коллекции он в сохранности «из-под станка», другого такого я больше не видел. Четвертый сборник (третий — по Гумилеву и надписи на титуле) «Чужое небо» (1912) — в такой же сохранности.

Со сборником «Путь конквистадоров» у меня связан один за-



Обложка сборника стихотворений  
Н. Гумилева «Жемчуга», 1910.  
Собрание С. А. Савченко



Обложка сборника стихотворений  
Н. Гумилева «Чужое небо», 1912.  
Собрание С. А. Савченко

бавный эпизод. Мой многолетний друг, великий библиофил России Аркадий Михайлович Луценко (1940—2008) «за рюмкой чая» показал мне свой экземпляр «Пути» в красивой полукоже, но одна рюмка была лишней, и я спросил:

— А это что за хлам?

Аркадий на секунду лишился дара речи.

— Обрезан, обложки нет... — нахально продолжил я.

— Ты видел лучше? — взбеленился мой друг.

— У меня в «люксе» есть... — небрежно обронил я и, выслушав короткую нецензурную тираду, добавил: — Могу привезти показать.

— Вези! Если лучше моего, с меня коньяк!

Через месяц привез, показал — и это была ошибка: настроение у Аркадия испортилось надолго. «Я, петербуржец в четвертом поколении, не смог отыскать, а в какой-то дыре, в Сибири, такой экземпляр!» — повторялось при каждом моем приезде. Коньяк, правда, был куплен...

\* \* \*

Гумилев любил оставлять автографы на книгах. Его поэтическая жизнь, личная, воинская — одни сражения, самоутверждаться надо было каждый день. Но автограф автографу — рознь. Для Гумилева самый-самый — мечта библиофила! — короткий: «Коля — Ане». Кажется, все в госхранилищах...

К началу 2000-х у меня было три гумилевских инскрипта: два теплых, но подписанных «с уважением», третий — даме, но очень вежливый.

И вот в один весенний день заходит в магазин «Библиофил», что на Лиговском проспекте Петербурга, известный крупный книжный дилер Герман Ф.

— Нигде не заваялся тут «Фарфоровый павильон» 1918 года?

Стоит заметить, что из прижизненных книг Гумилева после «Мика» это самая частая книга, совсем не уровень Германа.

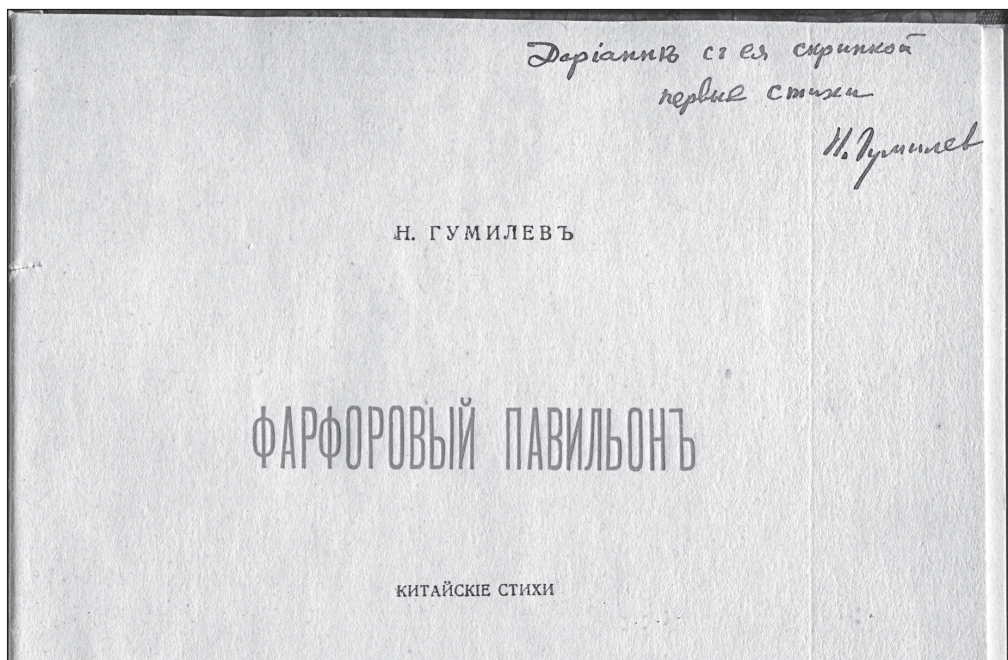
— Нет, а тебе-то зачем?

— Да вот у меня «Павильон» с двойным автографом: один на титуле и стихотворение на контртитуле. Расплету, вставлю в другой экземпляр, будут две книги с автографом.

У меня после таких слов аж «в зобу дыханье сперло» — я и сам прожженный книгопродавец, но это было запредельное варварство, просто преступление перед русской культурой, а ведь мы, библиофилы, коллекционеры автографов, несмотря на постоянные «купи-продай», в сущности, сохранением этой культуры и занимаемся...

Герман сегодня в ином мире, и не могу не вспомнить его добрым словом: с запрошенной — беспредельной по тем временам — цены скидку он мне сделал — и вот книга в моей квартире на Лифляндской улице.

...Скромный переплет из картона, но обложки внутри сохранены. На титу-



Посвящение Дорианне Слепян на титуле «Фарфорового павильона».  
Из собрания С. А. Савченко

ле дарственная надпись: «Дорианне с ея скрипкой первые стихи. Н. Гумилев», на чистом обороте авантитула слева — автограф знаменитейшего стихотворения из цикла «К синей звезде»: «Я говорил: “Ты хочешь, хочешь? / Могу ль я быть тобой любим? / Ты счастье странное пророчишь / Гортанным голосом своим...”»

Эти стихи я знал наизусть с 1970-х, но загадочный, таинственный образ гумилевской подруги, встававший перед глазами, обрел имя только теперь.

Коллекционер автографов иногда чувствует себя сверхчеловеком, и я благодарен судьбе за это. Читая автограф, я знаю — когда умрет автор, когда умрет адресат, какие отношения их связывают, что с ними было раньше и будет позже...

Образ Дорианны оказался не совсем романтическим, но в первые дни понятно было очень немного. Подробности поиска опущу, хочу лишь напомнить, что донжуанский список Николая Степановича опубликован и почти весь со-

стоит из весьма юных дев. А Дорианна — это Дорианна Филипповна Слепян. Родилась в 1902 году, актриса, драматург, член Союза писателей СССР с 1945 года. Опубликованы ее мемуары, не оставляющие сомнений в характере отношений с поэтом. Она о Гумилеве говорит так: «И вообще своеобразие его облика скорее удивляло, чем привлекало: очень высокий, движения как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами, какого-то неопределенного цвета и выражения... но руки... У него были необыкновенно красивые, выразительные руки...»

В мемуарах Слепян описывает подаренную книгу явно по памяти: «На титульном листе... было написано стихотворение, а над ним посвящение: Дорианне с ея скрипкой — мои первые стихи». И комментирует: «К моему большому сожалению, в тридцать седьмом году я уничтожила эту книжку и письмо». Что за письмо — непонятно, но вот на задней обложке книги карандашная пометка:

Я говорил: „ты хочешь, хочешь?  
Могу ль я быть тобой любим?  
Ты скажешь страшное прогонишь  
Гортанным голосом своим.

„И я плачу за стасье много,  
Мой дом — ~~твои~~ звезда и звезда дома,  
и будет сладкая тревога  
Рости при имени твоём.

„И скажут — что он? Только скрипка  
Покорно-плачущая он,  
Есть единая улыбка  
Ротается эрот дивный зловон.—

„И скажут — то луна и море,  
Двадво-отраженный свет —  
И послы — о какой горе,  
Что женщина такой же нежной!

М.Г.

Авантитул «Фарфорового павильона» из собрания С. А. Савченко.  
Автограф стихотворения «Я говорил: “Ты хочешь, хочешь?..”»

«50. от 22/VII — 36 г.», что означает цену и дату сдачи книги в букинистический магазин с адекватной по тем временам ценой: 50 рублей в 1936 году были приличными деньгами, это стоимость хороших женских туфель.

Я не знаю, как экземпляр попал к Герману, — на мой вопрос он ответил обычным дилерским: «Где-где? Купил». Но в одно время со сдачей книги Дорианна Филипповна, вероятно, продала и письмо, вдруг где-то всплывет — рукописи не горят!



**Дорианна Слепян.** Фотография. Собрание С. А. Савченко

Д. Ф. Слепян не только вошла в биографию Гумилева, но и упоминается в биографии Анны Ахматовой. Из записок Лидии Чуковской: «13 марта 1942 г. <...> Слепян — грубая, злая, умная. <...> 17 апреля 1942 г. Скоро явились: Раневская и Слепян. Сквернословили и похабничали. <...> NN (Анна Андреевна Ахматова. — *Ред.*) попросила меня остаться. “Похабность Раневской артистична... но непристойности Слепян — такая вялая скука”. <...> 22 апреля 1942 г. <...> О Слепян она (А. Ахматова. — *Ред.*) сказала: “Это не женщина, а какая-то сточная труба”».

Мне же, человеку грешному, интересно, знала ли Анна Андреевна об отношениях Дорианны и Гумилева в 1918 году?

Дорианна уже в Ташкенте была известной лесбиянкой, из эвакуации вернулась с подругой-театроведом Раисой Моисеевной Беньяш (1914—1986). Слепян была в Ленинграде одной из немногих, кто вел откровенно лесбийскую

жизнь — в ее художественно-салонной форме, с дореволюционными традициями.

Сделаем предположение, стандартное для тех лет, что такой салон (Толстовский дом, Фонтанка, д. 54, кв. 104) поддерживался и контролировался НКВД-КГБ. Последние годы Слепян была тяжело больна, практически не ходила, Беньяш самоотверженно за ней ухаживала до самой ее смерти в 1979 году. Теперь на Комаровском кладбище Дорианна Филипповна покоится в одной могиле с Раисой Беньяш, недалеко от могилы А. А. Ахматовой. Я там был один раз. И цветы положил только на могилу Анны Андреевны.

Стихотворение «Я говорил: “Ты хочешь, хочешь?..”» впервые было опубликовано в загадочном сборнике стихов Н. С. Гумилева «К синей звезде» (Берлин, 1923), изданном Еленой Карловной Дебуше-Ловель с помощью критика К. Мочульского.

Все нижеизложенное об их отношениях не подтверждается документами —



это мемуары и слухи. Она родилась в семье вице-консула США в Одессе, врача Чарльза Дебуше и его жены, выпускницы Сорбонны Людмилы Васильевны Орловой. В 1917 году Гумилев проходил службу в качестве адъютанта при комиссаре Временного правительства во Франции, а она была русской переводчицей и переписчицей военных бумаг Русского экспедиционного корпуса в Европе, тонкой красавицей с притягательными манерами, знала несколько языков, умела хранить секреты, слыла неприступной и молчаливой, но однажды пришла к нему в отель и осталась до позднего вечера. Позже говорила о себе как о единственной женщине, от которой поэт не смог добиться близости. Никаких конкретных следов их романа не сохранилось: ни писем, ни фотографий. А в 1935 году, уже став журналисткой, она приезжала в Ленинград и пыталась встретиться с Ахматовой, чтобы передать ей архив Гумилева: записки, фото, рукописи стихотворений. Не получилось...

Рукописи Гумилева 1917 года потерялись, как и следы самой Елены Дебуше. В 1930-х годах она вышла замуж и уехала в Америку. Возможно, жила в Бостоне, Нью-Йорке... Самые знаменитые строчки сборника «К синей звезде»: «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в глухом плюще...»

\* \* \*

Гумилев, переживший безответную любовь, в апреле 1918 года получает в Лондоне, в российском генеральном консульстве, паспорт для возвращения в Россию и едет навстречу своей предсказанной смерти. Письмо будущей жены Анны Энгельгардт, где она пишет о российских ужасах и просит не приезжать, его в Англии не застанет.

Стихотворение «Я говорил: “Ты хочешь, хочешь?..”» и в «Библиотеке поэта», и в полном собрании сочинений опубликовано по тексту сборника «К синей звезде» с примечанием: «Написано в 1917—1918 гг., существует автограф, который хранится в Париже у Никиты Струве». В Париже я тогда бывал несколько раз в год и с Никитой Алексеевичем Струве был знаком. Никита Струве (1931—2016), интеллектуальный и моральный глава русской эмиграции во Франции, внук друга-врага Ленина Петра Струве, владелец знаменитого русскоязычного издательства «ИМКА-Пресс», работал в огромном кабинете на втором этаже магазина этого издательства, а я проводил долгие приятнейшие часы в библиофильских розысках на первом этаже и в подвале магазина.

Я привлек его внимание с первого приезда как книжник из экзотического для Парижа города и однажды удостоился экскурсии наверх. С привезенной мною ксерокопией гумилевского автографа проблем не было, Никита Алексеевич мгновенно нашел свой среди нескольких тысяч других автографов в личной коллекции. Были, впрочем, мелкие различия: «могу я быть» и «могу ль я быть» — в моем, и на восемь строк больше: почему, нам стало понятно из контекста. У поэта были разные задачи: в 1917 году это стихотворение написано о Елене, которая «задумчиво прошла», в 1918 оно же посвящается Дорианне — как экспромт (оно не опубликовано и девушке неизвестно) во славу краткого романа. Строчки об «уходе» неуместны.

Струве искренне меня поздравил с находкой, ксерокопию я ему подарил. Мне осталось только найти фотографию Дорианны, хотелось посмотреть в ее, привлечшие великого поэта, глаза, как я уже знал, не всегда искренние. Благодарю Валерия Николаевича Сажина, «хармсоведа» и создателя единственной

объективной биографии Салтыкова-Щедрин — он нашел архивное фото, и мы видим: глаза у Дорианны Филипповны Слепян действительно и большие, и красивые.

Р. С. Новосибирский поэт Владимир Светлосанов, мой большой друг, написал в свое время стихотворение, которым мне хотелось бы завершить сегодняшний разговор о Николае Гумилеве.

### Гумилев

Подумать только — двадцать третий год,  
Еще выходят книги Гумилева,  
Когда он сам, как пущенный в расход,  
Значенья не имеет никакого.

Его любезно приютил Нерей,  
Он убежал в объятия к nereидам,  
Всех жен забыл, забросил всех детей  
И наслаждается чудесным видом.

Живет у озера с названием Чад,  
Его *шатер* боготворят туземцы.  
Он им стихи читает, все подряд,  
И позволяет у *костра* погреться.

*Столп огненный* — и искры над костром.  
*Чужое небо*, звезды над горами.  
А в небе петроградском и родном  
Уже они не блестят *жемчугами* —

Они на шлемах у большевиков.  
Нет, не *колчан*, а кобура чекиста,  
Не завязь *романтических цветов*,  
А приговор — и выстрел в акмеиста.



Владимир ЧИРКОВ

## АЛФАВИТ ЦВЕТОВ ЕЛЕНЫ БОБРОВОЙ

*Искусствоведческие письма*

Сегодня речь пойдет о молодом омском художнике с именем для почитателей живописи известным — Елене Бобровой.

В первом письме обращаюсь к мнениям двух авторитетных живописцев Сибири. Одно — давнишнее, начала десятых годов, Валерьяна Алексеевича Сергина, талант колориста которого выражает даже живописная седина его окладистой бороды сказочного старца. Спрашивает он, стоя перед большим холстом: «Елена Боброва, откуда такое сокровище?» Ну как тут не възграет гордость за автора и за город: коренная омичка, талантлива, молода, красива, окончила худграф, аспирантуру. Видно, насколько интерес академика Сергина искренний; видно, как он оценивающе и ревниво вглядывается в живописную ткань картины, сложного замеса, многослойного письма. Курсивом я выделил, насколько сумел, технику и манеру «составления» живописного пространства Бобровой.

Позже, в 2018 и 2020-м, на «бобровскую» тему мы говорили с известным иркутским живописцем Дмитрием Лысяковым. Мастер, тяготеющий к монохромности цветового поля, отметил: фактурное письмо Лены Бобровой очень сложное, но она умеет найти баланс цвета и тона. Дмитрий добавил: в нынешней «скоропи-

си» не столь частое достоинство. Недавно в переписке Лена мне «посекретничала»: «В живописи *придерживаюсь* (в зависимости от конкретной задачи. — В. Ч.) *непрерывности в развитии пятен света и тени...*»

**Письмо второе.**

### Откуда «пошла» живопись Елены Бобровой

Воспроизведу во фрагментах одно из писем Лены конца 2020 г.: «Я человек счастливый, вопроса о выборе профессии передо мной никогда не стояло. Я, действительно, всегда рисовала, начала этому — какого-то конкретного толчка — я не помню. Мама все детство успешно прививала любовь к книгам, много мне читала на ночь, потом придумала не дочитывать, и, чтобы узнать развязку, мне приходилось брать книгу самой. Так я втянулась. Помню, она мне книги Берроуза про Тарзана читала, я так живо себе представляла героев, что взялась иллюстрировать — несколько “книг” сделала на листах картона, сшивала их ниточкой. Потом я стала копировать обложки серии книг Дюма. На них были дамы, на мой взгляд, очень красивые, в шляпах с перьями, в мехах. Вот я сидела и срисовывала. Мама заметила, что в моих кар-

тинках получалось оттенков больше, чем на оригиналах. Позже мне Г. П. Кичигин\* говорил: “Лена, вы видите много цвета. Но, может быть, вы видите слишком много цвета”. Изостудий я сменила несколько. Одна из первых... Занятия вела учительница, у нее была традиция рисовать портрет именинника. Вот так я однажды стала ее моделью. Это меня поразило: я раньше не видела, как рисуют с натуры, да еще так быстро. А еще мои родители журнал выписывали, “Юный художник”. Я его залистывала до дыр. Особенно меня потрясла увиденная там репродукция “Завтрак на траве” Моне.

Про наш худграф. Учителем я называю только Крамарова Сергея Николаевича. У него такая методика: он не объясняет каждому ошибки в рисунке, а выбирает по какому-то своему внутреннему критерию двух, максимум трех студентов, которым на полях вносит пояснения, отрисовывает конструкцию. Остальные в этот момент собираются вокруг и смотрят, анализируют и сопоставляют увиденное со своими работами. Я была в числе тех немногих, с кем он работал непосредственно, не знаю почему.

А еще приятно сказать о художниках старшего поколения. Они как-то заботились обо мне. Кто-то краски отдавал, кто-то холсты, книги. А вот Валентин Васильевич Кукуйцев (мне досталась его мастерская) как будто знал — “припрятал” для меня коробку с красным краплением и зеленой фталоцианиновой, еще и два рулона грунтованного холста.

Я очень тепло вспоминаю Ростислава Федоровича Черепанова, это был большой человек. И общаться с ним я стала в период необычайного внутреннего голода, когда мне стало очень не хватать художественной, творческой среды. Он приобщил меня к письмам и воспоминаниям художников, он настоял, чтобы я прочтала

\* Кичигин Георгий Петрович — известный омский живописец, заслуженный деятель искусств РФ, профессор академической живописи.

Библию, можно сказать, благословил. Вообще мне как-то везло на благословения: дважды на пленэре встречала батюшек, “крестивших” меня на творчество».

И какова тут мораль? Одна из — родилась Елена вовремя и на своем месте. Все художники, все исследователи омского искусства почти едины во мнении: наш худграф — это то место, где были созданы все условия для самовыражения художника, благодаря чему и возникло явление с названием «омский полистилизм», одну из граней которого олицетворяет Е. Боброва.

### Письмо третье. От «Изумрудного города» к «Черной земле»

За пейзажем «Изумрудный город» стоит несколько работ, объединенных не только колоритом, но и настроениями созерцательности, любования, иногда погруженности в себя. Лене в эти годы нет и двадцати пяти. Вы воскликните: для художника совсем юный, «зеленый» возраст! Верно, и ему оказался под стать хорошо разработанный «возрастной» колорит этого периода. Да, именно с этих работ начинается отсчет периодов: за ранним, «зеленым», появятся композиции с преобладанием черного с зеленым и горчично-желтым, после наступит полоса красного колорита, «эгоистически» проявляющегося и в картинах последних двух-трех лет, с более сложной колористической и фактурной организацией.

Вернусь к «Изумрудному городу» — холсту квадратного формата. Знатоки живописи знают: квадратный формат уже чисто физически выражает состояние статики, но у Елены холст совсем не статичен. Автор «нарушила» правило графическим приемом: нижние ряды зданий с утрированно утонченными шпилями тянутся ввысь и получают продолжение в вертикальных потоках прозрачной живописи бежевых тонов, растворяющихся

в изумрудном колорите. Мазками от предельно густых до прозрачных художник создает образ пробудившейся природы, в которой растворилось — растеклось, как легкое женское боа, — городское пространство. Но уже в работах 2011 г. «Качели», «Лети» безмятежное настроение заметно меняется в сторону напряжения, состояния ожидания. Это станет особенно явным в композиции 2016 г. «Наперегонки». В современном искусстве не так много художников, которые чисто живописными средствами решают драматургические задачи, превращая композицию в жанровую картину. «Наперегонки» — из этого редкого ряда. Автор формальным живописным (!) приемом раскрывает смысл соревнования велосипедистов на дистанции. И как? Лишь верхнюю полосу холста занимают изображения велосипедистов, остальное пространство захватили зеленые полосы жесткого встречного движения, выражая идею состязательности.

Позже Елена в интервью барнаульскому искусствоведу Александру Рыжову признается: «Методом проб и ошибок я узнавала характеристики цвета, способы его передачи и, самое главное, составляла свой собственный алфавит: символов, цветов, техники...» Если композиция «Наперегонки» отражает лишь спортивный конфликт, то в ряде других работ этого же периода — биение житейской драмы. Оно очевидно в композиции «Черная земля» (2016). Черно-синяя полоса жирной земли жестко разделила пространство на яично-желтый низ и землисто-коричневый верх, по кромкам которых застыли одинокие женские фигуры. Картина однозначно читается как жанровый пейзаж.

Елена активно дружит с петербургскими, как они себя называют, «безнадежными живописцами», но если питерцы во главу угла ставят «эстетическое», по возможности не обремененное «этичным», то для Бобровой одно без другого

не существует. Ее принципиальные слова: «Живопись в своем наивысшем проявлении — переживание правды, правды жизни».

### **Письмо четвертое. О «живописи правды жизни»**

Слова Достоевского «Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования» в проекции на нынешние постмодернистские иронии звучат ой как уместно. Сколько бы ни смотрел я на прежние или совсем свежие работы художницы, меня не покидает именно это чувство сострадания ко всему, о чем «печалится» Елена. И наперво о том, как человеку живется-может в череде бесконечных конфликтов, вызовов глобальных и локальных — частных, всedневных. Именно об этом череда «красных» работ («Река», «Красный фонарь», «Вечернее шествие» и др.) и композиций полицветового колорита («Возвращение», «Два корабля», «Проводы» и др.) самого последнего времени. Вспоминаю реакцию студентов одного из колледжей Омска, увидевших на выставке композицию «Драма поздней осени» (2020). Долгое безмолвное «стояние» — и вопрос: «Здесь что-то страшное произошло?» То была реакция на густой, бурлящий красочный слой при внешнем отсутствии сюжета: освещенная мостовая с фигурками людей-силуэтов, извиваясь, уводит зрителя через многочисленные препятствия узкой улочки вглубь композиции, состоящей сплошь из краски охристо-зеленой, тепло-холодной черной с всполохами красного с розовым. «Драма» активного цвета и сопротивляющегося ему света.

Упомянутые картины объединяет мощный эмоциональный посыл: современный мир стронулся с точки самосохранения, он отчаянно движется в сторону драмы, если не катастрофы. Живопись Е. Бобровой словно предупреждает о

том, что может наступить страшный и окончательный выбор между добром и злом, между прекрасным и безобразным.

### **Письмо пятое. О человеке, или «Из опыта самопознания художника»**

Елена оканчивала институт с серией портретов «Цыганки». Можно было ожидать, что выпускница станет «чистым» портретистом, — нет, «чистым» не стала, как видим. У нее все о человеке: в природе, в доме, среди людей или в уединении. И это вам не постмодернистские игры со смыслами, картинками, испытанными в искусстве символами, знаками, предметами из мусорного ящика.

Начну с серии из четырех холстов (2017), название которой восходит к Цицерону. «Cum tacent, clamant» на русском звучит: «Их молчание подобно крику». Вновь обращаю внимание на год рождения художницы — 1983-й, по всем меркам — молодость. Философские проблемы бытия — нелегкий репертуар для молодого живописца, и тем привлекательнее, тем интереснее он для зрителя, исследователя. В предыдущих письмах я говорил о реальной среде — социальной и материальной, о мире — большом и малом, в котором живет человек. Сейчас о том, что в это время с конкретным человеком происходит.

Один из холстов «цицероновской» серии называется «День прошел». Что на холсте? Женская фигура в профиль, одиноко сидящая, карминового тона. Ее усталая поза с тяжело склоненной головой прорисована на красно-оранжевом и черном фоне, по оранжевой имприматуре. В картине жарко! Ровное письмо в левой части композиции взрывают пастозные букеты цветов за спиной модели. Кон-

траст двух приемов письма — ровного, гладкого и взрывного, корпусного — направлен, «по Цицерону», на «кричащий» образ «молчащей» модели.

В 2020—2021 годах у Елены Бобровой родилась целая серия портретных композиций, связанных с утратой родного человека — мамы, эти картины потребовали смелого использования пластических качеств света и тона. Одним из первых произведений, где это отчетливо проявилось, была композиция «Мама и черная тень от мандарина» (2019).

Холодный синий фон «поглощает» немощное тело женщины, едва опирающейся на горчично-зеленый стол; на его переднем крае лежат мандарины, черная тень от которых повторяет падающую на стену тень женской фигуры.

На излете 2020-го появились работы Бобровой, посвященные узкому семейному кругу, родителям: «Папа в свете абажура», «Стеклянное бра». В эти месяцы семья Бобровых переживала драму утраты, которая, наверное, с наибольшей глубиной отразилась в композиции «Мамина чаша» (2021). И как неожиданно решена эта тема личной потери! Отказавшись от портретных изображений, автор круговую композицию «сплела» из рук, словно «оцепенелых» от переживаемого горя, и поместила по центру стола одинокий фужер. Не припомню из истории искусств такой композиции «поминок», но не откажу картине в чувстве катарсиса: пронзительно-белый цвет скатерти по белой имприматуре воздействует очищающе.

У меня чувства светлые рождают и совсем свежие работы Елены с подчеркнuto житейскими названиями: «На кухне» и «Девочка с рубиновой сережкой» (2021). И заставляют произносить про себя строчку из классики: «И чувства добрые я лирой пробуждал».

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Бердичевский Валентин Вадимович** родился в 1959 г. в Омске. Окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института. Работал учителем, художником, токарем, дворником. Публиковался в журналах «Москва», «Урал», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и др. Автор двух книг для детей, двух пьес для кукольного театра. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

**Богданова Вера Юрьевна** родилась в Новосибирске. Окончила факультет русской филологии и аспирантуру Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Работает библиотекарем детской библиотеки в Котовске Тамбовской области. Публиковалась в журналах «Литературный Тамбов», «Подъем» и др. Живет в Котовске.

**Веденяпин Дмитрий Юрьевич** родился в 1959 г. в Москве. Окончил Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Работал ночным сторожем, рабочим в геологических и археологических экспедициях, преподавателем английского языка. Автор девяти книг стихов и множества переводов поэзии и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.

**Зябров Анатолий Ефимович** (1926—2021) родился в поселке Никольск Новосибирской области. Работал строителем, журналистом, был собственным корреспондентом журнала «Сельская новь» по Восточной Сибири. Прозаик, публицист. Автор ряда прозаических и очерковых книг. В последние годы жил в Красноярске.

**Малыгина Александра Сергеевна** родилась в 1987 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет, по специальности филолог, преподаватель. Печаталась в журналах «Барнаул», «День и ночь», «Алтай» и др. Автор трех книг стихов. Член Союза писателей России. Живет в Барнауле.

**Савченко Станислав Алексеевич** родился в 1946 г. Библиофил, коллекционер

автографов Серебряного века. С 1990 г. занимается предпринимательской деятельностью. Публикуется с 1994 г. Живет в Новосибирске.

**Светлосанов Владимир Сергеевич** родился в 1957 г. в Новосибирске. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Работал преподавателем русского языка и литературы. Автор нескольких поэтических книг и ряда публикаций. Лауреат премии журнала «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

**Титов Владимир Игоревич** родился в 1980 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «психиатрия». Ответственный секретарь журнала «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

**Турицына Нина Николаевна** родилась в Уфе. Окончила отделение фортепиано УУИ и филфак БГУ, работает преподавателем фортепиано в школе искусств. Председатель Башкирского отделения Союза российских писателей. Пишет прозу, стихи, пьесы. Публиковалась в журналах «Юность», «Урал», «Волга», «Бельские просторы» и др. Изданы три книги ее прозы. Живет в Уфе.

**Чирков Владимир Федорович** родился в 1947 г. Кандидат философских наук, доцент. Член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО «СХР». Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.

**Шекшеев Александр Петрович** — кандидат исторических наук, член правления Хакасской республиканской организации общества «Мемориал», автор трех книг и 250 научных статей и сообщений. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Российская история», «Родина», «Гуманитарные науки в Сибири», в альманахах «Белая гвардия», «Тобольск и вся Сибирь» и др. Живет в Абакане.



## МАГАЗИН

**продает и покупает:**

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### **ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ**

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 14.07.2021. Дата выхода № 8 за 2021 г. в свет 15.08.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.